ЮЛИАН СЕМЕНОВ
ЮЛИАН СЕМЕНОВ
18

irtschaftsmini

1687/43

dieses Geschäftszeichen und den weiteren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

Reichsminister für Rüstung
riegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- oVIA -

...матографа
помнят роли, сыгранные ими:
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.

— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала" —
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору, за
которого голосовала. — Брэдли.
После совещания в его штабе
мне ответили: "Если бы мама
просилась в эмиграцию, сюда, к
вам, для воссоединения семьи,
мы бы могли оказать какую-то
помощь. В ином случае бреж-
невская администрация нам от-
кажет: "Давать или не давать
выездной паспорт для поездки
в гости — наше внутреннее
дело..."

...жизни, двенадцать
...земпляров; ныне тираж
...од жизни - это и мало
...ысячи писем, поступ...
...могают нам вы...
...ы наше...
1. В ...
...ажни...
...едоум...
2. ...
...дел...
...ское С...
3. ...
...вы!
4. ...
...упники,
...е место
5. ...
...и сможет ...ть все наши эко...
...истративной Системы!"
6. ...Продолжать борьбу
...ции и взяточничества.
7. Выступать против той с е к...
...ну и его банде создать камеры ...
...нки, Катыни, а его ученикам - п...
...
...так, "Совершенно Секретно" - эт...
...а этом мы стояли и будем стоять.

...ривет свтвия от Библейского Общест...
...ктеров, художников, режиссеров, ...

...ивенчества:
...в квартиру, накор...

...и пьяница, приходящий
...юги, так и вполне прис-

...ния пропагандистской ше-
...Поэтому следует отве-
...перед самим собою, ...
...ективно.
...арант. Оно обязано ...
...амовыявление,- это

...розить рост заработной
...ляции (при том,
...ны на рынке - рыноч-
...ому, сколько труда
...елем в продукт) буд...
...сы,- ... могут
...ктом.
...положения?
...ос трудно ответить,
..., которые облегча...

...пнивающей") стра-

...schaftsminister

...7/43

...s Geschäftszeichen und den
...eren Schreiben anzugeben

...ernsprecher: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Ferndienst Nr. 16 41 21

Eilt!

Geheim!

...ister für Rüstung
... Rüstungsamt -
... v. Henrici

Данон Селенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Samson

Семенов

ТОМ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

ОТЧЕТЫ ПО КОМАНДИРОВКАМ

Москва
ЭГСИ
1997

ББК 84 ЗР7
С 30

Художники
М. ШЕСТОПАЛ
В. ПОМОЧИЛИН, В. БЕЛЯКОВ

© Ю. Семенов, 1973
© Составление, подготовка текста – Фирма ЭГСИ, 1997

ПАРТИЗАНСКИЙ ДНЕВНИК 1968 — 1973

Вместе с переводчиком советского посольства в ДРВ Валентином Свиридовым готовимся к поездке к партизанам Лаоса. Это тридцатилетний человек, служивший в армии бортмехаником, кончивший Институт международных отношений, великолепно знающий французский, английский и вьетнамский языки. Сейчас изучает лаосский язык. Человек он славный, ехать с ним будет, судя по всему, хорошо. Закупили консервов, взяли у доктора лекарства, перевязочные материалы и разбежались по домам упаковывать нехитрый багаж. Я сел к столу и, памятуя обещание, написал коротенький репортаж. Оставил его вместе с дневниками в корпункте «Правды» (обидно, если в дороге разбомбят), потом в Москве передам ребятам.

Выехали из Ханоя ночью, в начале первого. В пять часов утра остановились на ночлег в маленькой деревушке. Километрах в пятидесяти от нее над нами «повис» ночной разведчик – винтовой «АД-6». Пришлось выпрыгнуть из машины и лезть в джунгли. Слава богу, все это было на горной дороге, а здесь бомбить глупо. Летчики это понимают: они подкарауливают машину, когда она выйдет из горных ущелий на равнину. Там и бомбят. (Тогда и родилась задумка повести «Он убил меня под Луанг-Прабангом».)

Мы долго слушали, как нудно висел над нами «АД-6»: видимо, заметил наши щелочки фар, а может быть, поймал на своем локаторе движущуюся цель.

Когда он улетел, мы вернулись в машину.

Свиридов рассказывал о себе. Интересуется атомной физикой и поэзией. Увлекался Платоном и Верленом. Играет на

рояле, гитаре, саксофоне. Брат у него тоже музыкант. Когда Валя улетал во Вьетнам, брат пришел с пятнадцатью своими товарищами в огромный ночной Шереметьевский аэропорт и провожал его нежными мелодиями гершвинского джаза.

Спали в маленьком домике на полу, на циновках. Утром проснулись от рева самолетов. Эту маленькую горную деревню бомбили недели две тому назад, а сейчас «фантомы» проносились из Таиланда через Лаос – бомбить Ханой.

Перед тем как проснуться от рева реактивных бомбардировщиков, я видел омерзительный сон: носатых серо-черных галок с чудовищными клювами, а рядом со мной ложилась змея – ощутимая, холодная.

Утром, когда мы поднялись, разбуженные ревом «фантомов», меня потряс горный пейзаж. Клочья тумана, разрываясь о сабельно-острые листья пальм, резали высокое, осторожно-голубое небо. А когда я вышел из ущелья на планину, тумана не было, сиял солнечный день. Выходил я словно бы из пожара, из дыма, в прозрачный воздух, в огромное голубое небо.

Навстречу шли два пастуха с карабинами за плечами. Они гнали буйволов. Рядом с пастухами бежали дети. Пастухи отведут буйволов в горы, на выпасы, и вернутся обратно. А дети останутся пасти. Мне рассказывали, что огромный, страшный, рогатый буйвол испытывает какую-то особую нежность к детям.

Перед нами лежала маленькая деревушка Хой Цо Анг. Мы пошли со Свиридовым по дороге, «пробалансировали» по доскам, брошенным через «быки» разбитого бомбами моста, и оказались на вершине горы у излучины медленной, словно бы заледеневшей реки.

Внизу раскинулся горный поселок; школа, госпиталь, магазин – все то, что было сложено из камня, – разбито. Разбиты два моста. Дорога идет среди двух гор, через каждые двадцать метров вырыты индивидуальные бомбоубежища. Если здесь застает бомбежка, положение практически безвыходное: деться некуда, остается только залезть в индивидуальные убежища, в которых чувствуешь себя лишь в относительной безопасности. Бетонных крышек, прикрывающих голову, нет, а вокруг скалы; от сотрясения после бомбового взрыва

летит много камней... В общем, оказаться здесь под бомбежкой скверно. Дорогу на этом участке бомбили сорок два раза, тем не менее сообщение по ней не прерывалось ни на один день.

Мы спустились на берег реки, разделись, выкупались. Наш шофер товарищ Тхай позвал на обед. Как только стало смеркаться, заторопились на паром; он отсюда километрах в двадцати, его тоже бомбят немилосердно.

Паромщик переправил нас быстро, наша машина была единственной. По горной дороге, которая словно ввинчивалась в небо, двинулись к границе.

Остановились возле одинокого газика: поломалось колесо. Спросили, не требуется ли помощь. Шофер отрицательно мотнул головой. В машине две девушки в военной форме, с пистолетами на боку. Одна, простуженная, хриплоголосая, засмущалась, прикрыв лицо рукой. Вторая, высокая, статная, с очень певучим голосом, сказала нам, что здесь неподалеку, в джунглях, укрыт эвакуированный педагогический институт. Девушки ездили в Ханой за учебниками.

Двинулись дальше. К полуночи добрались до границы с Лаосом. Сорок минут простояли в джунглях, спрятав машину, пока шли обычные формальности. Здесь мы встретились с человеком, ставшим впоследствии нашим большим другом (Сисук, комиссар охраны), и с начальником канцелярии ЦК Нео Лао Хак Сат (Патриотический фронт Лаоса). Примерно через час, как пересекли границу, скорость наша с шестидесяти, а то и семидесяти километров в час снизилась до десяти километров. Дороги практически не было. Мы с трудом пробирались среди огромных воронок от тонных бомб. Воронки все свежие. Шофер Тхай, который всегда улыбается и обстоятельно отвечает на любой заданный ему вопрос, здесь не мог оторваться от баранки. Ямы глубиной в двух-трехэтажный дом; ехать архисложно.

Внезапно первая машина сопровождения, в которой ехал Сисук, остановилась, и три автоматчика пересели к нам. В эти районы забрасывают много диверсантов. Перестрелки здесь дело обычное. Ехали часов пять, почти всю ночь. Под утро, обогнув три огромные воронки, остановились возле отвесной скалы. В ее теле густо краснели два больших,

странных в ночи пятна. Когда мы подъехали еще ближе, то увидели, что это свет от ламп столь таинственно подсвечивает вход в пещеру. Лаосские пещеры! Тот, кто бродил по горам Кавказа, может себе представить таинственный мрак холодных пещер, приглушенную гулкость голосов и вкрадчивый, монотонный перестук капель, сцеживающихся с темных потолков.

В таких вот сырых пещерах (крысы и змеи их постоянные обитатели) живет уже несколько лет кряду примерно полтора миллиона лаосцев...

Встретил нас товарищ Понг Сурин Фуми, ставший руководителем нашей поездки. Он пригласил к столу, мы выпили лаосской, плохо очищенной рисовой водки и, совершенно измотанные чудовищной дорогой (несколько раз нам к тому же приходилось выскакивать из машины и прятаться в воронках, потому что летали винтовые, медленные, как зубная боль, «АД-6», швыряли бомбы), сразу повалились спать.

Здесь, в отличие от двадцатипятиградусной вьетнамской «зимы», довольно холодно: мы забрались на полторы тысячи метров вверх, в горы. Пальто, которые мы взяли, пригодились. Спать легли на доски. Здесь так же, как во Вьетнаме, не знают, что такое матрац. Надели пальто, укрылись сверху одеялом. Несколько раз я просыпался. В пещере горела прикрученная керосиновая лампа. У выхода попеременно дежурил с автоматом кто-нибудь из охраны. Изредка в горах слышались выстрелы, глухо жахали взрывы бомб.

Наутро сразу же пришлось столкнуться с практикой сегодняшней войны в Лаосе. Мы со Свиридовым вышли из нашей пещеры – умываться и чистить зубы. Вокруг лежала неописуемой красоты горная долина. Где-то отчаянно-весело кричал петух. Окрест не было видно ни одной живой души. Солнце осторожно вылезало из-за коричневых скал, поросших могучими деревьями, увитыми лианами, похожими на здешних женщин.

Валя Свиридов поливал мне воду из кружечки на руки. Я поднял голову и увидал бесшумно пронесшийся самолет. Я не слышал никакого звука, я только увидел этот маленький самолет. А потом, через мгновение, воздух разорвал рев турбин. Сисук выбил у меня из рук кружку и затолкал нас с Валей

в пещеру. Комиссар Сисук, стремительный человек (с великолепным пробором, в рваных кедах, с неизменным автоматом, из которого, как я позже убедился, стреляет он артистично), знал здесь все, что полагается знать комиссару охраны. Через несколько секунд после того, как он затолкал нас в пещеру, совсем неподалеку грохнули две тонные бомбы, с потолка посыпались камни. Сисук улыбнулся:

– Теперь можно продолжать чистить зубы.

Это было наше первое лаосское утро. Минут через десять пришел член ЦК Нео Лао Хак Сат, выдающийся поэт Лаоса, директор информационного агентства товарищ Сисан Сисана. Маленький, с внешностью итальянца (впрочем, как потом выяснилось, дед его корсиканец), поздоровавшись, он сказал:

– В нарушение всех правил я пробирался к вам утром. Ходить у нас разрешено только ночью. Для вас сделано исключение: сейчас позавтракаем и отправимся к нашим газетчикам.

Но весь этот день мы так никуда выйти и не смогли, потому что американцы бомбили нашу пятикилометровую долину. Из пещеры она была видна вся как на ладони, мы видели весь день, как в небо вздымались черные фонтаны каменистой земли. Каменный пол пещеры сотрясался, увесистые куски породы сыпались с потолка, пришлось надеть каски. Они бомбили долину весь день, и наша первая беседа с Сисаной продолжалась, таким образом, двенадцать часов.

Я записал этот разговор. Не буду «организовывать» первый наш день в стройную журналистскую схему, а приведу таким, каким он был.

– Американцы здесь ведут специальную войну, — говорил Сисан Сисана. — Они бомбят всеми видами самолетов, в том числе и стратегическими бомбардировщиками «Б-52». Они проводят также целый ряд диверсионных операций. Их цель – террор. Они расширяют психологическую войну: пять самолетов летят с бомбами, шестой прилетает с листовками. В листовках обращаются не только к населению, но и к кадровым работникам – пытаются переманить их. Они заигрывают с молодежью, которой приходится переживать много трудностей. Мы воюем с сорок пятого года, и человек двадцати трех лет от роду не знает, что такое мир. Они говорят молодежи: «Хватит войны, хватит бомбежек. Надо жить, чтобы

жить». Они ведут работу и среди женщин. «Надо создавать семью, рожать детей». Они пытались обращаться к религии, бонзам. Несколько раз во Вьентьяне и Луанг-Прабанге собирали наиболее уважаемых бонз Лаоса и просили их проводить нужную им пропаганду. Они пытаются использовать одну из догм буддизма, которая гласит: «Не надо братоубийства, люди – братья, людям не надо воевать, им нужно жить в мире, какой бы ценой мир ни давался».

Мы узнали об этом собрании бонз и попросили прогрессивных монахов выдвинуть контртезисы, если они существуют в догмах буддизма. Правым реакционерам был противопоставлен главный тезис буддизма: «Прежде всего поиск истины. Истину нельзя найти, не выяснив вопроса, кто человеку друг и кто ему враг. Лишь после того, как человек узнает, кто ему друг и кто ему враг, лишь после того, как он пожмет руку друзьям и отринет врагов, наступит мир».

Диверсионную работу «тихие американцы» строят довольно хитро. Диверсанты оперируют в основном в горных районах, где живут национальные меньшинства.

Я спрашиваю Сисан Сисана:

– Вероятно, с диверсантами следует вести работу не только здесь, но и непосредственно в их логове?

– Это трудно. Как правило, американцы забрасывают с парашютами несколько квалифицированных специалистов, которые затаиваются, сами почти не передвигаются, а лишь ищут недовольных. Поэтому адреса явок, конспиративных квартир и тайных диверсионных школ во Вьентьяне и Таиланде нам неизвестны. Нам попадались только те люди, которые были завербованы резидентами, скрывающимися в горах.

Американцы пытаются делать ставку на народность мэо. Хотя многие мэо примкнули к революции, но среди некоторой части сильны узконационалистические настроения, они еще не осознали себя как часть лаосской нации. Американцы всячески препятствуют национальному становлению мэо. Они выдвигают теорию особого «королевства мэо», «бога мэо», хотят создать «национальную гвардию мэо», особые «штурмовые отряды мэо».

– Чем отличаются мэо от лаосцев?

– Практически ничем. Они, правда, испытывали на себе китайские влияния, их история была в древности более связанной с китайской.

...В бомбежке наступила пауза. Мы вышли покурить. Стояли, грелись на осторожном зимнем десятиградусном солнце.

– Вот вы, – Сисана кивнул головой на Свиридова, – по-лаосски будете называться «Ай Туй». Это значит «толстый брат». А вы, – он обернулся ко мне, – будете называться «Ай Нуот» – «бородатый брат».

Всю эту поездку нам «везло»: только вернулись в пещеру – снова прилетели самолеты и начали бомбить нашу злосчастную долину. Сисане приходилось кричать, чтобы я мог его слышать, – все вокруг грохотало..

Понг Сурин Фуми пригласил нас пообедать.

С продуктами здесь трудно, подвоз практически невозможен – из-за бомбежек. В пещере костер не разведешь – дым съест глаза. Поэтому готовить приходилось на костре возле входа в пещеру; один солдат варит рис, а другой следит за небом: надо успеть, если пролетит «фантом», забежать в укрытие.

После обеда Сисана рассказывал о национальном вопросе.

Он говорил, что в стране Лао шестьдесят восемь национальностей. Они отличаются друг от друга и по языку и по одежде. По лицу – трудно (все-таки похожи), кроме разве лао суонгов. Коренная народность Лаоса, лао лумы, насчитывает 1 800 000 человек. Среди них большая часть – лао, затем идут тху тхай. Еще есть народности лы, фуан, сувай. Названия народностей сложились очень давно. Есть, например, среди лао лумов маленькая народность танг луонг, в дословном переводе это значит «желтый лист». Люди этой народности покрывают листьями банана крыши своих домов, а когда листья желтеют, танг луонги перекочевывают на другое место.

Народность лао тхыонг (их 600 тысяч) включает в себя лавенов, та ой, а лак, нге, ка му, пу ак. В городе Канкыт, например, в Южном Лаосе, живет двадцать пять национальных меньшинств. Лао тхыонг поселяются кланами, а лао суонги до сих пор живут племенами. Мэо являются народностью лао суонг. Они охотники и скотоводы.

Американцы пытаются играть на узкоплеменных интересах мэо. Они продают мэо товары по низкой цене, особенно тем, которые живут на севере Лаоса, на границе с Китаем. Используют суеверия. Через своих подставных людей американцы говорят мэо: «У вас родился свой бог. Этот бог сообщил нам, где он родился, и приглашает вас к себе в гости. Кончайте работу, забейте скот, забейте кур, пусть у вас будет праздник!»

Люди приходят туда, куда их приглашают американцы. Американские агенты наливают воду из водопада в большой чан и незаметно бросают туда сахарин, который моментально растворяется. Людям мэо дают попить сладкую воду и говорят: «Ну если бы бог мэо не родился, разве вода из водопада могла бы стать сладкой?» Неграмотные люди, естественно, верят в это. А потом прилетает американский вертолет и устраивает катание. Радость, счастье. А скот забит, урожай не собран. Здесь праздник бога отмечают не день и не два, а месяц... У мэо начинается голод. Американцы тут как тут. Продовольственная «помощь» – старикам, а молодежь вербуют в армию. Так были созданы «особые силы мэо» – пятнадцать тысяч неграмотных, фанатичных наемников.

– Мы идем к мэо с тетрадкой и книжкой. Мы создали для них письменность, стремимся повысить их жизненный уровень...

Мы проговорили с Сисаной весь день. Потом он прилег на полчаса отдохнуть: прошлой ночью было заседание ЦК, он очень устал, а я вышел из пещеры подышать «нормальным воздухом».

Литое солнце умирало. Раскаленная, желто-белая масса солнечного света превращалась возле входа в нашу пещеру в осторожную, розовую, зыбкую акварель. А позже эти нежные акварельные «размытости» стали постепенно, но очень настойчиво, с каждой минутой все настойчивее, побеждать сильный сине-голубой тон.

Выйдя из пещеры покурить, я увидел, что небо уже не голубое, а черное. И в этом черном небе мерцали загадочные звезды. По-прежнему, как и утром, надрывно кричал петух. Он прятался от бомбежек вместе с людьми и выходил из пещеры дышать ночным воздухом тоже вместе с людьми. Това-

рищи надо мной подшучивали, но когда я несколько раз «предсказал» бомбежки по вою собак, подтрунивать перестали. Собаки выли так, как двадцать шесть лет назад, когда я жил на Волге и шла Сталинградская битва и фашисты налетали на наш город по два, три раза в день. Я с тех пор запомнил, как жалостливо, по-бабьи голосисто мычали коровы, а им подвывали собаки. Глаза у собак были замершие, устремленные в небо, которое сулило им невидимую и непонятную, но неотвратимо идущую гибель.

Сурин Фуми посовещался с комиссаром охраны Спертом. Принято решение: спать до полуночи и потом двинуться в неблизкий путь – через горы, пешечком в типографию и редакцию газеты. Ночью идти безопаснее – летают только винтовые «АД-6», а их можно услышать загодя и спрятаться среди скал.

Мы шли, растянувшись цепочкой. Впереди вышагивал необыкновенно элегантный (даже в своих рваных кедах и местами прожженной хлопчатобумажной партизанской форме) комиссар охраны Сисук, потом шел наш переводчик Понг Сурин Фуми. Когда мы с Валентином Свиридовым только приехали, он сказал:

– Если вы забудете, как меня зовут, постарайтесь вспомнить игру пинг-понг, и если вы меня назовете Пинг, я не очень обижусь, хотя в общем-то я Понг.

– Старина, – сказал я, – ни в коем случае не забуду ваше имя, потому что одна половина вашего имени равнозначна фамилии режиссера «Мосфильма» Саши Сурина. Пинг Понг Сурин Фуми. Очень просто.

Понг очень потешался по этому поводу. (Я радовался, глядя на него. То время, что мы провели у партизан – и рядом с принцем Суфанувонгом, и в пещере вместе с Сисаной, и во время перестрелок с диверсантами, – всегда и всюду Понг поражал меня своей одинаково опрятной подтянутостью. Брюки бритвенно выглажены – он клал их каждую ночь, если спать приходилось не на земле возле костра, а в пещерах, на деревянных «матрацах», под циновки; ботинки модные, до глянца начищены, а на шее повязан платочек, подаренный ему какой-то никому неведомой Прекрасной Дамой.)

Замыкали нашу цепь три солдата охраны. Шли мы, весело переговариваясь, но когда пришлось карабкаться по отвесной скале высоко наверх, Сисук обернулся и передал по цепи команду:

– Тихо! Потушить фонари!

– Черт! – выругался Понг. — Сейчас в темноте измажу брюки...

Быть таким опрятным здесь, где нет бань, а бамбуковые водопроводы разбиты бомбежками и даже простое умывание перерастает в проблему из-за внезапных налетов, – дело трудное и, я бы сказал, мужественное. Тем более мне был симпатичен Понг: я люблю людей, считающих для себя долгом быть элегантными во всех случаях и при всех условиях. Элегантность отнюдь не предполагает обилие тряпок. Я видел девушек на строительстве Абакан-Тайшета в маленьких унтах и в ватниках – они были куда как элегантнее некоторых молодых людей, натягивающих шляпы на уши обеими руками...

– Вот черт! – снова выругался Понг. — Измазал колено!

– Разговоры! – коротко сказал Сисук.

– А в чем дело? – шепнул я.

– Вчера они где-то поблизости сбросили диверсантов, а на скале нас можно перестрелять, как глупых кур, поодиночке. Они стреляют по голосам или по свету фонариков.

После нескольких часов перехода Сисук позволил сделать привал. Мы сели на камни в кромешной темноте. Прижались друг к другу спинами. Кто-то из солдат охраны достал флейту и заиграл песню «Лам вонг» . Сисук начал тихонько подпевать. «Лам вонг» — танец-песня. Ее поют, танцуя. (Однажды мы попали под сильную бомбежку, и нас всех засыпало землей: бомбы угодили совсем неподалеку, и мы уцелели чудом. Солдат, которого не только завалило землей, но и стукнуло камнем, ощупал себя – цел ли, — достал флейту и заиграл «Лам вонг».

– Что это он? – спросил я Понга. – Контужен, что ли?

– Почему? Он с радости играет. Жив, — значит, пой и танцуй!

...Сисук долго слушал, как играет на флейте солдат, а потом сказал:

– Ну-ка, дай мне.

Солдат передал ему флейту, маленькую, самодельную, из бамбука, и Сисук заиграл нежную, протяжную песню. Черно-белое небо, подрезанное острыми ножами горных хребтов, опрокинулось над нами звездным безразличным спокойствием. Рядом журчал ручей. Где-то в скалах протяжно и скорбно кричала неведомая птица.

...Ранним утром мы добрались до нужного нам места в горных джунглях (я намеренно не называю географических названий мест, где побывал, – меня об этом просили лаосские друзья: у американцев есть очень подробные карты, и лао опасаются, что сразу же начнутся бомбежки их баз, спрятанных в самой глубине гор). Здесь, в отличие от нашей горной долины, был слышен детский смех – ребятишки вылезали из пещер и грелись на солнышке под надзором двух женщин, одна из них была с карабином, другая – с биноклем. В отдалении солдаты чистили оружие; свободные от вахты нежились под солнцем: постарше – просто закрыв глаза и откинувшись на руки, словно на пляже, а те, кто помоложе, читали книжки. Рядом с входом в пещеру работал ткацкий станок, если, правда, это кустарное сооружение можно называть станком. Девушка ткала себе свадебную юбку. Это – традиция Лаоса: каждая девушка обязана выткать для свадьбы красивую юбку. Крохотное селение, скрытое в тропическом густом лесу, еще ни разу не подвергалось бомбардировке. Последняя воронка, которую я заметил, была в двух километрах отсюда. По лаосским понятиям это глубокий тыл.

Здесь расположена типография Нео Лао Хак Сат. Познакомился с директором Бун Поном. Ему тридцать шесть лет. Работать в типографии он начал восемнадцать лет назад – в день ее основания. Был подсобным рабочим. После налета на типографию полицейских Бун Пон бежал из Вьентьяна. Три месяца пробирался в районы Нео Лао Хак Сат, питался банановыми листьями, прятался от диких зверей на деревьях, привязывался ремнем к стволу и так спал. Здесь, в скалах, начали на пустом месте. Собрали кустарные печатные станки. А сейчас выпускают газету, книги, календари.

Он провел меня по типографии: это пять глубоких пещер, соединенных узкими, темными расщелинами – коридорами.

Тусклый свет от слабенького движка выхватывает матовыми пятнами мокрые стены скал. Освещенные пятнами желтого зыбкого света, работают наборщики, печатники, брошюровщики. Много молодежи: юноши и девушки шестнадцати-семнадцати лет. Отпечатанную газету передают из рук в руки, очень бережно; читают, несколько даже изумленно радуясь свершенному чуду, по нескольку раз, от корки до корки. Формат газеты вроде нашей заводской многотиражки. Работать приходится в пальто. У людей землистый цвет лица, ледяные руки. По нескольку раз на день они выходят из пещеры погреться на солнце.

Познакомился с корректором Бун Ни. В прошлом он был монахом в пагоде Ват По Киси Бун Хыонг. Ушел в партизаны вместе с настоятелем пагоды Маха Тяо.

– Какую догму буддизма вы почитаете более всего? – спросил я его.

– Люби ближнего, – ответил он тихо.

Я религиозно, можно сказать, отношусь к типографиям. Там совершается самое великое чудо: мысль делается вещественной, материальной, принадлежащей не тебе одному, а всем людям. И было мне очень горько за далекую заокеанскую цивилизацию, которая загнала в сырые скалы чудо мира – книгу. И думалось мне, что так долго быть не может. Книга обязательно выйдет к солнцу.

Директор Бун Пон ходил по типографии с полуторагодовалым сыном-первенцем на руках. Мальчик надрывно кашлял во сне. Здесь почти все дети тяжко больны бронхитом. Много легочных заболеваний. Середина XX века – операции по пересадке сердца, конгрессы по кибернетике – и дети в пещерах, совсем неподалеку от главных очагов мировой культуры, если расстояние соотносить с сегодняшними сверхзвуковыми скоростями.

Беседовал с членом редколлегии центрального органа Нео Лао Хак Сат товарищем Кан Маном. Ему двадцать пять лет. Сын одного из секретарей ЦК, он в 1958 году кончил лицей и пошел служить в армию правых (отец против сына – Лаос соткан из подобных трагических парадоксов). В армии Ман был радиооператором, получил звание старшего капрала.

Продолжал службу, заключив контракт на два года, потому что предложили хорошую зарплату: дома была мать, которую нужно кормить. Ее муж – секретарь ЦК – имеет только одно преимущество перед остальными: он может первым получить пулю в лоб. Что касается материальных благ, то я видел, как живет в пещере член ЦК Сисан Сисана.

В 1961 году Кан Ман перешел в батальон парашютистов пятнадцатой мобильной группы.

– Неужели нельзя было устроиться на работу дома, в Лаосе? – спросил я.

– Я пробовал. У нас был конкурс на две должности в министерстве общественных работ. Это громко звучит – «в министерстве». Конкурс был на замещение вакансии дорожного мастера, который знает топографическую съемку. А я топографическую съемку отлично знал после армии. На конкурс пришло пятьдесят два человека. У нас, чтобы заместить должность, нужно сдавать испытания, которые значительно труднее, чем экзамены в любой институт.

Из пятидесяти двух выдержало два человека. Я был вторым. Я пришел на следующий день в министерство, счастливый, думая получить свое первое задание, но поскольку я не скрыл, кто мой отец, меня к работе не допустили. А вместо меня взяли другого, того, кто занял десятое место на конкурсе. У него была «длинная рука». Ладно... Я продолжал крепиться, думал как-нибудь устроиться на гражданскую работу. Был конкурс учителей начальной школы. Можно было, конечно, дать взятку, и меня бы приняли. Но у меня не было денег, мы с мамой и братом голодали, и отец, скрываясь в джунглях, тоже голодал. На конкурс пришло двести пятьдесят человек. Я занял первое место. Меня снова отвели, а взяли сына начальника уезда. Я знаю даже сумму денег, которую дали инспектору: шестнадцать тысяч кип – как раз цена полбуйвола. Третий был случай. Прочитал объявление: в полицию Вьентьяна набирали четыреста полицейских. Я взял моего младшего брата, и мы пошли туда. У меня и у брата есть образование, а я еще имею армейское звание шеф-капрала. Кого же, как не меня, должны были взять в полицию? Платили три тысячи шестьсот кип в месяц. Приняли в полицию триста девяносто восемь человек, отвели только двух – меня и брата.

После этого я понял, что гражданскую должность мне не дадут. Тогда я заключил контракт и пошел в парашютисты. Это было в Саваннакете. Получил звание сержанта, и вскоре меня отправили участвовать в боях против патриотов, против отца и его друзей, в Луанг Нам Тха. За участие в сражениях получил звание старшины. А девять дней спустя – бои были серьезные – мне дали звание старшего старшины. А еще через тринадцать дней я получил звание младшего лейтенанта, а еще через месяц (то ли они заигрывали со мной, то ли действительно бои были тяжелыми) я получил звание старшего лейтенанта.

– Вы тогда думали об отце?

– Нет, — отвечает он, — нет, тогда я об отце не думал. Честно говоря, тогда я думал только о том, как прокормить мать, брата и как быть сытым самому.

– Как вы проводили время? – спрашиваю я.

– Как проводит время офицер, который не знает, за что он воюет, но знает, что за его войну он получает хорошие деньги? Я много пил, гулял, бегал за бабами. А однажды, когда лежал утром у себя на неразобранной койке и голова трещала с тяжелого похмелья, ко мне пришел один из работников ЦК, от отца. Он мне сказал, что отец тяжело ранен, видимо, предстоит операция, и просит меня к нему прийти.

Я пошел в Саваннакет, оттуда – домой, в Пак Се. А дома сидели товарищи отца, и я ушел с ними в джунгли. Сначала я тосковал, даже думал бежать. Три месяца я жил с отцом в его пещере. Он беседовал со мной не как отец с сыном, а как революционер с заблудшим. Потом год я учился за границей. И вот сейчас здесь. Сначала переводил материалы с иностранных языков на язык лао. Потом начал понемножечку писать, а теперь я шеф международного отдела.

Его коллеге товарищу Кан Тхи восемнадцать лет. Он корреспондент военного отдела.

– Я с раннего детства видел, как колонизаторы мучили мой народ. Я тогда мало понимал, но было как-то по-мальчишески больно. Я стал что-то понимать, когда сюда пришли войска Патет Лао. Потом пришли правые. Это были тоже лаосцы, но они очень разнились от тех, которые были в рядах Патет Лао. И я убежал к партизанам. А те меня отправили не

на фронт, как я мечтал, а в среднюю школу, впервые созданную в нашей стране. После окончания школы пришел в редакцию. Работал переписчиком материалов, а через месяц стал сочинять маленькие заметки. Говоря откровенно, сейчас тоже продолжаю изредка выполнять роль переписчика, но пишу в газету все больше и больше.

– Куда вы ездите? – спрашиваю я его. — О чем пишете?

– Здесь всюду фронт. И есть о чем писать.

Я беседовал в маленькой бамбуковой беседочке возле входа в пещеру с членом редколлегии Тхонг Дамом, с переводчиком Донг Тяном, и в это время вдруг, откуда ни возьмись, низко-низко пронесся «фантом». Мы едва успели вскочить в пещеру, и пока мы там падали друг на друга, прогрохотали подряд два взрыва. Из воронок несло гарью, паленой шерстью. К счастью, никого не задело.

(Вечером сидел у транзисторного приемника, слушал новости. Вашингтон передавал последние данные опроса Института общественного мнения Гэллапа. Половина опрошенных американцев была не согласна с вьетнамской агрессией, и только тридцать процентов поддерживали официальный курс правительства Джонсона. Если демократия есть подчинение меньшинства большинству, то отчего Джонсон продолжает войну? Ведь большинство американцев против политики правительства во Вьетнаме.)

Ночью двинулись дальше. В машине нас набилось восемь человек: Понг, комиссар Сисук, Валя, я и еще четыре человека охраны. Двинулись по горному бездорожью. Ехали очень медленно, километров восемь в час. Навстречу не попадалось ни единой души.

А во Вьетнаме ночью на дорогах можно увидеть людей. Там много бомбоубежищ, и предупреждение о приближающемся самолете доходит от девушки-регулировщицы за три-четыре минуты. На дорогах много регулировщиц с гонгами, с рельсами, к их будочкам подведены телефоны, и они заго-дя предупреждают людей на дорогах. Можно успеть спрятаться. Служба предупреждения во Вьетнаме поставлена прекрасно. Нет, конечно, правил без исключения, бывает, что и не успевают предупредить, но это на самых глухих участках пути...

Сначала все мы были в напряжении, потом попривыкли, расслабились, стали шутить, рассказывать истории. Так проехали километров тридцать. И тут перед нами вырос грузовик с распахнутыми дверцами и выключенными фарами. Сисук сказал шоферу:

– Погуди.

Шофер долго гудел, потом Сисук сказал:

– Может, диверсанты их перебили?

Мы гудели, не выключая мотора, и вдруг где-то рядом прогрохотали пять или шесть выстрелов. Сисук по-кошачьи быстро выскочил из машины, приказал всем нам:

– Вылезай!

Шоферу рявкнул:

– Глуши мотор!

Мы выскочили из машины. Я успел заметить, что Понг схватил керосиновый фонарь, который он всюду возил с собой, — свет здесь дефицит, — сумку с продуктами, флягу с водой и кобуру с пистолетом. (Я позже замечал: летит самолет, надо выскакивать, а Понг бежит последним, успевая захватить все, что было у нас с собой из провианта. Если уж машину разобьет, так хоть поесть можно будет, пока станем добираться до другого места. И свет тоже: мало ли, зацепит кого, хоть перевяжем. Впрочем, народ здесь бесконечно добрый. Поэтому голодным не останешься. Когда мы вместе с солдатами входили в маленький горный поселок, наша охрана выливала из фляг всю воду. Если жители увидят, что к ним пришли со своей водой, — значит, вы думаете, что здесь живут скряги, негостеприимные люди. Как же можно не напоить водой гостей? (Однажды Свиридову стало плохо, он потерял сознание, его положили в маленькой пещере. Когда он пришел в себя, то увидел вокруг малышей. Они сидели рядом и выдергивали ему волосы на груди и руках. Лаосцы гладенькие, волос на груди нет, на руках тоже. Наша волосатость кажется им дикой. Вот малыши и решили, что Вале стало плохо из-за того, что у него выросло много волос на груди и около шеи, и решили помочь ему – выдрать эти ужасные волосы, от которых – от чего же еще? – человеку стало дурно.)

Все быстро выскочили из машины, и когда теперь после громких выстрелов настала тишина, мы услышали жужжание

самолета «АД-6». Он спускался все ниже и ниже. Мы поняли, что сейчас он начнет бомбить. Он спускался прямо на нас, а дорога здесь, как потом выяснилось, шла между двух скал. Это место они, оказывается, давно пристреливали, с тем чтобы, сбросив несколько тонных бомб на скалы, завалить путь.

Ночь была безлунная, вокруг кромешная тьма. Мы бросились куда-то влево, потом свернули направо, падали, чертыхаясь. Фонарик включить нельзя: самолет все ниже и ниже, совсем рядом. Вдруг Валя Свиридов заорал что-то. Мы подбежали к нему. Он стоял с вытянутыми руками, и мы сначала не могли понять, в чем дело. Оказывается, он, вытянув руки, — все люди так ходят в темноте, – попал в натянутую маскировочную сеть. Мы с трудом вырвали «толстого брата» из сетки. Из темноты крикнули:

– Берите правее!

Мы взяли правее и оказались в пещере, и в это время американец стал бомбить. Вовремя спрятались. А в пещере сидели люди, ели, спали, смеялись, играли в карты при свете фонарика. Свет был направлен так, чтобы освещать только карты, – с дороги не заметишь, а тем более с неба.

«АД-6», отбомбившись, улетел. Ночь по-прежнему безлунная, но на небе было много звезд, и поэтому близкое, незнакомое небо из-за серых облаков, протянувшихся по нему, казалось огромным рентгеновским снимком чьей-то грудной клетки. Можно было явно просмотреть огромные ребра и большущее сердце, смещенное книзу.

Машину не повредило, только немножко засыпало осколками камней. Скальный монолит здесь очень крепок, поэтому дорогу и на этот раз не закупорило. Вокруг остро пахло кремнем. Я помню, как мальчишками мы высекали искры из камней. Такой же точно был запах и сейчас, только очень конденсированный. В этом запахе «сухого огня» было очень много пространственного. Впервые в жизни я вдруг почувствовал, что запах имеет еще и пространственное значение.

Приехали мы под утро в высокое горное урочище, зашли в пещеру. По хитрым бамбуковым лесенкам, которые вели из одной пещеры в другую, — одна более таинственна, чем другая, — забрались куда-то очень высоко вверх – на «пятый этаж». Трещал сверчок, была тишина. На досках лежали бам-

буковые циновки. Во всем этом прочитывалась таинственная умиротворенность приключенческих фильмов о XIX веке в джунглях.

Уснули, тесно прижавшись друг к другу, проснулись веселые, и комиссар Сисук долго не мог прийти в себя от хохота, когда изображал, как «толстый брат», «Ай Туй», запутался руками в маскировочной сетке. «Прекрасная веселость войны, — подумал я. — Жаль, что мы не умеем так же беззаботно веселиться в спокойные и суетливые дни мира».

Утром встретился с товарищем Петсавоном, председателем трибунала провинции Самнеа, заместителем председателя здешнего административного комитета провинции.

Бросив школу из-за голода, работал, нищенствовал, мечтал учиться. Пришли японские войска, гнет стал невыносим, включился в революционную борьбу. Возглавлял партизанские отряды. После победы над японцами вернулись французские колонизаторы. Часть революционеров эмигрировала, другие поднялись еще выше в горы, спрятались в джунглях, продолжая борьбу, а некоторые стали сотрудничать с французской администрацией. И Петсавон оказался командиром роты, которая находилась на службе у французских властей. Более того – его рота в конце концов, как наиболее сильная, стала карательной ротой. Ему поручались карательные операции против партизан, против его прежних друзей по оружию. С ним нашли возможность вступить в секретную связь его прежние друзья. Петсавон долго обманывал колонизаторов, а потом собрал двадцать шесть верных солдат и увел их в джунгли – к своим. С тех пор Петсавон один из активных участников партизанской борьбы.

– Скажите, — спрашиваю я Петсавона, — а каким образом вы рискнули наладить связь с патриотами?

– Как вам сказать, — ответил он. — Это вопрос и сложный и легкий. Никаких особо хитрых способов в общем-то не было. Мы, лаосцы, долго присматриваемся друг к другу. Мы не начинаем исподволь готовить человека к серьезному разговору. Мы просто смотрим на этого человека, наблюдаем за тем, как он ест, как он пьет, как он смеется, как он просыпается и как он засыпает. Это очень важно – знать, как засыпает че-

ловек. Люди с нечистой совестью долго не могут уснуть, и даже храпят они как-то по-особому.

Я улыбнулся. Петсавон серьезно сказал:

– Я говорю вам правду. Во всяком случае, я в эту правду очень верю...

Петсавон предложил посетить госпиталь. Идти недалеко, но, впрочем, предстоит перебежать поле. Это очень рискованно: американцы в эти дни делали по двести самолето-вылетов в день. Все поле изрыто воронками. Сисук бранился, он никак не хотел разрешить эту километровую пробежку.

– Игра со смертью, – ворчал он. – Зачем? Ночи, что ли, нельзя подождать?

Свиридов сказал ему, что в прошлом он был чемпионом по бегу. Сисук долго смеялся, поглаживая Валю по животу, но все же смилостивился и разрешил эту перебежку. Сам он, как всегда, побежал первым.

Столкнувшись лицом к лицу с сегодняшней войной, я много думал над ее особенностью. Сейчас идет война скоростей. Человек сам создал сверхскорости, но ничего противоборствующего им создать еще не смог. Раньше вы могли слышать войну загодя, особенно когда прилетали самолеты. Сейчас вы этого лишены: самолет прилетает, опережая звук. Так, по воле хищников, гений человечества безнравственно обращен против него же самого...

Пробежали мы равнину без приключений. Поднялись в госпиталь – он тоже расположен в системе пещер. Оставляет он впечатление тяжелое. Это еще более трагично, чем типография. Здесь, во влажных, холодных пещерах, лежат безногие дети, старики с выжженными фосфором глазами, раненые женщины... Оперируют при свете керосиновых ламп. Зашли в маленькую «пещерку» начальника госпиталя, двадцатитрехлетней Тай Пет. Она принимала нас весело и улыбчиво, и эта ее веселая улыбчивость была особенно трагичной. За спиной, привязанный широким полотенцем, чтобы не вывалиться, сидит годовалый сын Тай Пет и испуганно глазеет на нас из-за ее плеча. Перевязки она тоже делает, привязав сына к спине: мальчика не с кем оставить, а перевязывать раненых приходится очень часто.

Мы беседовали с ней, и вдруг рядом загрохотало, понесло гарью, плотной и удушливой. Выбежали из глубокой пещеры,

поднялись наверх. Плач, крик душераздирающий, стоны: пролетел «фантом», сбросил бомбу, осколками ранило семнадцать больных. Возле входа и пещеру лежала убитая девушка-врач, две медсестры корчились на полу, и халаты их были багровыми от крови.

...Возвращались к себе молча, подавленные. Сисук не разрешил бежать через равнину, и Петсавон повел нас кружным путем, по скалам, чтобы можно было в любой момент спрятаться в пещеры. Остановились у ручья – там купались юноша и девушка. Они были молодые, красивые, обнаженные. Они плавали в тугой ярко-зеленой воде как сказочные герои из цветного фильма. Девушка что-то напевала. Волосы ее были распущены. Она плавала среди диковинных белых цветов и смеялась. Мы прошли мимо них на «цыпочках» – так неожиданны и прекрасны были эти Адам и Ева среди ужаса и боли войны.

...Обедом нас угощала «матушка Ван Ни Хайкам Питхун». Боже ты мой, какая же это милая и нежная женщина! Вообще ее хорошо знают во всем Лаосе. Она мастер по вышиванию ковров и юбок. Юбки она делает поразительные: шитые золотом и серебром, парчовые, рисунок замысловат и фантастичен.

Ковры матушки Ван Ни особенно интересны, о них стоит рассказать. Вытканы, например, две громадные жар-птицы. Одна красно-золотая, другая сине-серебряная, и все это на темном фоне.

– Почему такая контрастность цветов? – спросил я.

– Потому что ожидание утра всегда контрастно в цвете, — сказала она. — Это только кажется, что ранним утром цвета зыбки. На самом деле они самые точные и различимые. На красной птице золотые лунные отблески, а синяя уже во власти голубого с серебром рассвета...

Узоры и рисунки на коврах разнообразны. Эскизов она не делает и даже не знает, что это такое. Я ей объяснил, что такое эскиз. Она пренебрежительно усмехнулась:

– Если мечту надо сначала рисовать на бумажке, так что ж это за мечта? Мечту надо видеть все время, во сне тоже.

Понг, внимательно слушавший наш разговор, сказал:

– Жаль, что с нею может исчезнуть это народное искусство.

– А разве нельзя открыть маленькую мастерскую-училище, где бы она собрала талантливых учениц?

– В пещере? – вздохнул Понг. — Они ослепнут через полгода. Она делала все это до бомбежек. Наши девушки во Вьентьяне совсем забыли это искусство. Жаль, очень жаль. Парчовая юбка, как и любовь, должна быть рождена долгим временем – и то и другое сродни творчеству.

– А может быть, девушке целесообразнее пойти в магазин, истратив на это десять минут, и купить ткань на юбку? Фабричную ткань?

– Нет, – подумав, ответил Понг, – наши девушки должны потратить хоть десять дней в году на самую красивую свою юбку.

– Вы женаты?

– Нет, – ответил Понг.

– А возлюбленная есть?

– Во время войны не может быть любви.

– А может быть, любовь существует вне зависимости от войны и в этом нет ничего порочного?

– Нет, – ответил Понг, – любовь может быть только после войны...

С утра бомбили. Бомбежка очень сильная. Высунуть носа из пещеры невозможно. Когда американцы улетели, мы узнали, что бомба накрыла соседнюю пещеру. Пошли туда – это в двухстах метрах от нас. Ранено двое детей. У одного осколком разбита голова. Вынесли второго ребенка, ему два года. Левая рука висит на сухожилье, отец держит его на окровавленных руках, беззвучно плачет, пришептывает что-то. Мальчика еще и сильно контузило, поэтому он страшно косит глазами и беспрерывно икает. В левом уголке рта то и дело набегает кровавая пузырчатая слюна. Мать лежит на полу; ее ранило в ногу, но сознание она потеряла не от боли. Когда увидела сына, свалилась без сознания и до сих пор не приходит в себя.

– Сфотографируйте, — сказал Петсавон, — покажите в Европе, что здесь делают цивилизованные янки.

Я не смог сфотографировать этого младенца – сердце не позволило.

...Раньше, на заре цивилизации, войско воевало с войском. Теперь, когда цивилизация вошла в быт, война в первую голову обрушивается на детей и женщин.

Все утро слушал последние новости. Ехать или идти невозможно – по-прежнему бомбят. Слушал по транзисторному приемнику последние известия: Голдуотер, апологет холодной войны, заявил о бомбежках в Азии: «На войне как на войне!»

Прослушав это заявление, Сисана заметил:

– Удел подобных политиков – профессионализм, направленный на выполнение задач, выдвинутых перед ними их классом. Наши убитые дети их не интересуют. Такой профессионализм, – повторил он, – это холод души.

(Я вспомнил, как в Хельсинки один «веселый» западный журналист серьезно уверял меня, что если бы он увидел, как во время циркового представления в клетку к львам попал ребенок, он бы сначала сделал снимки, а уже потом ринулся спасать бедное дитя.

– Врете вы себе, — сказал я, — и мне врете.

– Нет, — ответил он, — видимо, все-таки не вру. Профессионализм в конце концов побеждает человека, и глупо за это человека судить.

– Профессионализм надо славить, — ответил я тогда, — но нельзя оправдывать профессиональную безнравственность. Или, если хотите, безнравственную профессиональность.)

Подниматься к буддийским бонзам (их сорок человек, они живут высоко в скалах) трудно. Целая система тонких бамбуковых лестниц, словно на мачту корабля взбираешься. А подниматься надо быстро: лестница это самое опасное, если прилетит самолет – и вниз спуститься не успеешь, и доверху не долезешь, а падать от взрывной волны пятьдесят или сто метров в пропасть – занятие не из приятных.

Беседу с бонзами я записал подробно, она, с моей точки зрения, представляет серьезный интерес. Сначала беседовал я с двумя бонзами. Первый – Конг Си, второй – Ки Кэо. Они – руководители ассоциации буддистов провинции Самнёа. А особенно большое впечатление на меня произвел третий

бонза, господин Кху Пха Тхой, подошедший чуть позже – до этого он молился со своими учениками в другой пещере. Он член Лаосской ассоциации буддистов, глава буддистов нескольких провинций: Самнёа, Фонгсали, Намтха... Это очень высокий человек в желтой одежде с открытой грудью, открытыми руками (мы были в пальто), с бритой головой. Огромные глаза его светятся добротой. Он не идет, а выступает, не говорит, а вещает. Вещает слова, которые, как он считает, нельзя не воспринять, ибо это истина.

– Главное, чему мы сейчас посвящаем свою деятельность, — сказал бонза, — это соединение воедино догм буддизма с политической борьбой против агрессии и утверждением национального лаосского духа.

– В какой мере остальные буддийские бонзы Лаоса разделяют вашу концепцию?

– Большинство с нами. Но у нас есть враг, его знают все. Это Маха Падит. Он является ревизором по монашескому образованию буддистов Лаоса и советником по вопросам религии в правительстве Вьентьяна. В его пагоде Ват Тян – главное средоточие сил, выступающих против патриотического движения Нео Лао Хак Сат. Вместе с ним мало людей, которые бы искренне разделяли его позицию. По-моему, он в высшей мере одинок. Остальные высшие буддийские бонзы Лаоса с нами – если не делом и словом, то мыслью, во всяком случае.

Суть нашего движения можно свести к четырем формам. Первая форма борьбы – против самого себя, против того дурного, что заложено в тебе самом, за то хорошее, что в тебе есть. Вторая — борьба против суеверий. Что такое суеверие? Это слепая вера в идолов, провидцев, гадателей, предсказателей. Мы против этого. Буддизм против преклонения перед теми, кто присваивает себе титул провидящего. Мы не верим в провидцев. Мы верим в моральное совершенствование каждого человека. Мы против исключительности. Провидец – это исключительное. Если все станут провидцами (а все могут стать провидцами, ведь каждый же может стать буддой), тогда все будет прекрасно. До тех же пор, пока люди не могут сказать, что все они уже стали провидцами, каждый утверждающий себя таковым выступает против людей, ибо он воз-

носит себя над ними. Третья форма – борьба с теми, кто ведет неправильную жизнь. И, наконец, четвертая – за то, чтобы человек боролся с природой – за природу... Те бонзы, которые попали под влияние американцев, неверно толкуют Будду. Они зовут верующих к тому, чтобы стремиться совершенствовать самого себя лишь путем молитвы. Говоря, например, о добре и о любви, они не различают, кому делать добро и кого любить. Просто любить нельзя. Человек всегда любит или не любит целенаправленно... Они проповедуют терпение. Просто терпение. Это неверно. Я считаю безнравственной абстрактную проповедь: «Не делай зла». В чем сконцентрировано зло? В чем и в ком? Ответ очевиден: «В тех, кто бомбит пагоды». Следовательно, сначала нужно звать верующих к тому, чтобы избавиться от зла. От тех причин, которые его порождают. И уже после делать добро.

...Когда поздно ночью мы уходили от бонз к машине, спустившись по дьявольским лестницам, фонарики нельзя было включать из-за бомбежки. Мы пробирались по тропе вдоль каких-то непонятных для меня мерцающих точек. Опустившись на колени возле одной из этих точек, я увидел, что это прогоревшие угольки. Кто-то из монахов перед тем, как мы собрались уходить, взял ведро с угольками и, пробежав весь путь от пещеры до машины, оставленной нами в укрытии, разбросал эти красно-черные угольки. Мы шли, как в сказке, по волшебной черно-красной тропе, шли, как по сказочной стране, в сказочной тишине, которая каждую минуту могла смениться реальным грохотом и смертью.

Когда поехали дальше, Сисук сказал, что американцы сбрасывают на скалы многотонные бомбы. Получается микроземлетрясение, в скалах людей засыпает камнями, люди оказываются заживо похороненными...

Сегодня все окружающие радостны. Сисана весь светится. Пришло сообщение о победе войска Патет Лао под Намбаком. Весть эта передается из пещеры в пещеру. Лаосцы распевают новую песню: ее сегодня ночью сочинил Сисана и сразу же положил на музыку. Я прошу его прокомментировать это событие.

– Намбак – очень важный, плодородный район, – говорил Сисана, – в шестидесяти километрах от королевской сто-

лицы Луанг-Прабанга. Он всегда находился под контролем Нео Лао Хак Сат и нейтралистов. В 1966 году был захвачен парашютистами правых, и вот четырнадцатого января наши войска одержали победу. Там находилось двенадцать батальонов правых, несколько «групп-мобиль» – специальных мобильных групп, там были и третий и четвертый батальоны, и девяносто девятый батальон парашютистов. Вся эта группировка войск правых разгромлена.

Говорили мы с Сисаной в его пещере – это и квартира, и резиденция радио. Пришли два корреспондента, прибывшие из Вьетнама. Началась импровизированная пресс-конференция. Должен был прийти корреспондент Синьхуа, но, узнав, что здесь присутствует корреспондент «Правды», категорически отказался нанести визит. Вопросы сыпались один за другим. Сисана был весел и остроумен, отвечал быстро и четко. Я бывал на многих пресс-конференциях – и в Кабуле, и в Берлине, и в Хельсинки, и в Багдаде, и в Пекине, — но такой пресс-конференции я не видел ни разу. Член парламента, член ЦК, руководитель Информационного агентства Лаоса, поэт, которого здесь знают все, порой отвлекался, чтобы взять на одну руку дочку, а на вторую руку посадить сына. Жена у него, прозрачная, худенькая женщина, лежит на нарах и оттуда, из темноты, зачарованно смотрит на мужа. Глаза у нее огромные, антрацитно мерцают в полутьме. Мы со Свиридовым, зная, что она месяц назад родила ребенка, принесли в подарок то, что у нас было с собой прихвачено, — малиновое варенье на случай простуды и виноградный сок. Я видел, с каким наслаждением уплетали ребятишки пещер варенье, запивали соком и распевали песни отца. Когда пресс-конференция, сопровождавшаяся песнями детишек, кончилась, Сисан сказал мне:

– Завтра вас примет принц Суфанувонг.

Мы отошли к выходу из пещеры, присели на доску. Сисана стал рассказывать мне историю побега из тюрьмы принца и остальных членов ЦК Нео Лао Хак Сат.

История этого побега из тюрьмы могла бы стать сюжетам для захватывающего фильма. Я записал эту историю. Вот она:

«Сисан Сисану правые арестовали первым. Его бросили в тюрьму, и он сидел в камере без права прогулок. Он не знал,

успели остальные уйти или нет. Как-то один из его стражников сказал:

– Жаль, больше я не почитаю вашу газету. Хорошая была газета.

Сисана начал приглядываться к своему стражнику и однажды ночью уговорил его разрешить прогулку. Проходя по тюремному коридору, Сисана заглядывал в глазки камер и в одной из них обнаружил принца Суфанувонга, секретаря ЦК Нухака, членов ЦК Камадана и Буфу. Все было ясно: правые обезглавили патриотическое движение, помощи ждать неоткуда. Когда тюремное начальство увидело, что узники ведут себя довольно спокойно, им разрешили выходить во двор, на огородик. Там они стали сажать лук, салат, папай.

Первая ласточка свободы была неожиданной. Один из членов ЦК решил, что называется, играть ва-банк. Он попросил своего стражника отнести домой письмо. Стражник согласился. После он же принес передачу из дома. В ней была записочка.

Члены ЦК начали беседовать с охранниками о жизни, семье, книгах. Затем – о политике. Завязались у членов ЦК интересные взаимоотношения и со следователями. Многие члены ЦК видели, что следователи, допрашивая их, выполняют свои обязанности, но по-человечески сочувствуют заключенным. И однажды один из членов ЦК попросил своего следователя рассказать о новостях, которые происходят в мире. Следователь долго молчал, потом написал на листочке бумаги: «Сегодня в четыре часа слушайте внимательно».

Специальная тюрьма для членов ЦК Нео Лао Хак Сат в четыре часа пополудни замерла. И в одном из соседних домов (а тюрьма помещалась в военном городке) было на полную громкость включено радио. Кто-то вертел шкалу приемника. Сначала передавались последние известия из Вьентьяна, а потом эта же добрая рука настроила приемник на Ханой.

Однажды один из следователей в конце длинного, сложного допроса тихо сказал:

– В ближайшее время вас разобьют на группы и отправят по разным тюрьмам.

Ночью в тюрьме было собрано экстренное заседание ЦК. Приняли решение бежать.

Старшему охраннику Удону и двум его подчиненным – Тхам Ону и Бун Тави – предложили бежать вместе с членами ЦК.

Удон и его друзья приняли это предложение. Они попросили разрешения взять и своих младших братьев.

– Кто они? – спросил Нухак.

– Молодые монахи, — ответил Удон. — Они хотят служить революции.

На следующий день Нухак попросил членов ЦК в то время, когда они будут копаться на огородике, обратить внимание на видневшееся за пределами военного городка, неподалеку от джунглей, большое белое дерево. Около него и был назначен сбор беглецов. Туда же должны были прийти и молодые монахи.

– Подготовили продукты, — вспоминает Сисана. — Наступила ночь. Охранники заступили на дежурство. Удон связался с двумя проводниками из нашего центра. Мы переоделись в солдатские мундиры полицейской охраны. Забор, окружавший тюрьму, был цинковый, гофрированный. Он так раскалялся днем, что к нему нельзя было подойти. Мы думали прорезать в заборе дыру и бежать через нее. Но солдаты в двух бронетранспортерах, которые круглые сутки стояли у тюремных ворот, никак не ложились спать.

Удон сказал: «Срочно нужны деньги». Мы собрали деньги, он купил водки и пошел к солдатам бронетранспортеров. Пили они долго, примерно час. Удон вернулся бледный, но не пьяный. От его одежды, рук шел острый запах рисового самогона.

Думали выключить прожектор, чтобы разрезать забор в темноте. Но Удон сказал:

«Выключать прожектор опасно, в военном городке, наверное, есть еще один какой-то наблюдательный пункт. Выключи прожектор – будет тревога. Лучше уходить через ворота...»

...Чтобы изменить внешность, принц Суфанувонг сбрил бороду и усы.

«Сколько есть шансов на то, что убежим?» – спросил он.

Секретарь ЦК Нухак сказал:

«Процентов на семьдесят, я думаю, удача гарантирована».

Принц ответил:

«Даже если б было пятьдесят процентов, нужно бежать».

Мы разделились на три группы. В первой был принц. Я шел в последней группе.

Первая группа вышла из ворот, пошла по освещенной улице, мимо спящих казарм и домов для офицеров, по направлению к белому дереву.

Минут через десять вышла вторая группа. Мы напряженно прислушивались. Было очень тихо, даже цикады не трещали, и мы, вспоминает Сисана, страшно сердились, что они не трещали. Громкий треск цикад нам показался бы тогда спасительным.

А потом пошла третья группа. И вдруг солдат, который дремал, сидя на бронетранспортере с автоматом в руках, вскинул голову и посмотрел на нас, выходящих из ворот. Долго он смотрел на нас, а мы, замерев, шли мимо него. Потом снова уронил голову на грудь, и, – вспоминает Сисан Сисана, – я до сих пор не могу понять: то ли он понимал, что происходит, но был за нас, то ли был мертвецки пьян?

Мы шли быстрым шагом в кромешной мгле по направлению к белому дереву. Но сколько я ни приглядывался, никак не мог определить в темноте это белое деревцо. Вдруг впереди вспыхнул острый луч света. Мы сначала даже не поняли, что это не просто свет, а свет, сопровождавшийся треском. Мы были вооружены. Удон и солдаты охраны имели автоматы. Решили отстреливаться. Я сошел с дороги, а Удон, поняв, что навстречу нам несется мотоцикл, кинулся к нему наперерез. Мотоциклист мог свернуть к тюрьме, и тогда бы он разбудил тех, кто находился в бронетранспортере, а они наверняка решили бы зайти в тюрьму, посмотреть, как там дела. А тюрьма была пустая, там не осталось ни одного человека, ни единой живой души, мы и охрана – все убежали.

Удон бросился наперерез к мотоциклисту, замахал руками, направил автомат и закричал: «По третьей дороге нельзя, поезжай направо!» Третья дорога вела и тюрьме. Мотоциклист послушно откозырял и поехал направо.

Пошли дальше. А в это время навстречу нам, печатая шаг, шли два человека. «Кто идет?» – спросил Удон. «Я», – ответили из темноты. «Кто – я?» – рассвирепел Удон, подымая автомат. «Да я, я». Это был принц. Он шел с солдатом. Они сби-

лись с дороги. Мы объединились все вместе и стали пробираться к белому дереву. Мне повезло, я сумел сориентироваться и вывел товарищей к условленному месту.

Где-то рядом бормотал ручей. Это был первый звук свободы, который мы явственно услыхали. Ветер шелестел в листве пальм, и это был второй звук свободы, который пришел к нам.

Но уходить в джунгли было нельзя, потому что те два связных, что пришли из центра, и охранник пошли искать нас и принца. А когда они вернулись, оказалось, что нет еще молодых бонз, братьев нашей стражи.

В час ночи наконец все собрались. Должен вам сказать, — смеется Сисан Сисана, – что только в кинофильмах побеги проходят организованно и слаженно. В жизни всегда бывает масса какой-то суетливой недодуманности. Да это и понятно: человек, который выходит из темницы на свободу, суетлив в движениях, в своих помыслах, и его психика (это смогут обосновать научно врачи-экспериментаторы) резко отличается от той, когда он пребывал в тюрьме.

В час ночи, слава Будде, мы тронулись. Мы шли до четырех часов утра. Это произошло в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое мая. Вокруг нас была изумительная красота. Кричали птицы, пробуждались джунгли. Мы шли, подавленные этим пышным музыкальным сопровождением свободы. Во всем вокруг слышалась музыка. Она была вокруг нас и в каждом из нас.

В условленном месте из-за пальмы кто-то крикнул: «Нэн», что значит «один». Я ответил словами отзыва. Навстречу вышли люди из второго батальона, батальона Патет Лао, которые отвечали за нашу безопасность.

Светало. Мы забрались в самую чащу джунглей и там просидели весь день, заняв на всякий случай круговую оборону. То, что мы заняли круговую оборону, как выяснилось, было правильным. Утром, в семь часов, в тюрьму привезли завтрак. Стали барабанить в ворота, но никто не открывал. Начался переполох. Наконец открыли ворота, а в камерах было пусто. Вдогонку бросили войска. Не полицию, а регулярные воинские части. Несколько поисковых групп шли по нашему следу. Шли по той же дороге, которой пробирались и мы. Они

остановились перекусить примерно в двух километрах от того места, где мы притаились в джунглях. Но логика подсказала солдатам: бежали важные люди, бежал весь Центральный Комитет Нео Лао Хак Сат. Значит, их встречал батальон, никак не меньше. «Нас пятьдесят человек, — думали они. — Если вступим в стычку, преследуя беглецов, все погибнем. Так пусть живут те, и мы тоже останемся живы». В деревне солдаты погони попросили себе водки. Наши люди приготовили им вкусный обед, упоили их как следует. Поисковая группа вернулась обратно, доложив, что следов беглецов обнаружить не удалось. Правда, мы придумали хитрость. В направлении, прямо противоположном тому, по которому мы убегали, в одной деревне к уездному начальнику пришли «крестьяне» и сказали, что они видели в ста метрах от селения двадцать человек, которые перебегали из одного леска в другой.

Туда были брошены все преследовавшие нас войска. Эта дезинформация, я считаю, спасла нам жизнь.

...Мы двинулись дальше. И вот тогда чуть не случилось несчастье. Кто-то донес уездному начальству о том, что прошли люди, которых ищут. Но донесли об этом уездному начальнику, который являлся нашим агентом. Он поблагодарил доносчика, уплатил ему вознаграждение, а сам несколько раз пропустил телегу по тому месту, где мы прошли. Следы исчезли. Таким образом, мы получили еще резерв безопасного времени и на следующий день были у своих.

Мы пробирались, словно Тарзаны, и ту тропу, по которой шли, окрестили «обезьяньей тропой». Потом наша группа разделилась. Часть членов ЦК во главе с принцем продолжала путь в Самнёа. Вместе с остальными я вернулся во Вьентьян...»

Пришел в пещеру и написал для «Правды» корреспонденцию о встрече с принцем Суфанувонгом.

...Поэт Сисан Сисана договорился с председателем ЦК Нео Лао Хак Сат принцем Суфанувонгом о встрече. На машине подъехать к тому месту, где сейчас в пещерах живет принц, невозможно, — по данным товарищей из Информационного агентства, американские самолеты делают до четырехсот самолето-вылетов на освобожденные районы Лаоса ежедневно, и лощина, что ведет сквозь джунгли к пещере Суфанувонга,

вся перепахана бомбами. Добрались за два часа пешком в полной темноте. Маленькая площадка перед отвесной скалой, куда ведет узкая бамбуковая лесенка, чернеет свежими воронками: здесь живет принц.

Это человек поразительной судьбы. Воспитанный в королевском дворце, он после побега из тюрьмы, куда был брошен правой группировкой, вот уже одиннадцать лет живет в пещерах, делит вместе со всеми тяготы войны, развязанной агрессорами США. Суфанувонг – видный лаосский инженер. Его мосты знают во всей Юго-Восточной Азии. В странах Индокитайского полуострова принца по праву считают самым выдающимся интеллигентом-просветителем. Он, получивший блистательное образование в Париже, говорит на тринадцати языках, в том числе на старофранцузском, английском, русском, японском. Этот человек стал первым министром обороны в первом правительстве независимого Лаоса в 1945 году. Профессию инженера он сменил тогда на мундир солдата, для того чтобы скорее пришел мир, который ассоциируется с дорогим для каждого строителя словом – созидание. Но вот уже двадцать четвертый год на земле Лаоса полыхает война. Солдаты, которым двадцать, врачи, которым двадцать пять, не знали ни одного дня мира. Война для них стала бытом, – политики Вашингтона, уповая на близкую победу, то и дело сбрасывают со счетов именно этот моральный фактор.

Принц коренаст, очень крепок, у него сильная рука и пронзительно-улыбчивые глаза. Улыбка его ослепительна и к «протоколу» никакого отношения не имеет. Но когда принц отвечает на вопрос, лицо его замирает, делается скульптурно четким – таким же, как и литые тезисы его ответов.

– Нынешний момент? – переспрашивает он. — Объяснение нынешнего момента в Лаосе следует искать в политике американского империализма. Его цель – превратить весь Лаос в неоколониальную военную базу. Способ – война. Однако за последние тринадцать лет агрессии США терпят неудачи, в то время как народ Лаоса под руководством Нео Лао Хак Сат добивается одной победы за другой. Наши успехи особенно значительны в последние два-три года, когда мы стали рассматривать свою деятельность с точки зрения не

только военно-политической. Мы поставили задачу – превратить районы, контролируемые Нео Лао Хак Сат, в базу будущего независимого, мирного, нейтрального и процветающего Лаоса. Следовательно, проблемы экономики, культуры, науки нас теперь должны волновать столь же серьезно, как и вопросы военно-политические.

Я спрашиваю принца о перспективах, о том, как он себе мыслит возможное развитие дальнейших событий.

– В этом году наши противники провели ряд претенциозных миролюбивых маневров, с одной стороны, и при этом наращивали воздушное варварство – с другой. Мы – миролюбивый народ. Нам навязывают войну. Мы будем сражаться за свою свободу. Сейчас раздаются голоса о необходимости продления «забора Макнамары» из Южного Вьетнама в Лаос. Мы знаем об этом и готовы к тому, чтобы отразить империалистическую агрессию. Я думаю, наша последняя победа под Намбаком заставит призадуматься правых.

– Возможны ли сейчас переговоры с Вьентьяном?

– Я говорил Вьентьяну: лао может говорить только с лао. Только лаосцы должны решать будущее своей страны.

– Следовательно, ваше высочество, переговоры с Вьентьяном возможны при условии прекращения вмешательства США?

– Да. Именно так. Они обязаны прекратить вмешательство, и, главное, они должны прекратить свою «особую войну» против нас.

В пещере стало темно. Принесли фонарь, чайник, маленькие чашки. Принц разлил пахучий зеленый чай, подвинул мне чашку, сказал по-русски:

– Пожалуйста, товарищ...

– Где вы учили русский язык, ваше высочество?

– По радио. Я слушал московское радио. Ваши дикторы – мои профессора.

– Скажите, пожалуйста, какие произведения – ученых, литераторов, философов, политиков, музыкантов – помогли в процессе вашего формирования как патриота?

– Колониализм, все то, что он несет с собой и моему народу, да и всему Индокитаю, я видел воочию. Ненависть к колониализму – естественное чувство у всякого, кто сталкива-

ется с ним. Несколько лет назад в Лаосе не было литературы. Страна оставалась неграмотной, не имела своей письменности. У нас нет железных дорог. Даже в колониях есть железные дороги... У нас был всегда крайне сложен национальный вопрос – несколько десятков народностей, сотни племен, живших родовым строем. И это все сохранялось и консервировалось колониализмом в середине двадцатого века, уже после того, как была создана теория относительности и запущены первые искусственные спутники Земли. Следовательно, национальный патриотизм, ненависть к колониализму – вот что привело меня к революции. Мы проделали большой путь, и иностранцам порой довольно трудно понять нас. Ни одна страна в мире не переходила от коалиционного мира к беспощадной войне так резко и столь часто, как мы. Многое надо обобщить, над многим надо поразмыслить. Но трудно заниматься теорией, когда сражаешься с оружием в руках против беспрецедентной агрессии.

Принц обернулся к своему письменному столу, стоявшему в глубине пещеры. Чернильница, два пера, стопа бумаги, бюст Ильича.

– Видите, – он улыбается, – бюст Ленина всегда на моем столе.

Потом принц говорит о французской литературе, великолепно трактует Рабле и посвященные ему работы Анатоля Франса. Сейчас принц говорит как филолог, он цитирует Рабле в подлиннике, он сравнивает итальянский, испанский, французский языки и латынь. Обороты его речи парадоксальны и изящны. Я понимаю, сидя с принцем, почему даже враги относятся к нему с почтительным уважением: воистину один из самых просвещенных интеллигентов Юго-Восточной Азии, руководитель народа, сражающегося за свободу и мир...

– Что вы хотите передать читателям газеты «Правда»? – спрашиваю я и прошу разрешения обращаться к нему так, как это принято у нас в стране.

– То есть?

– Я хочу называть вас «товарищ принц».

– Пожалуйста, товарищ! – улыбаясь, отвечает принц Суфанувонг. – Конечно, обращайтесь. Это хорошее обращение.

Принц передает читателям газеты «Правда» свой привет.

– Пользуясь случаем, – заканчивает он, – я прошу передать самые наилучшие, дружеские пожелания великому советскому народу.

На обратном пути, когда мы пробирались по горной тропе в свою пещеру, снова прилетели американские самолеты. Продолжалась агрессия. Продолжалась борьба народа против агрессии.

Имя художественного руководителя и главного режиссера Лаосского ансамбля песни и танца товарища Сисанона известно во многих столицах мира. Он приезжал со своим партизанским ансамблем и в Москву. Здесь его великолепно принимали, потому что искусство лаосцев своеобычно и восхитительно.

С Сисаноном я просидел три часа, завороженно слушая его рассказ. Я глубоко уважаю людей, которые отдали свою жизнь, и ежечасно отдают ее, и будут до конца своего отдавать, сохранению искусства народа. Когда Сисанон рассказывает о песнях и танцах Лаоса, он весь преображается. Он внешне не похож на артиста. Он похож на воина, на партизана. Зеленая партизанская фуражка с лаковым козырьком, форменная одежда цвета хаки. Он не привлекает вас внешней эмоциональностью изложения, он заражает внутренним пониманием предмета. Он не заботится о каком-то особом строении фразы, а говорит просто и четко. Когда он рассказывает об искусстве Лао, глаза его делаются добрыми и нежными, как у смеющегося младенца.

(Слушая его, я вспоминаю: мальчишкой, в 1945 году, вернувшись из Германии, я предпочитал всей остальной музыке веселые джазы. Я и сейчас люблю искусство Гершвина, Рэя Конифа, Армстронга. Но у меня тогда, как и у некоторых современных молодых людей, было до странного равнодушное отношение к народной песне. Для нас, детей города, песня порой становилась радиобытом, а не откровением. Ребенок, воспитанный в деревне, на просторе, просыпался с пересвистом птиц, а засыпал с протяжной песней, которую ведут крестьяне, возвращаясь с поля, он без этой песни не может жить. Это его плоть и кровь.

И вот в деревне Титьково, на родине Михаила Ивановича Калинина, я вместе с другом моего отца стоял на озерной вечерней тяге. И вдруг мы услышали протяжную песню: «Летят утки и два гуся». Вели песню одни только женские голоса. Они были очень далекими, эти протяжно-заунывные, прекрасные голоса. Занималась изумительная серо-розовая заря.. За озером, поросшим камышом, виднелись разбитые купола церквушек. Иногда ветер уносил женские голоса. И тогда наступала тишина и слышен был только стремительный просвист пролетавших уток. А когда женские голоса приблизились и стали явственными, я вдруг, впервые в жизни слушая песню, заплакал.)

Сисанон рассказывал:

– У нас в Лао каждая провинция имеет свои песни. Я люблю странствующих людей. Это призвание – быть странником. Они несут с собой песню с юга на север, а с севера на запад... Самые распространенные на нашем юге песни «лам сип ай дон». Лам – песня, сип – четыре, ан – тысяча, дон – остров. На юге течет Меконг, там огромное количество маленьких островов. Поэтому весь юг Лаоса поет «песни четырех тысяч островов».

У нас есть много песен: и «кхап нгын» (песня реки Нгын), и «кхап сараван» (песни провинции Сараван). Или «лам кон саван» (песня Саваннакета).

Если вы, допустим, пришли на базар во Вьентьяне, или Пак Се, или в Самнёа, или в Саваннакете и слышите, какую кто поет песню, то сразу определите, откуда этот человек и кто он.

Я вспомнил, как во Вьетнаме мне говорили, что по тому, как разговаривают люди друг с другом, можно определить степень их родства, дружбы или знакомства. А здесь человека «читают» по песне. Песни Лао похожи на итальянские, их музыка близка к европейской. И поют их в своеобразной, близкой к джазовой манере. Занести сюда этого не могли, это было здесь тысячелетиями.

Особенно блистательна песня «лам той». Это дуэт-частушка, песенное соревнование мужчины и женщины – кто победит красотой слов, изяществом мотива. Песня эта идет из поколения в поколение, каждый певец привносит в нее

свое. И не обязательно песню помнить такой, как ее пели родители. Каждый певец Лаоса одновременно и поэт.

Я спросил Сисанона:

– Вы записываете на ноты эти народные песни?

– Практически это невозможно. Слова-то можно было бы записать – есть много вариантов. Но каждый певец творит мелодию. Поэтому если мы запишем песню, мы ее канонизируем и помешаем развитию народного творчества. Мы боимся связать наших певцов по рукам и ногам канонами. Чтобы сохранить народное искусство, ЦК Нео Лао Хак Сат создал ансамбль «Силапа кон» (в переводе на русский язык «Искусство артиста»). Танцы Лаоса несут в себе значительные элементы ритуальности. Ритуальный танец «лао фен», например, очень медлителен. Сейчас раздаются голоса против медлительности лаосских танцев, считают, что необходимо революционизировать танец, внести в него более стремительное новое содержание. Я – против.

...Зашел певец ансамбля Буа Бай. Буа – значит лотос, бай – трогать. В переводе на русский язык его имя означает «Трогающий лотос». У «Трогающего лотос» великолепный голос. Он спел несколько песен. Вот, например, песня провинции Сараван: «Когда дождь идет и нет грома, мне грустно и пусто в этом мире. Но я думаю о своей невесте, и мне уже не очень грустно, хотя и нет грома в этом высоком небе».

А потом он исполнил песню «Лам синандон». Это уже песня другой провинции: «Взгляни на небо, оно темно, мы на берегу Меконга, а он широк; вглядись в другой берег – что ты видишь там? Ты видишь там небо и облака, небо и облака. Дует ветер, он несет лишь одни облака».

А потом вместе с певицей Тян Самай (тян – луна, самай – новая) Буа Бай пел песню «Кхаптум». Начал песню Буа:

– Как прекрасны ваши глаза, ах, как прекрасны ваши глаза! Бог создал их такими прекрасными... И никто не может не любить вас, лишь только раз взглянув на вас!

Девушка ему отвечает:

– Ах, как красивы вы, мой друг, как красивы вы, мой друг! У вас такое красивое круглое лицо. Хотите взять меня к себе в дом? Если нам повезет, я стану жить подле вас, в вашем доме.

Они поют, набегая мелодией друг на друга, уважительно

дожидаясь окончания словесной фразы, и в песне этой чувствуется томительная любовная игра.

Певица Вилай Ван (вилай – процветание, ван – красота) – исполнительница не традиционных, а новых песен. Она спела «Чампу». Это замечательная мелодия, которую сейчас все поют в Лаосе.

Церемония исполнения песен в Лаосе имеет свою строгую, закономерную последовательность. Если люди собрались на праздник, то сначала нужно петь «Ламвой». Это протяжная, неторопливая мелодия. Соперники и в то же время неразделимые союзники в песне – мужчина и женщина – присматриваются друг к другу. Еще нет прямого приглашения к любви, еще идут осторожные, даже еще и не любовные, а традиционные сравнения девушки с цветком, юноши с оленем. Потом, когда они осторожно «прощупали» друг друга, ритм меняется и протяжная мелодия переходит в джазовую. Мелодия развивается на ходу, и слова придумываются на ходу. Только после «Ламвой» можно спеть «Лам лонг», а в заключение исполняется «Лам вонг». Мужчина и женщина славят любовь, которая – что бы ни было в мире – не может не состояться.

Потом Буа Бай спел мне еще одну великолепную песню. В этой старинной песне, которую он знает от деда, много таких слов, которые сам Буа Бай не мог толком объяснить. Каждому слову он давал пять-шесть толкований. Песня называется «Пошел за медом»:

– Пошел за медом. На скале прилепился улей. Ах, как трудно к нему подобраться! А я иду, иду к улью, забираюсь, боюсь пчел. А деревья крест-накрест. А ветер дует. Ветви деревьев качаются. Я хотел взять мед пчел. А получил я только желание. Вместо дела вышло слово. Всем говорил: «Иду за пчелами, иду за пчелами, иду за медом». Ну ладно же, пчелы, ну ладно же, скалы, ну ладно же, дерево, коварное и хитрое, которое не позволяет мне подобраться к улью! Я срублю тебя. Ну-ка, давай с тобой подеремся, кто кого! Я тебя срублю, и ты упадешь, и тогда я проберусь к пчелам и возьму мед. И это будет уже не слово, это будет дело, это – вкусный, сладкий мед.

...Самую известную певицу зовут Тян Сук. Она часто выступает по радио. Ее знают и во Вьетнаме, и в Лаосе, и в Таи-

ланде. Красота смуглой Тян Сук изумительно гармонирует с ее удивительной застенчивостью. Она спела песню «Лам лонг»:

– Свинья кричит, свинья кричит, прощается. Ей нужно прощаться, хотя наступил «год свиньи». Новый год богатой свиньи. Собирается народ, собирается народ, праздновать Новый год, чтобы встретить удачу. Все счастливы, сверкают глаза. Мужчины красиво одеты. Ах, как это прекрасно, когда мужчины красиво одеты! Но позвольте мне полить вас водой. Я оболью вас водой, красивые мужчины. Это будет очень хорошо для вас, потому что жарко. Ведь Новый год всегда празднуется в жару. (Я расскажу позже о том, как празднуется Новый год в Лаосе. Люди обливают друг друга водой, и достается всем – и простолюдину, и принцу.)

Утро было туманным. Когда я выглянул из пещеры, показалось, что все вокруг опущено в огромный резервуар с проявителем: с каждой минутой все четче и яснее проступали контуры окружающих гор; вдруг двуедино обозначались странной формы деревья: реальное дерево и его тень в тумане подсвечены невидимым земле солнцем. Все окрест было очень зыбко, минорно и тихо. Американцы не летали, потому что туман был высок и плотен.

Валя Свиридов, умываясь, хмыкнул:

– Хитрость – это слабость. Умному хитрость не нужна. Умный – он уже умный.

– Ты это к чему? – спросил я.

– Хочу пробиться в Ларошфуко, – ответил он, – в переводчиках жить скучно.

...Пользуясь туманом, пробрались на машине на маленькую ткацкую фабрику, расположенную в скалах. Рядом, тоже в пещерах, – автомастерская: здесь ремонтируют и легковые машины, и бронетранспортеры. Делают это лаосцы, которые раньше с недоуменным презрением смотрели как на отвертку, так и на болт. В этих скалах, вдали от электростанций, вдали от дорог, кинотеатров и музеев, рождается рабочий класс нового Лаоса. Во Вьентьяне ни фабрик, ни подобных автомастерских, как говорит Сисана, нет.

Весь день мы бродили вместе с Сисаной, смотрели, как ткут ткань и ремонтируют машины, а после в одной из пещер

я снова атаковал его вопросами о культуре Лаоса. Культуру – танец, песню, сказку, прозу, поэзию – нужно пропускать через сердце, и здесь мы с ним чувствуем себя полными единомышленниками: он видит, с каким интересом я его слушаю, и от этого еще больше загорается, подробно, с деталями, рассказывая мне то, о чем не написано пока еще ни в одной книге.

– Очень колоритны праздники Лаоса, – рассказывал Сисана. – Например, «Кхао Пхан Са». Это праздник «Вход возраста». Отмечается он в каждом селении, когда бонза уходит на три месяца в пагоду. Празднуется также его выход из пагоды. А вскоре после этого начинается праздник, который длится неделю, если не больше, – «Кхао Падаодин», то есть «Украшение земли». Праздник «Украшение земли» предшествует уборке урожая. В каждом доме готовят специально «кхао мао» и «кхао ханг» (недозрелый рис, смешанный с соком кокосов). Этим очень красивым и вкусным кушаньем «угощают» землю, разбрасывая на полях, чтобы сытая земля была добра к людям. В это же время на Меконге устраиваются гонки на пирогах. Церемония гонок очень интересна. По течению идут четыре длиннющих пироги, в каждой по двадцать-тридцать человек. Победителем считается не та, которая обошла три другие пироги на корпус или полкорпуса, а та, которая вырвалась вперед и отрезала путь всем остальным, остановившись поперек реки.

Есть гонки «против течения». Смысл их заключается в том, чтобы как можно больше дурачиться во время соревнований. Люди на лодке пляшут, кривляются, шутят со зрителями. Но при этом важно не опрокинуться. Быть все время на грани того, чтобы перевернуться, упасть, вызывать у зрителей хохот, но тем не менее прийти следует первым. При этом, подгоняя лодку, гребцы громко поют: «Лодка наша маленькая, лодка наша душечка, поскорее спустись по течению». Загребной исполняет работу поэта: он сочиняет стихи, подсказывая слова другим гребцам. Лаосский язык, как и вьетнамский, позволяет любую фразу сделать стихом. Все зависит от ритмики и интонации.

«Праздник воды» – это когда на Новый год друг друга обливают водой. Празднуется это две недели как минимум. Начинается гулянье с того, что в пагодах и домах происходит

омовение Будды. В первой половине дня собираются люди в пагодах и все вместе обливают водой большого, самого главного Будду. После этого начинают омывать главного бонзу. А уже затем следует всеобщее обливание водой. Во второй половине дня молодежь идет в лес за цветами. Лаосцы очень любят цветы. (Даже сейчас в пещерах на столах всегда цветы.)

Юноши и девушки возвращаются с цветами в пагоды и украшают цветами Будду. По закону водой обливаться можно только днем. Тогда градусов тридцать, и это не страшно. А вечером двадцать градусов тепла (это очень холодно), люди могут замерзнуть и простудиться. Так отмечают конец «сухого сезона».

В последнюю ночь праздника юноши и девушки сооружают маленькие пагоды из мокрого песка. Это тоже своего рода соревнование. Здесь, в Лаосе, все – и песня, и танец, и цветы-формы соревнования, томительного любовного соревнования. Тот, кто построил самую изящную песочную пагоду, делается избранником самой красивой девушки.

Интересен и «Праздник ракет». Он связан с легендой о короле, который по требованию Брамы отдал ему двух своих детей. Поэтому воздается хвала доброму человеку, могущему отдать самое дорогое богу. Во время праздника много говорится о Будде, в проповедях рассказывается о жертвенности. (Но это для старшего поколения. Юношей и девушек не загонишь слушать проповеди о жертвенности, о Будде, о том, как старики должны жертвовать детьми. В это время дети позволяют себе – не без водки – повеселиться возле пагоды. Вообще, в отличие от непьющих вьетнамцев, лаосцы не прочь пропустить стаканчик. Но ни одного дерущегося лаосца – как бы пьян он ни был – вы никогда не увидите. Это самая миролюбивая и самая добрая в отношениях друг к другу нация.)

Как делаются ракеты? Берется бамбук, изнутри чистится ствол, украшается ленточками, фольгой, и начинается соревнование, чья ракета полетит дальше и выше. Есть целая система петард, системы пороховых зарядов в бамбуковых ракетах. Десяти-пятнадцатиметровые ракеты перелетают через Меконг, который разливается от полукилометра до километра. Зрелище это фантастическое. (Когда мне показали маленькую ракету, украшенную фольгой, я решил, что в Лаосе и

деревья украшают серебряной длинненькой фольгой, которая трепещет на ветру. Но мне объяснили: оказывается, американцы именно здесь начинают сбрасывать с «Ф-105» фольгу для помехи локаторам, установленным в Демократической Республике Вьетнам. Когда смотришь при закате или в солнечном рассвете, деревья мерцают, переливаются острыми серебряными бликами фольги, и думаешь, что это игра в красоту, а это не игра в красоту, а работа смерти.)

Есть праздник, посвященный жабам: и в Лаосе, и во Вьетнаме, как и у нас, впрочем, считается, что когда жаба вылезает на дорогу из воды, это к дождю. Поэтому в селениях Лаоса делают из коры деревьев символическую книгу и отправляются по дорогам рассказывать специально сочиненную для жаб интересную сказку, рассчитывая, что те вылезут из болот послушать ее (как же можно отказать себе в таком удовольствии!). А уж если жабы вылезут на дорогу послушать посвященную им сказку, то обязательно будет дождь. Если же дождя тем не менее нет, тогда устраивается особый праздник. Люди специально «сердят» бога: молодежь ходит по улицам, изображая пьяных. Юноши падают, ругаются, кричат, вздымая кулаки к небу. Ребята наряжаются в гулящих женщин, изображают любовные сцены, ходят с неприличными, очень эротическими рисунками по улицам в надежде, что бог разгневается и обрушит с неба много воды, чтобы разогнать «хулиганов» по домам.

(Когда я ехал в Лаос, меня предупредили, что ни в коем случае нельзя гладить детей по голове: погладив ребенка по голове, вы таким образом спугнете его Будду, который всегда сидит на голове.)

Все в Лаосе знают церемонию «Ба Си». Когда вы входите в селение, руку вам обвязывают ниточками. В чем дело? Сисана объяснил мне этот обычай. Допустим, ребенок упал и сильно ушибся. В Лаосе считается, что при сильном ударе «душа» может «выскочить» из человека. Так вот, чтобы «душе» не дать совсем улететь из человека, руку обвязывают ниточкой, «привязывая» таким образом «душу» к телу. Если человек долго болеет, ему тоже обвязывают ниточкой руку, чтобы «душа» была с ним все время и активно сражалась с болезнью. Заболел ваш друг. Ему давали снадобья, пичкали лекарства-

ми, но сколько его ни лечили, ничто не помогало, ему становилось все хуже и хуже. Тогда вы, как друг, обвязываете руку больного своей ниточкой. Это значит – вы ему отдали свою «душу», чтобы она помогала бороться с болезнью (своего рода духовное донорство).

– А почему мне, пришельцу, тоже повязывают ниточку? – спросил я Сисан Сисану.

Он ответил:

– Если вы открыто, с улыбкой, пришли в поселок Лао, значит, вы друг. Враг не придет так, как вы. И вам повязывают ниточку, чтобы вы навсегда остались здесь. И еще – чтобы «душа» старейшин этого селения всегда была с вами, в вашей трудной дороге.

Большинство праздников лао лумов порождено буддизмом.

– Но есть праздники, – рассказывал Сисана, – которые рождены вне буддизма. Они строятся на догме «предотвращения зла». Вообще-то буддизм не обещает наказания за грех. Это вопрос совести. А суеверие обещает наказание. Суеверия распространены больше всего среди национальных меньшинств. Так, у некоторых национальных меньшинств до сих пор сохраняется много табу. Например, нельзя трогать какое-то определенное дерево в джунглях, нельзя ходить к какому-то месту – к водопаду, к болоту, – покарает бог, будет беда.

...Есть очень занятные суеверия. В Лаосе роль черной кошки «исполняет» олень (оленя в джунглях чаще увидишь, чем черную кошку). Если тебе дорогу перебежал олень, знай, что тебе не будет пути. Лучше вернись. Если же олень вошел в деревню, то это точный знак того, что деревня сгорит. А вот если ты увидел змею, то, говорят, это к счастью.

Я спросил Сисану:

– Значит, если олень зашел в деревню, спасения нет?

– Это ужасно, просто ужасно. Хотя и в этом случае есть ряд выходов, – ответил Сисана. В глазах у него были смешинки. – Если убить оленя в деревне, то стопроцентной гарантии, конечно, нет, но появляется много шансов, что она не сгорит. Если же вы оленя в деревне не убили, необходимо немедленно принять меры предосторожности. Нужно устроить торжественную церемонию во имя «доброго духа селения».

У наших национальных меньшинств, помимо пагоды, в каждом селении есть свой добрый дух. Жители выбирают старейшего и поручают ему сделать духу специальное приношение. Принести в дар можно курицу или свинью. Это приношение называется «кэ кхо». «Кэ» – судьба, рок. «Кхо» – нейтрализация. «Кэ кхо» означает нейтрализовать судьбу. Приношением курицы или свиньи можно в определенной мере нейтрализовать судьбу, задобрив духа селения.

У буддистов тоже есть некое подобие «кэ кхо». Например, человека в каком-то определенном году – году «свиньи», «козла» или «обезьяны» – преследуют неудачи. Естественно, все эти несчастья зависят от духа того или иного года. Значит, нужно из зеленой коры бананового дерева вырезать фигурку символа того года, который несет с собой несчастья. Потом кладут фигурку козла или обезьяны на поднос, а рядом с ней кусок одежды невезучего человека. Просят бродячего кудесника произнести магическое заклинание. После этого тряпочку нужно спрятать в карман, а поднос с фигуркой осторожно положить на воду и пустить по течению, чтобы «ты» (тряпочка) остался с самим собой, ибо «ты» – это твое счастье (а ведь человек рожден быть счастливым, не так ли?), а несчастливый год, как нечто пришедшее извне, непонятное и неодолимое, должен уплыть по Меконгу и исчезнуть в океане.

У некоторых народностей Лаоса сохранились серьезные суеверия, нарушать которые дело опасное. Например, в каждом доме две лестницы. Одна, парадная, ведет в гостевые комнаты, вторая – на кухню, к очагу. Так вот, сырое мясо, даже если ты его принес в подарок хозяину дома, нельзя вносить через парадный вход, его можно внести только через черный вход, к очагу. Почему? Потому, что сырое мясо – это невкусно, неэстетично, некрасиво, и дух дома, который, естественно, живет здесь и «входит» в дом через главный вход, разгневается; наверняка после этого будут несчастья с членами семьи. На гостя дух не имеет права рассердиться. Но его гнев зато наверняка обрушится на тех хозяев, которые позволили гостю внести сырое мясо через главный вход.

Добрый дух должен всегда присутствовать во время угощения. Да и угостить его не грех, поставив тарелку с мясом в красный угол.

Есть маленькая деревенька – она сейчас разбомблена. Там до сегодняшнего дня было тридцать два табу. Например, табу для гостя – лечь спать поперек дома. Нужно спать всегда вдоль дома, головой к тому месту, где живет дух, а дух в каждом лаосском доме живет там же, где у православных висят иконы, – в красном углу. Если же гость лег спать поперек, это ужасно, тем более если он трезв. Нужно срочно делать жертвоприношение: забить курицу и положить ее на то место, где гость спал, – задобрить духа. А еще лучше забить свинью.

Между прочим, в лаосских и вьетнамских деревнях очень много свиней – черных, похожих на диких кабанов. И живность эту разводят, особенно в глухих деревнях, отнюдь не для того, чтобы забивать ее для себя, а чтобы задобрить доброго духа. В основном жители едят оленину, рыбу, а свинину, курицу – этим либо угощают особо почетных гостей, либо задабривают духа. Куриные яйца взрослые не едят, это дорогой деликатес, их дают только маленьким детям. Самое большое выражение любви к гостю – поднести яйца в плетеной сумке. Это значит, что гостя любят, как своего ребенка. Чем больше яиц будет в плетеной сумке, тем больше тебя любят. Чем больше тебя уважают, тем больше тебе положат в тарелку курятины или свинины. А если гостя угощают оленем или рыбой, значит, к нему равнодушны, потому что хозяева это едят сами.

Еще о суевериях, не известных никому из европейцев. В Нижнем Лаосе человека, например, нельзя трогать за руку. Почему? Мы с Сисаной так и не докопались. Во всяком случае, тот, кого тронули за руку, должен сразу принести жертвоприношение. В других местах, например, категорически запрещено мыть посуду, ее можно только выскабливать. Или – ни в коем случае нельзя подметать двор. Это – табу. Месяц в году запрещено вообще что-либо делать. Особенно это относится к женщинам.

Отношения мужчины и женщины в Лаосе сугубо сложны. В каждом районе, например, ухаживания, предсвадебная пора проходят по-разному. В определенных районах влюбленным разрешено встречаться не в домах, а только в лесу. Там они могут веселиться, как хотят (это выражение Сисаны), но не переходить «последней грани». Если же все-таки они «пали», то должны немедленно принести в жертву свинью.

Скрыть «грех» невозможно, девушка не пойдет на это. Я спросил Сисану о «тайном грехе». Он даже не понял меня. Отношение детей к родителям здесь исключает возможность скрыть что-либо от старших.

(У Сисаны был друг, кадровый партийный работник, он жил на юге Лаоса, в доме женщины, которую любил. Но он кадровик, подпольщик, должен быть мобильным, и ему ЦК посоветовал подождать с женитьбой. И он не перешел «черты запрета».)

Если возлюбленные нарушили закон и начали любить друг друга еще до свадьбы, свинья, принесенная в жертву, спасет их от позора. Но если девушка забеременела – это крах. Ее прогонят из деревни.

– А если она уйдет в другую?

– Нет, – ответил Сисана, – в другой деревне ее убьют, потому что она чужая. Если же ее, паче чаяния, приютят, тогда деревня, из которой ее выгнали, пойдет войной на ту деревню, где она нашла себе приют. Будет межплеменная война.

У лао тхыонгов есть иной обычай: там влюбленные имеют право жить друг с другом до свадьбы, но они обязаны об этом сказать всем жителям. Для них на берегах озер строят маленькие «домики любви». Там располагаются несколько парочек. Любовь обязательно чередуется с купанием в ночном озере.

В некоторых районах у лао лумов женщина с ребенком ценится больше, чем девушка. Молодые люди сражаются за такую женщину, потому что стремятся увеличить потомство.

Женитьба – в глухих местах и по сей день – это попросту покупка жены. Жена всегда уходит жить к мужу, и он платит за нее выкуп, потому что в доме отца теряют две рабочие руки. Бывает и так, что младший брат наследует жену старшего. До недавнего времени было распространено многоженство. Разрешалось иметь до десяти жен.

Разводов в принципе не существует. Если муж не может жить с женой, он ее прогоняет. Жена, естественно, мужа прогнать не может – она куплена.

– А если измена?

– Измена? – переспросил Сисана. – Что такое измена? Мужчина может жить с кем он хочет, это было у нас раньше в порядке вещей.

– А женщина?

Сисана улыбнулся.

– В Лаосе такого не бывает.

...Суеверия, конечно, прелестны, когда несут в себе заряд необычности и веселости. Но сохранились кое-где и по сей день страшные суеверия. Маленькое племя у лао суонгов – ко. Если у них в деревне рождается двойня, детей убивают. До сих пор там пугают маленьких девочек: «Если будешь лениться, то когда выйдешь замуж, родишь двойню».

Есть категория пословиц и поговорок – «Син Сай». Эти пословицы пришли из популярной сказки «Син Сай» – самой распространенной сказки Лаоса, которую рассказывают в стихах.

«У короля была любимая сестра, но эту сестру похитило чудовище и взяло себе в жены. Король ужасно расстроился. А у него было пятнадцать детей. Из них от первой жены три любимых его отпрыска: первый сын Человек – Син Сай, второй сын Лев – Син Хо, а третий Улитка – Сант Хонг.

Собрал король всех своих детей и сказал им: «Я очень расстроен. Кто из вас может придумать что-нибудь для спасения моей любимой сестры?» И все пятнадцать сыновей отправились искать свою тетю, прелестную сестру короля. Попали они в лес. Лес густой, дорог нет. Куда идти? Заблудились дети короля, аукаются, кричат друг другу в тоске. Син Сай их собрал, привел в деревню и сказал: «Сидите здесь и ждите нас». А сам вместе с Львом и Улиткой пошел дальше.

Пришли они во владения чудовища. И узнали, что оно уже справило свадьбу. Тогда решили они сражаться до победы и спасти сестру отца. Син Сай пробрался в дом чудовища. Чудище спало. Син Сай разбудил свою красавицу тетю. «Отец зовет тебя обратно», – сказал он. «Обратно так обратно», – согласилась сестра короля, но, как заметил Син Сай, без особого энтузиазма. «Собирайся быстро», – сказал Син Сай и вышел.

Сестра короля собралась, вышла к Син Саю, и они пошли к воротам замка. «Ах, забыла гребень», – сказала сестра короля. Син Сай долго ждал ее, но она не возвращалась. Тогда он пошел за ней. Сестра короля сидела у зеркала в раздумье. Син Сай взял ее за руку и вывел из замка.

Пришли они к Льву, который ждал их в засаде, а потом к ним присоединился третий сын – Улитка.

А чудище, которого звали Ня Кум Пхан, проснулся и увидел, что нет жены. Собрал он армию и бросился вдогонку. По тому, как тряслась земля, Син Сай понял, что за ними погоня.

«Бегите с сестрой отца в наш замок, – сказал Син Сай своим братьям Льву и Улитке, – а я буду здесь сражаться».

И разгромил чудище.

На обратном пути Син Сай забрал двенадцать братьев, которые ждали его в деревне, и вернулся к отцу. Король был счастлив. Но совсем счастливым он сделался, когда чудовище пришло к нему и коленопреклоненно – «по протоколу» – стало просить руки королевской сестры. Мораль: «Если хочешь чего-то добиться, поступай по правилам».

Сисана смеется:

– Неплохая, между прочим, мораль.

Сказка эта полна пословиц и поговорок. Отсюда система «Син Сай».

...Снова прилетели «АД-6», началась бомбежка, и – самое противное – появился вертолет. Залаяла маленькая зенитная пушечка патриотов, но вертолет стремительно летал между скалами и был недосягаем. Мы думали: «Не к десанту ли это? Парашютистов они кидать умеют».

Прибежала запыхавшаяся, бледная дочь покойного министра иностранных дел Фолсены – Кем Фет:

– Я думала, наступил мой последний час. Шла по тропинке, а они прилетели. А я в красных носках. Ведь красный цвет, говорят, сверху очень хорошо виден.

(Душенька – красный цвет, думает, хорошо виден! Среди буйного разноцветия тропических трав пойди заметь сверху ее красные носки.)

– Продолжим работу. Они, верно, прилетели на целый день, – сказал Сисан Сисана. – Итак, о сказках. У нас есть очень красивые сказки. Есть распространенная сказка «Акала кет», есть сказка о любви – «Кхун Кхынг», это наши Ромео и Джульетта. Кхун Кхынг любил Нанг Уа. Родители запретили им жениться, потому что Кхынг был беден. Уа выдали замуж за богача, но она сбежала от своего нелюбимого мужа с возлюбленным. Они могли бы и дальше жить вместе, но не

стали этого делать, а решили уйти из жизни, чтобы не обижать родителей. Лучшим выходом для них стала смерть. Они вместе кончили жизнь самоубийством.

Есть и озорные сказки. Наиболее известен цикл сказок «Сьенг Мьенг». Вот одна веселая история про Сьенг Мьенга.

«Гостил этот маленький бонза как-то во дворце короля. Однажды туда приплыл на лодке иностранный принц. Причалил он к берегу и сказал королю: «Я привез лысого борца. Я хочу, чтобы ты выставил своего лысого борца и чтобы они бились лбами до тех пор, пока один из них не победит».

Король испугался. Во-первых, у него в государстве не было лысых (в Юго-Восточной Азии, по-видимому, действительно нет лысых, – во всяком случае, я ни одного не видел). А во-вторых, думал король, если его лысый проиграет, сраму не оберешься, прощай королевский престиж.

Он пришел к себе во дворец и заплакал от тоски. Сьенг Мьенг успокоил его: «Не плачь. Я тебе помогу». Он пошел на базар, собрал подданных короля и сказал им: «Берите-ка тонкие бумажки и сплетите из них толстый канат». Они сплели из бумажек длинный канат. После этого Сьенг Мьенг собрал друзей и сказал: «Ходите по владениям короля и кричите, что сегодня наш король поведет купаться лысого богатыря, поэтому прячьтесь, люди, лысый может вырваться и вас всех поубивать».

Вечером Сьенг Мьенг побрился, опоясался громадным бумажным канатом, дал один конец каната в руки королю, и процессия двинулась к реке. Мьенга сдерживал не только один король, а еще пятьдесят стражников. Иностранный принц, конечно, наблюдал за всем происходящим.

Сьенг Мьенг вошел в реку, пятьдесят человек его еле сдерживали. Вдруг люди закричали: «Сейчас лысый сорвется, надо бежать!» Действительно, Сьенг Мьенг оборвал бумажный канат и ринулся на иностранного принца. Тот испугался и убежал».

Сисана, усмехнувшись, сказал, что это «антиправительственная» сказка. Я возразил:

– Почему? Мьенг боролся не против своего короля, а против иностранного принца.

Сисана ответил:

– Нет, вы неправы. Мьенг косвенно опозорил и своего короля, показав его глупость народу.

Еще одна история Сьенг Мьенга:

«Король потерял аппетит.

– У тебя есть лекарство против этого недуга? – спросил король Сьенг Мьенга.

– Есть, – ответил Сьенг Мьенг. – Только идти за ним далеко.

– Принеси, – приказал король.

– Нет, – ответил Сьенг Мьенг, – оно будет недействительным, если его принесу я. Важно, чтобы ты, великий король, сам его вырыл из земли и тут же съел.

Собрались, пошли.

Сьенг Мьенг взял с собой корзину крестьянского рису «нийеу» – это вкусный клейкий рис. Взял рыбный соус – самый простой рыбный соус «падек». И больше ничего. Солнце поднимается все выше и выше, печет нещадно. С короля пот льется.

– Скоро? – спрашивает он.

– Нет еще, – отвечает Сьенг Мьенг.

А день уж к вечеру клонится.

– Скоро? – взмолился монарх.

– Тут, рядом, – сказал Сьенг Мьенг. – Вот за теми горами, еще часа три. Только мне перекусить надо. Я с собой взял крестьянский рис и простой соус.

– Ну-ка, дай мне, – сказал король и немедленно съел весь крестьянский рис с простым крестьянским соусом.

– Вкусно? – спросил Сьенг Мьенг.

– Очень! Никогда такой вкусной пищи не ел.

– Ну вот, – сказал Сьенг Мьенг, – ты и съел мое лекарство. Теперь можно возвращаться домой...»

Вечером, когда все уснули и бомбежка кончилась, писал корреспонденцию для «Правды». Завтра отъезд. Надо подвести итоги, записать впечатления.

...Сейчас в Лаосе идет 2510 год буддистской эры. В апреле, в пятнадцатый день Полной Луны, люди станут приветствовать Новый год – 2511-й... Если попробовать стать писателем-фантастом и допустить на мгновение, что, попав в Лаос,

в районы, контролируемые Нео Лао Хак Сат, вы, таким образом, перенеслись в следующее тысячелетие, то каждому, кто знает сегодняшний день этой далекой горной страны, станет страшно. 2510 год отмечен горестным безлюдьем земли: ни одного человека вы не увидите на дорогах днем. Собственно, дорог как таковых нет – земля изрыта воронками от тонных бомб. Да и что такое лаосские дороги? В стране нет ни одного километра асфальта. Машины идут по узким долинам, стиснутым среди серо-голубых громадин скал. Поэтому бомбят все долины; это не преувеличение – американская авиация изменила тактику и вместо бомбежек конкретной машины, появившейся на дороге, или конкретной группы школьников, возвращавшихся из школы, теперь бомбит просто-напросто квадрат карты, перепахивает землю. А ее здесь очень мало – земли в горах. Эта земля кормит людей, а сейчас ей не позволяют кормить людей: рисовые поля, немыслимые без сложной лестничной системы ирригации, тоже изрыты бомбами. Самолеты ВВС США бросают тонные бомбы на скалы – туда, где, по агентурным данным диверсионных групп, заброшенных с американских самолетов, расположены госпитали, школы, общежития. Сейчас в этих районах Лаоса ни один человек не может жить в своем доме – все сожжено и разрушено, и людям приходится ютиться в холодных пещерах. Здесь изучают математику, здесь стирают белье, здесь рожают детей, здесь пишут книги и дают концерты. В пещере у Сисан Сисаны, выдающегося лаосского поэта, члена ЦК Нео Лао Хак Сат, стоит стол, на нем пишущая машинка и магнитофон: Сисана – руководитель Информационного агентства Нео Лао Хак Сат. Здесь же, в пещере, – нары. Это его квартира. На этих нарах живут пять сыновей Сисаны и трехлетняя дочка. А подле бледной, прозрачной его жены, которую зовут «Цветок лотоса», лежит маленький человек одного месяца от роду. Сисан Сисана назвал сына, родившегося в пещерах, – «Солнце».

Если во Вьетнаме американские бомбардировщики чувствуют себя теперь отнюдь не так вольготно, как в первые дни агрессии (недаром в Таиланде в барах на военных базах вошел в моду «смертельный коктейль» под названием «МИГ-21» – шампанское с водкой!), то здесь, в Лаосе, где нет того шквала заградительной противовоздушной обороны, который так пу-

гает американских летчиков во Вьетнаме, ВВС США упражняются в бессмысленной жестокости. Впрочем, я не берусь судить, бессмысленна ли их жестокость. Я прожил две недели в пещерах Лаоса и пришел к выводу, что действия американской авиации здесь нельзя расценить иначе, как продуманную подготовку лаосцев к рабству. Днем ревут реактивные смертоносцы, ночью надсадно, как бормашина у стоматолога, нудит в черном звездном небе «АД-6». Этот подолгу вертится на одном месте, прежде чем сбросить свой груз бомб, этот, в отличие от «Ф-105» и «тендерчифов», тщателен в выборе объекта бомбометания. Однажды ночью мы пробирались по узенькой лощине в скалы, где сейчас расположена школа. В кромешной тьме ночи плавали зеленые светлячки и надрывно трещали цикады. Если бы не комиссар охраны Сисук, вышагивавший впереди с автоматом на груди, то и светлячки эти, и цикады, и громадное, тихое, звездное небо — все это походило бы на Кавказ. И кажется: вот-вот повернешь за скалу — и замелькают впереди огоньки селения, и веселый горец скажет: «Гамарджоба, генацвале, ругу рахар», и поведет тебя на освещенную террасу дома, и нальет стакан синего вина, приглашая к неторопливой беседе. Мы действительно свернули за выступ скалы и увидели высоко в горах красный огонь костра, — видимо, жарили оленя, чтобы не разводить костер утром: дым в голубом небе заметен издалека, особенно сверху. Одновременно с этим багровым светом высоко в скале мы услыхали поначалу далекий, но все время приближающийся звук «АД-6». Комиссар охраны Сисук обернулся и крикнул по цепи:

— Фонари!

И мой товарищ Понг Сурин Фуми и Ви Лай выключили фонарики, а Сисук вдруг неожиданно громко закричал, сложив ладони рупором:

— Эй, в пещере, костер тушите!

Его там, видимо, не слышали: сидят себе люди у костра, смотрят завороженно, как выстреливают острые красные искры в ночную тьму, как жар ломает хворост и как обжаривается, запекаясь розоватой корочкой, оленья нога.

Самолет теперь ныл уже где-то совсем рядом. Сисук стащил с груди автомат и выпустил очередь метров на сорок выше костра, полыхавшего в пещере сине-багрово, дымно и

жарко. Я увидел, как вокруг костра заметались зыбкие, расплывчатые тени людей. Пламя на мгновение сделалось очень ярким, а после в том месте вырисовывался жутко-зеленый провал темноты, – так бывает, если долго тереть закрытые глаза, а после их резко открыть, – и в это же время в мир пришел новый звук, знакомый мне с августа сорок первого.

Сисук что-то крикнул, – видимо, велел ложиться, – мы, попадав, успели чуть отползти от тропы к скале, и в это время земля дернулась, словно от острой боли, громыхнуло сразу в нескольких местах, – сработало эхо, стало на мгновение мертвенно, сине-светло, будто высверкнули сотни магниевых фотовспышек. Я запоздало закрыл глаза и открыл рот: в горных лощинах, где кидают тяжелые бомбы, были случаи, когда от взрывной волны выскакивали глазные яблоки и рвались барабанные перепонки, – но Сисук уже поднялся, проворчал что-то вслед улетавшему самолету и сказал:

– Можно идти, он улетает...

Так что, как я убедился, у ночных «А-6» точность бомбометания исключительная: где есть огонь, там, значит, еще живут люди – это и бомби! Самыми первыми жертвами «АД-6» во время их ночных налетов стали буддистские храмы: люди приходили туда ночью, весь Лаос сейчас живет ночью, а «точные» американские летчики кидали свои тонные бомбы на огоньки света в храмах. Бонза Ки Кэо, глава ассоциации буддистов в провинции Самнёа, рассказал мне о том, как авиация США воюет с религией. В пагоде Бан Бан в Самнёа шла служба. В это время налетели «АД-6». Они сначала сбросили осветительные ракеты. Стало светло и холодно. Бонза Ин Тхонг и пять молодых монахов начали уводить верующих в убежище. Они в общем-то не очень верили, что будут бомбить: хотя американские летчики и христиане, но все равно они верующие люди – нельзя бомбить храм бога, даже если он имеет иной цвет кожи, нежели чем у Христа. Но когда стало особенно светло, самолеты сбросили тяжелые бомбы. Бонза Ин Тхонг и пять монахов были убиты, десять молившихся, не успевших спрятаться, тяжело ранены. В провинции Самнёа за последнее время разрушено 26 пагод, разбито 1660 будд – каждый из них принадлежит не только Лаосу, эти произведения народного искусства, имеющие двухтысячелетнюю историю, принадлежат мировой

культуре. Во время бомбежек только в провинции Самнёа было сожжено более 9 тысяч бесценных буддистских рукописных текстов: по истории восточной медицины, философские трактаты, ботанические наблюдения, собиравшиеся столетиями. В провинции Луанг-Прабанг разбиты 2 старинные пагоды, памятники мировой культуры, – это Ват Тат Нханг и Мыонг Гноу, в провинции Луанг Нам Тха разбито 8 пагод.

...Девочку зовут Тонг Лыонг. Ей тринадцать лет, она учится в третьем классе. Тонг Лыонг говорит чуть хрипловатым голосом:

– Мы кончили заниматься, и учительница нам сказала, чтобы мы поиграли возле пещеры. Стали играть в то, как чистят рис. Играли, а в это время они прилетели. Мы успели забежать в пещеру, а девочка На Ли И очень испугалась и не успела, она упала на землю, когда засвистела бомба, и заплакала. Бомбы взорвались, и На Ли И очень закричала, потому что ее ранило в ногу осколком. Я побежала к ней и стала ее поднимать, а она не может. Но она маленькая, и я ее взвалила на спину...

– Они больше не бомбили? – спрашиваю я.

Девочка с ужасом бросает взгляд своих громадных глаз на низкий потолок пещеры и отвечает:

– Бомбили. Они после сбросили фосфорные бомбы около входа в пещеры...

Дым от фосфорных бомб медленно вползает в пещеру. Это тяжелый, удушающий дым, и страшен он в первую голову детям: они слепнут и теряют сознание. Погибало по десять человек в классах, в пещере. Учительница не может найти детей – тяжелый белый газ, как вата, стелется по полу.

– Мы сначала выбежали, а после я услыхала, как там кричит Буи. Он ослеп, он очень маленького роста и сразу ослеп и упал. Я его вытащила из пещеры, а здесь они снова начали кидать фугасы....

– Какой был самолет?

– Их было два. «Эй Ди».

Маленькая девочка волновалась, терзала свои руки, хрустели суставы пальцев (это не только нервное, – из-за того, что американцы загнали людей в мокрые пещеры, детишки стали болеть острым ревматизмом).

...Да, они хотят подготовить людей к рабству, иного вывода я не мог для себя сделать. Но есть хорошая пословица:

«Кто посеет ветер, пожнет бурю». Она имеет прямое отношение к варварской практике американского империализма в небе и на земле нейтрального Лаоса.

Они уже пожинают бурю. В середине января войска Патет Лао нанесли сокрушительный удар по Намбаку (неподалеку от Луан-Прабанга), по плацдарму для нападения на районы, контролируемые Нео Лао Хак Сат. Войска, вооруженные, обученные, экипированные американцами, – их более шести тысяч во Вьентьяне, этих непрошеных военных советников из Пентагона, – откатились под натиском вооруженных сил Патет Лао, теряя американскую артиллерию, американские автомашины, американские автоматы.

Они уже пожинают бурю: в пещерах учится столько народу, сколько никогда раньше не училось. Грамотный человек, приобщенный к мировой культуре, никогда не пойдет на то, чтобы быть рабом. Сюда, в пещеры, возвращаются студенты, обучавшиеся в дружественных странах, – люди, которые будут сражаться против рабства.

Они уже пожинают бурю: Америка – страна, давшая миру Линкольна и Вашингтона, – стиснута кольцом негодования. Нужно ли это Америке? Может быть, ей стоит прислушаться к голосам тех миллионов честных американцев, которые требуют прекратить грязную войну, которые хотят миру только одного – мира? Может быть, пора?

Сегодня ночью возвращаемся во Вьетнам. Хлопочет наш дорогой Пинг Понг. Ему помогает Кем Фет. Сисан Сисана сидит вместе с нами, тоже задумчивый, грустный. Достает из нагрудного кармана металлическую пачку сигарет «Золотое руно». Долго разворачивает тряпку, в которую была аккуратно завернута металлическая коробочка, и говорит:

– Это мне подарили на XXIII съезде вашей партии. У вас еще такие сигареты, говорят, не курят.

У нас такие сигареты курят, но я, чтобы сделать приятное моему лаосскому другу, говорю:

– Да, эти сигареты у нас крайне редки, и курят их только самые хорошие люди и самые близкие друзья.

Он протянул по сигарете Свиридову и мне. Мы жадно затянулись. Я заметил, что у Сисана осталось шесть сигарет.

Как же долго он хранит этот подарок, привезенный из Москвы!

Потом мы сидели за столом – Сисан Сисана, Валя Свиридов и я. Изредка к нам подсаживался Понг Сурин Фуми – он все хлопотал перед нашим отъездом, готовил еду, проверял вещи, бензин в канистрах, оружие. Сисана сказал:

– Жаль, что я принимал вас с ребенком на руках, в нарушение «протокола». Люди Востока всегда очень щепетильны по отношению к «протоколу». Но вы простите меня за то, что я не соблюдал его в наших пещерах.

Я оказал:

– Самый лучший «протокол» – это когда иностранца принимают с ребенком на руках.

И этот мужественный человек вдруг не смог сдержать слез.

– Дети тоже хотят солнца, дети тоже хотят жить под небом. Когда же они увидят наше лаосское солнце?

Я уезжал из Лаоса со странным, в определенной мере парадоксальным чувством. Я проезжал мимо пещер, где сейчас шли занятия медицинских курсов; мимо горных урочищ, которые при свете фонариков обмеряли молодые специалисты по гидроэнергетике; мимо рисовых полей, которые возделывали крестьяне, тоже при свете фонарей. Возле одной, особенно большой, пещеры мы остановились – там шел концерт. Люди восторженно хлопали любимым артистам и пели вместе с ними великолепную мелодичную «Чампу». Я проезжал сквозь четко и ритмично пульсирующую жизнь страны, которая борется за единство, нейтралитет, мир и процветание. Этот четкий ритм жизни рождал во мне уверенность в скором и безусловном торжестве того дела, за которое сражаются эти люди.

Мы ехали ночью по дороге, среди огромных воронок, по таинственному, мрачному, обгоревшему, черному лесу. Наткнулись на завал. Сисук выскочил из машины, крикнул нам, чтобы мы падали на землю, а сам ринулся на завал. Засады не было. Он вытер со лба пот, присел на дерево, сваленное бомбой. Мы разобрали завал, двинулись дальше.

На границе распили последнюю бутылку коньяку и запели «Чампу». И было нам сладко и горько – так бывает всегда, когда расстаешься с друзьями, оставляя в душе крупицу ве-

ры, что предстоят нам еще встречи, и не такие горькие, какие были.

Небо было громадным, черным, звездным. Мы пересекли границу, и еще какое-то мгновение до нас доносились слова веселой песни «Чампы». А потом стало тихо, и вокруг нас сомкнулась ночь...

Проснулись в маленькой вьетнамской деревушке, пошли к ручью помыться. Здесь уже было теплее – отъехали километров четыреста с гор к долине. Мы разделись и молча сидели возле ручья, грелись под ласковым солнцем. И было нам попрежнему грустно. Снова, как и две недели назад, над нами ревели самолеты: американцы летели бомбить Ханой и Хайфон.

Мимо нас по тропинке шел мальчик из народности тхай. Он не видел нас и тихонько пел: «Я иду по дороге один. Дорога длинна и прекрасна. Что меня ждет в таинственном конце дороги?»

Мы окликнули его, разговорились. Он подарил мне свой лук. Валя подарил ему перочинный нож. Перед тем как нам уехать, мальчик пришел в наше маленькое бамбуковое бунгало и протянул Вале Свиридову листочек бумаги. Он сказал:

– Я хочу вам подарить свою песню.

У меня сжало горло...

...Назавтра под утро мы вернулись в Ханой.

...А через три месяца огромный «Боинг-707», свалившись на левое крыло, ухнул вниз, навстречу белому, высвеченному луной морю перистых плотных облаков. Пассажиры, деланно засмеявшись, впились побелевшими пальцами в поручни своих удобных поролоновых сидений.

– Наши парни любят рискованно работать, – сказал сосед, летевший со мной в Лос-Анджелес из Чикаго. – Мне нравится их манера небрежной и точной смелости.

Точно так же, завалившись на левое крыло, «F-105» ВВС США пикировал на нас, когда мы ехали на маленьком газике из Лаоса в Ханой. Дорога была пустынной – одна лишь наша машина, а вокруг зеркальные лестницы рисовых полей, воронки, сожженные дома и пальмы. Он пикировал на нашу машину, а мы лежали в жидкой тине и ждали, когда рев турбин сменится стонущим воплем бомб. Он тогда промазал – фон-

таны черной воды поднялись в ста метрах, изуродовав рисовое поле. Я смотрел вслед «фантому» – он улетал, ввинчиваясь штопором в предвечернее небо Вьетнама. Они вообще очень игриво улетали после бомбежки, – во всяком случае, так мне казалось поначалу, пока вьетнамские ракетчики не объяснили, что они таким образом стараются «обмануть» ракеты, увильнуть от их разящего преследования...

Ах, до чего ж красив ночной аэропорт Лос-Анджелеса! Стеклянный, легкий, нереальный, разноязыкий и шумный! Дневная жара угадывалась по ночной прохладе, по мягкости асфальта на стоянке такси и по сероватым потекам пота на белых куртках носильщиков.

Я вышел на улицу. Толпа оглушила меня: мужчины в кружевных женских кофточках, с медальонами на груди и женщины в грубых мужских брюках, длинноволосые юноши в казацких поддевках, подвязанных куском рыбацкого каната, и девушки, стриженные под бокс, – болезненная экстравагантность окружающего была тревожной, хотя внешне беззаботно веселой. И вдруг я увидел парня, который пересекал улицу в том месте, где была стоянка автомобилей: «парковки» машин в Штатах похожи на лежбища котиков на Командорских островах, с той только разницей, что котики маслянисто-черные, а американские машины в массе своей серо-голубые. Парень пересекал улицу неторопливо, вразвалку.

Он был одет во френч хаки, который носят бойцы Демократического Вьетнама, и на груди у него был значок «Я люблю Хо».

Я вспомнил летчика из Калифорнии – его сбили над Хоабинем. Он шел, подняв руки, в полосатой черно-серой арестантской форме: людей, которые прицельно бомбят детские сады и больницы, во Вьетнаме считают военными преступниками. Тот летчик был так же молод, как этот парень в хаки. Только на него смотрели люди, оставшиеся без крова и потерявшие детей, смотрели с тяжелой ненавистью, а на этого паренька из Лос-Анджелеса смотрели – за редким исключением – с веселым доброжелательством.

Спать в первую голливудскую ночь было – даже при всей моей усталости после многочасового трудного перелета – никак невозможно. Этим же воздухом дышали деды мирового

кино, здесь жили Чаплин и Дисней, здесь трудятся Крамер, Фонда, Пек, Тэйлор, Бэт Девис, здесь покоряли своим искусством Спенсер Трэсси и Джим Кегни. И я пошел по ночному Лос-Анджелесу просто так, без всякой цели. Тротуары, выложенные розовыми гранитными звездами, на которых выбиты имена кинозвезд, операторов и режиссеров, ведут вас к центру, к морю огней и света, а вам не хочется шагать по именам живших искусством кино, и вы сворачиваете на тихую улицу и сразу вспоминаете Ильфа и Петрова, ибо вы попадаете в одноэтажную Америку. За прошедшие тридцать лет она не стала двухэтажной. И даже бурлеск, куда я забрел, тоже был одноэтажным, сделанным под салун прошлого века. Парень с гитарой, бородатый, в техасских высоких ботинках и черном свитере, подмигнул залу и сказал:

– Ну что, попоем или как? Или пора танцевать? Девочки хотят раздеваться...

С моего места мне был виден кусочек кулис. «Герлс», пришедшие делать стриптиз, сидели на стульях и о чем-то говорили, и лица их были усталы.

– Ладно, черт с вами, – сказал парень с гитарой, поднимаясь с высокой табуретки (хохот, свист, аплодисменты). – Первый номер наша итальянская звездочка Росита посвятит Джиму Раффи, который приехал на отдых (театральный жест в сторону молодого офицера, стриженного наголо) из... (пауза) Вьетнама!

Стало тихо, и никто не топал ногами, и не аплодировал, и не свистел. И парень с гитарой растерялся и недоуменно поглядел на джаз, и те грохнули во всю силу легких, и на сцену выскочила «итальянская звездочка» и начала раздеваться, а Джим Раффи, вернувшийся на отдых из Вьетнама, выпил свою порцию виски и осторожно огляделся по сторонам.

«Итальянская звездочка» исполняла свой многозначительный танец, а я вспоминал тот вечер в горах Вьетнама, когда был низкий туман, и американцы поэтому не бомбили, и бойцы собрались на концерт самодеятельности. На полянку в джунглях, которая служила сценой, вышел молодой солдатик, загримированный под старика, с седой бородой. Закрыв глаза, он выставил вперед правую ногу, обутую в рваную сандалию, откашлялся и начал декламировать мелодично и неж-

но, то напевая какие-то строки, то произнося целые фразы рублено и точно.

– Что он читает? – спросил я.

– Отрывок из «Старика и моря» Хемингуэя.

Я посмотрел на лица солдат; они, замеров, слушали своего товарища, который колокольчато читал прозу «Папы», как свою, вьетнамскую поэзию.

...Запутавшись в одинаково красивых улицах и одинаково уютных особнячках актеров, продюсеров, монтажеров и операторов, я все-таки выбрался к центру города. Возле маленького открытого кафе «Горячие цыплята первых пионеров Запада», высвеченного мертвенно-голубоватым светом неона, стояла открытая машина, и седой человек в серой майке уплетал «горячую собаку» – жареную сосиску в булке, а вокруг него толпились повара в желтых курточках и с галстуками скаутов. Лицо этого человека было разительно знакомо – этакий штампованный герой вестерна: тяжелые морщины на бронзовом лице, сильные руки, ослепительная фарфоровозубая улыбка.

Он кивнул на меня и сказал поварам:

– Покормите этого хиппи. Они хотя и «добровольные отверженные», все же ужасно прожорливы.

– Я не хиппи, – ответил я (о проклятие бороды!).

– О'кэй, – сказал он, – а кто же тогда вы?

– Я из Советского Союза.

– Ю ар вэлком, – сказал он, – добро пожаловать. – И распахнул дверь машины. – Садитесь, я покажу вам наш Голливуд ночью.

Я не ошибся: Эд действительно снимался в сотнях ковбойских фильмов. Нет, он не звезда, его имя не выбито на мемориальных тротуарах. Он обыкновенный актер, каких здесь сотни.

– Пиф-паф, прыжок с крыши, я это временами делаю в «Юниверсал Сити» для тех, кто приезжает на фабрику кино с экскурсией. И, конечно, лошади, погони и «скупая мужская слеза» крупным планом в «хэппи энд» (счастливом конце). В современных картинах? Вы хотите спросить про Вьетнам, когда говорите о современных лентах? Это грязное дело, мы в нем не хотим участвовать.

На вьетнамскую авантюру вашингтонских «бешеных» за все пять лет войны Голливуд со скрежетом и смущением откликнулся безвкусным боевиком «Зеленые береты». В Нью-Йорке я был в кинотеатре на Бродвее, где демонстрировался этот фильм, – он шел при пустом зале, я насчитал двенадцать человек там, где можно было вместить тысячу.

«Юниверсал Сити» – громадный комбинат кино- и телепроизводства, где стоят построенные навечно декорации: римские катакомбы, улочки Парижа, уголки Пекина, развалины поверженного Берлина. Но там нет декораций, связанных с вьетнамской войной Вашингтона. Я разговаривал с актерами и продюсерами: в портфеле Голливуда нет сценариев в защиту преступлений, творимых «бешеными» в джунглях маленькой азиатской страны.

«Значит, – думал я, – дух прогрессивного Голливуда жив и сейчас. Того Голливуда, который был первым посажен на скамью подсудимых в страшные годы реакции, когда безумствовал Джозеф Маккарти со своей Комиссией по расследованию. Значит, серьезные художники Голливуда чувствуют свою ответственность перед человечеством за то, что творит официальный Вашингтон в небе Ханоя и на земле Лаоса. Честного художника можно заставить покинуть родину, как это сделали с Чарли Чаплином в пятидесятых, художника можно довести до самоубийства, как это стало с Мэрилин Монро; одного нельзя сделать с художником, исповедующим правду, – заставить его творить против совести.»

Ночи так и не было – летние сумерки сменились голубым рассветом. Вырисовывались контуры желтых гор, окружающих Лос-Анджелес. Громадные пальмы уходили в седое, низкое небо. Красивый город, построенный за столетие руками американских тружеников и фантазией талантливых инженеров, наконец тревожно уснул... Портье, протянувший мне ключ, заученно улыбнулся, продолжая слушать последние известия: утро Лос-Анджелеса начиналось с сообщений из Вьетнама и Лаоса.

(Весной 1974 года народ Лаоса победит, – бомбежки закончатся, будет создано коалиционное правительство и принц Суфанувонг станет одним из его лидеров.)

1968 – 1973

ОЧЕНЬ ЖАРКИЙ АВГУСТ
(Западный Берлин)
1968 — 1973

Это все началось еще зимой. Я тогда жил во Вьетнаме, на границе с Лаосом. Американцы бомбили беспощадно, их реактивные самолеты шли волна за волной. Ночью передвигаться тоже было трудно: над нашим районом висели винтовые «АД-6». Время от времени они бросали окаянно-голубые осветительные ракеты и шарахали фугасами по всему живому, будь то машина, солдат или мать с грудным младенцем. Поэтому несколько дней мне пришлось прожить в глубоком блиндаже, и осталось мне тогда только одно развлечение: в короткие часы перерыва между беседами с друзьями-партизанами, командирами, поэтами – слушать радио, бродить, словно минеру, по столицам мира, ощупывая их осторожной шкалой транзисторного приемника.

Вот тогда-то я услыхал о массовых студенческих демонстрациях против вьетнамской авантюры в Западном Берлине, о том, что полиция канцлера Кизингера, этого продолжателя дела «холодного старца» Аденауэра, применила слезоточивые газы и пустила в ход дубинки, я услыхал о жестоком аресте полицией сына Вилли Брандта, активного участника левого движения, о стычках на улицах, об осадном положении на территории университета... Я не мог не восхищаться мужеством студентов, вышедших под полицейские дубинки для того, чтобы сказать «нет» современному вандализму.

Через несколько месяцев жизнь свела меня в Лос-Анджелесе с хиппи, которые выступают против войны США во Вьетнаме – поскольку они вообще против всех войн, да и против всего существующего в этом мире.

– А за что же вы? – спросил я одного из хиппи.

– За свободу, – ответил паренек, сидевший на тротуаре,- в любви, политике, в мысли и в акции.

– Это как? – поинтересовался я.

Паренек затянулся марихуаной — сигареткой, смешанной с наркотиком, — и ответил:

– А черт его знает...

Перед отъездом в Западный Берлин был принят советским послом в ГДР Петром Андреевичем Абрасимовым. Человек, прошедший всю войну, замечательный дипломат ленинской школы, он дал мне множество добрых, очень полез-

ных советов. (Помощь Петра Андреевича – и тогда, и позже, во Франции, – была воистину неоценимой.)

И вот я перехожу границу ГДР у «Чек Пойнт Чарли».

То, о чем я слышал по радио во Вьетнаме, мне сейчас предстоит увидеть воочию.

– Вы спрашиваете, где выставлены фашистские ордена? Я провожу вас, неподалеку открыт специальный магазин.

– Марки с портретом Гитлера? Это рядом, в «Европейском центре». Там вообще большой выбор марок с портретами наших национал-социалистских лидеров. Марки отменного качества, печать просто великолепна...

– Как достать грампластинки с речами Гитлера и Геббельса? Хм-хм... Есть, конечно, определенные трудности. Приходится, знаете ли, считаться с ситуацией. Подождите до завтра, я постараюсь все устроить, мой господин.

– «Майн Кампф»? Речи Гиммлера? Можно, конечно, и купить, но зачем? В библиотеке это прекрасно систематизировано. Что бы там ни говорили, а это наша история... Театры? Право, не знаю, ведь у меня телевизор. Где провести вечер? В «Эдеме», там прекрасный стриптиз. Вообще на Кудаме подобраны прекрасные девицы, цена ерундовая – две марки за вход. Ах, вы про филармонию... Простите, не понял. Но ведь у меня телевизор, я же говорил вам. Музеи? Право, не знаю, туда возят одних американских старух. Интересней бродить по автобазарам: можно дешево купить хорошенькую машинку, которая будет прелестно смотреться возле вашего уютненького коттеджика.

...Я ничего не придумал, приводя эти фразы. Я собрал воедино беседы с четырьмя западноберлинскими буржуа и полубуржуа – с так называемым «истеблишменом» – и получился этот диалог. Я спросил одного из этих «истеблишменов»:

– Как вы относитесь к левому молодежному движению?

– Сволочи, – ответил он, – красные. Проклятые социалисты.

– Зверье, – сказал другой. – Мне не жаль, когда их бьют, жаль только, что бьют их еще мало...

Встретился я и с иным мнением:

– В левом студенческом движении много безответственных хулиганов. Жонглируя социалистическими лозунгами, они – практикой своей – отпугивают людей от социализма...

– В массе своей прекрасные ребята. Они будоражат наш застой, они дерутся против неонацистов, против вьетнамской войны. Пусть у них в голове много каши – объективно они приносят пользу прогрессу, – таким было четвертое мнение.

– Они не могли не появиться. Нацизм, сопровождаемый торжествующей тупостью, национализмом, зазнайством, жестокостью, неуважением к интеллекту, передовому знанию, не мог не породить «ответного действия». Наши «новые левые» – это стихийный процесс, его участники не понимают еще, что их поступками движет страх перед нацизмом, а не революционные доктрины, – таким было пятое мнение.

...Полмесяца я провел в стенах Свободного университета, в Республиканском клубе, где собираются лидеры Внепарламентской оппозиции, серьезной левой силы; в штаб-квартире Социалистического союза студентов. Споры, полярные мнения, сшибка страстей, убеждений, характеров. Когда вы встречаетесь с нечесаным, босым, в драных джинсах, бородатым юношей, не торопитесь выводить о нем категорическое мнение. Когда он начинает горячо нападать на вас, требуя полной поддержки его идей, не торопитесь считать его ультраболтуном. Послушайте, что он будет говорить вам о нацизме, капитализме, Вьетнаме, Португалии. Давайте научимся выслушивать собеседника, как бы порой он ни загибал влево, не будем торопиться с выводами.

Сижу за столиком кафе со студентом-социологом Клаусом. Мимо по нарядному, самодовольно-сытому, показушному Курфюрстендаму мчатся машины – разноцветные, красивые, раскаленные яростной жарой, похожие на хищных зверей в своей неуемной скорости.

– Вот тут, на углу, – показывает Клаус глазами, – нас начали бить. Они били нас умело, по старинке, как били коммунистов и социал-демократов в тридцать третьем. За что? Мы несли плакаты «Мир Вьетнаму», «Ами, гоу хоум!», «Долой чрезвычайные законы», «Необходимо признать ГДР!» Мы шли организованно, мы хотели воспользоваться правами, предоставленными нашей демократией. А нас били те, кто расстреливал

русских женщин, чешских стариков и еврейских младенцев. Нас били те, которые и сейчас пытаются учить детей, что, мол, русские – это свиньи, нация второго порядка, страна тьмы и болот... – Он горько усмехнулся. – У меня прекрасная, добрая мама. Она родила меня в сорок четвертом, когда отец взрывал Варшаву. Увидев меня после демонстрации, отец оказал: «Жаль, что мне попадались другие». Он выбросил в мусорный ящик книги Ленина и Розы Люксембург и сказал, что лишит меня материальной помощи, если я не выкину из головы свои «красные бредни». Я ушел из дома. Сейчас, конечно, голодно, но чисто, не чувствуешь себя подонком, который продается за блага.

Около кафе останавливается серо-голубой «мерседес». За рулем – холеный красавец с ниточным пробором «а-ля СС». Его окликают из кафе, и он улыбчиво и рассеянно делает правой рукой фашистское приветствие.

– Двадцать три года назад они орали «хайль», – говорит Клаус, – теперь они вопят: «Бей красных студентов». Они чувствуют, что мы не простим им фашизма – ни прошлого, ни настоящего.

...На Курфюрстендам опускается ночь. На улицу вышли зазывалы – раздают рекламы ночных кабаков, появились молоденькие девушки с ярко намазанными лицами и «пустынькой» в глазах. Все столики в кафе заняты «истеблишментом»: чинные семьи сражаются друг с другом изыском туалетов, тупым самодовольством и чванливостью. И вдруг рядом с кафе появляются славные бородатые ребята в дырявых джинсах и разношенных кедах. Они раздают листовки, протестующие против агрессии США во Вьетнаме, против чрезвычайных законов. Ах, какой переполох начинается! Как побагровели лица буржуа, как яростно размахивают склеротичными кулачками старушенции в черных кружевах, как немеют лицами молодые торговцы... Ребят обступают молчаливым, душным кольцом. Полиция рядышком. Посмеиваясь, ждет начала потасовки. Но потасовки не вышло: подбежала еще одна группа студентов, пришли на помощь к своим. Они стоят плечом к плечу, их сейчас не сбить. У них сейчас четкая программа, сформулированная в двух этих лозунгах. Мне нравятся эти ребята из СДС.

Спрашиваю Клауса:

– А всегда ваша программа так точна и принципиальна? Всегда ваши лидеры предлагают вам верный путь?

– Не знаю, – ответил Клаус, поднимаясь, чтобы идти к своим. – Я знаю только, что так жить, как живут у нас, в нашем проклятом «свободном мире», нельзя. Верный путь? Мы его ищем...

...Штаб-квартира СДС на Курфюрстендам.

Выбитые стекла, мусор на полу, окурки на столах; на стене немецкие, китайские, русские и английские лозунги. Полная мешанина: рядом с плакатом, восхваляющим вандализм «культурной революции» Мао, лозунг на русском языке: «Грамота – путь к коммунизму».

Знакомлюсь с одним из лидеров ультралевого крыла СДС – Юргеном Хорлеманом. Он литератор, выпустил несколько публицистических книг, помогал в свое время сделать пьесу об американской агрессии. Иссиня-бледный, экзальтированный в своем спокойствии он сразу же предложил «агрессивный» темп беседы. Меня потрясло: с такими тухлыми, стародавними наскоками налетел он на нас, на СССР! Оказывается, мы первый раз «предали» Китай в 1927 году. Смешно, конечно, но для порядка спрашиваю:

– Документы? Факты?

Конечно, ни документов, ни фактов у него нет, но он продолжает гнуть свое.

Я вспомнил наш трудный, голодный послевоенный сорок девятый год. Я тогда проходил военную подготовку в Белоруссии. Тысячи семей еще жили в землянках. А по железной дороге один за другим шли эшелоны в Китай: помогать братскому китайскому народу строить заводы, фабрики, электростанции. Мы отрывали от себя, помогая народу-Китая. Таковы факты. Хорлеман может их не знать – ему в сорок девятом году было восемь лет...

– И Вьетнам вы предаете, – продолжает Хорлеман.

– Вы были во Вьетнаме?

– Нет.

А стоило бы ему побывать там и посмотреть воздушный бой, хоть один бой, и он бы увидел – вьетнамское небо охраняют советские «МИГИ», и советские ракеты, и заградительный огонь советских орудий. Стоило бы ему посмотреть дороги Вьетнама – по ним ездят советские машины; заводы Вьетнама – там работают советские станки; реки Вьетнама – там стоят советские понтонные переправы.

– Все равно вы проводите ревизионистскую политику...

Все ясно – знакомые мелодии. Привет Пекину. Скучно. Спорить дальше бесполезно. Смыкаются детали – огромные портреты Мао в квартире Хорлемана – с тем, что он говорит; его утверждения о том, что «культурная революция – это великое движение революционной молодежи», со слепыми, яростными нападками на нашу страну.

– Вы клевещете и на наше движение! – продолжает он.

– Мы поддерживаем движение студентов, когда они борются за правое дело, и мы открыто пишем о провокаторах, примазавшихся к движению.

– Значит, Тойфель, который сейчас под судом в Маобите, провокатор?

Я был на этом процессе. Фриц Тойфель, лидер маоистской «сексколлективы № 1», сидел со своими приятелями на скамье подсудимых и играл в карты: это был его протест против прокурорского диктата. Настоящие революционеры боролись против диктата буржуазного суда иными средствами. Играть на скамье подсудимых в карты – это больше от балагана, чем от серьезной борьбы.

Редакция газеты «Экстра-динст» – орган Внепарламентской оппозиции. Беседую с корреспондентом газеты Мартином Бухгольцем. В прошлом он сотрудник буржуазного «Абенда». Порвал с «желтой» прессой, ушел в газету, которая выступает против буржуазии, ибо только в социализме он видит будущее мира.

– Все эти ультралевые вредят нам, – сказал Мартин Бухгольц, – все без исключения. Особенно это относится к Фрицу Тойфелю. Если Тойфель и его таинственно-сексуальная коммуна – социализм, то такой социализм, во-первых, никому не нужен, а во-вторых, истинному социализму сильнее всего и вредит. К нашему движению прилипает масса маоистов, троцкистов. Это трудно и плохо для нас. Их провокационная ультралевая болтовня только мешает социалистическим идеям. Положение во Франции доказало это со всей очевидностью. Все увидели, как опасен делу социализма Кони Бендит и иже с ним. Он не просто маоист или троцкист. Он – провокатор...

Я бы для себя сейчас эти понятия не разделял. Эти понятия сейчас стали однозначными.

И снова фоторепортеры, ТВ, журналисты и кинохроникеры кидаются в машины и несутся следом за серыми полицейскими грузовиками к Свободному университету. Там снова баррикады, снова студенты заняли ректорат, снова по громадному парку, примыкающему к учебным зданиям, разбросаны разноцветные листовки, призывающие студенчество продолжать борьбу за реформу высшей школы, за свои права.

Чего требуют студенты? Они хотят, чтобы в университетском сенате, наряду с профессурой и ассистентами, были представлены и студенты.

– Вы думаете, – говорит мне девушка, стоящая возле полицейского кордона, – среди профессуры мало мракобесов? Вы думаете, наши учебные программы составлены в соответствии с требованием сегодняшнего дня? Посмотрите, что эти профессора предлагают нам изучать, когда речь заходит об СССР. Мы изучаем ерунду и грязь, мы совсем не знаем правды о том, как вы живете. Если мы войдем в университетский сенат, мы потребуем, чтобы нам читали лекции прогрессивные профессора и чтобы они читали нам правду.

(Я вспомнил Президента Академии искусств Западного Берлина, выдающегося композитора и педагога Бориса Блахера. Он говорил: «Знаете, а мне по душе эти молодые парни, когда они бунтуют, требуя улучшения преподавания. Я поддержал их, когда они тут, в консерватории, устроили свою забастовку. Их бунт помог некоторым нашим консервативным педагогам по-новому взглянуть на самих себя. Естественно, когда иные юноши выдвигают за образец новой культуры опусы г-на Мао, мне делается смешно и грустно, но это же единичные голоса истериков, это несерьезно».)

Зимой полиция со студентами не разговаривала. Под улюлюканье озверевшей толпы бюргеров студентов били. Сейчас студентов бить перестали, ибо они доказали свое умение быть стойкими, когда речь идет о высших принципах. Поэтому и полицейские, и туристы, и любопытствующие посторонние жадно прислушиваются к тому, что сейчас говорят студенты. А те говорят молодому полицейскому:

– Вы понимаете, что вы с нами делаете?

– Мы с вами ничего не делаем, – отвечает полицей-

ский. – Мы вас аккуратно выносим из ректората, который вы незаконно захватили.

– А почему мы захватили ректорат?

– Потому что вы хулиганы.

– Мы добиваемся, чтобы твой брат и твоя сестра имели возможность учиться в этом университете наравне с детьми врачей, предпринимателей и чиновников, – разве это хулиганство?

– Это, конечно, не хулиганство, – отвечает полицейский, – но зачем же захватывать ректорат? Это непорядок.

С ним продолжают говорить, доказывая и переубеждая. Говорят и с теми, кто стоит поодаль, – с наблюдающими. Некоторые ультралевые лидеры СДС считают, что ни с полицией, ни с прохожими говорить не о чем. Они считают, что есть только одна форма борьбы – драка. Когда ультралевым удается провести эту точку зрения в жизнь, несколько десятков студентов арестовывают и сажают на пару дней в тюрьму.

– Что же, – спросил я одного из ультралевых, – классовой подоплеки в вашей борьбе нет?

– Нет. Рабочий класс стал сейчас самым реакционным классом. (Привет, Маркузе!) Ни о какой классовой пропаганде по отношению к рабочему сейчас говорить не приходится, ибо мы живем в век, которым определяют интеллектуалы... Лишь в борьбе мы обретем свое право. (Привет, эсеры!)

– Ерунда, – ответил мне Лотар Пинкаль, один из лидеров АПО – Внепарламентской оппозиции. – Это все несерьезные высказывания. Приезжайте к нам в «ИГ Металл Югендшуле», на Пихельзее, вы посмотрите, как мы работаем с молодыми металлургами.

Левый социал-демократ, Лотар Пинкаль несколько раз был на грани исключения из партии, несколько раз его хотели снять с поста директора школы «ИГ Металл Югендшуле». Сейчас он уезжает во Франкфурт-на-Майне: он получил назначение на пост директора крупного издательства профсоюзов «Ейуропейше ферлаг«. Его преемником в школе для молодых рабочих остается Манфред Кнопф, в прошлом выпускник этой школы.

– У нас есть подобные «югендшуле» профсоюзов в Гамбурге и Франкфурте, – рассказывал мне Пинкаль. – Там тоже

молодым рабочим читают марксизм, но марксистами их делать не пытаются, а скорее наоборот. Там их учат работать в системе частного предпринимательства, мы же учим их работать против этой системы.

...На берегу красивого озера, в одном из самых фешенебельных районов Западного Берлина, разместилась эта профсоюзная школа для молодых рабочих. За те две недели, что они здесь проводят на семинарах, машинное масло не успевает сойти с их пальцев, но зарядку «мышлением» они получают серьезную. Действительно, в школе Пинкаля молодые рабочие проходят программу, которую Штраус не разрешил бы ни в одной школе Западной Германии или Западного Берлина. Я просидел несколько часов на семинаре «Авторитетное поведение», который вели два молодых ученых, докторанты Мартин Лаудар и Курт Йоханесен. Они не навязывали своей концепции молодым рабочим, они приглашали их к дискуссии и спорили с ними «на равных». Их главная задача заключалась в том, чтобы научить рабочих за то короткое время, что здесь проводят, умению размышлять, сравнивать, оценивать вывод. Здесь делается попытка, например, через анализ взаимоотношений родителей и детей показать, как семья и школа готовят для предпринимателя послушного, трусливого и аккуратного исполнителя.

Хейнц, девятнадцатилетний парень, жарко говорил:

– Мне не нравятся догматы, пропитавшие наши семьи: послушание, сентиментальная воспитанность, кротость. «Скажи дяде спасибо» – эта ужасная фраза скрывает в подоплеке трусость родителей: богатый дядюшка, если его не поблагодарить, впредь не принесет подарков юному отпрыску. Ребенка следует воспитывать искренним, а не приспособленцем...

– Вообще родители в наш век не могут быть авторитетами, – вторит ему другой парень.

Мартин Лаудар чуть улыбается.

– Когда отец запрещает ребенку переходить дорогу на красный свет, может быть, все-таки он разумно авторитетен? Может быть, отделим авторитет дутый от авторитета реального?

...Ведущие семинар докторанты постепенно уводят ребят от частных вопросов, к темам классовым. Исподволь молодой рабочий ФРГ и Западного Берлина втягивается в политику, но не через голый, крикливый лозунг или бессмысленную драку

на улице, а через знакомство с марксистской мыслью. Ребят в школе Пинкаля «вводят» в политику, которая не может быть внеклассовой. Участие рабочих в новом движении – вопрос вопросов возможного успеха. Пока что рабочие Западного Берлина далеко не всегда поддерживают студентов. Отчего так?

...Меня пригласили выступить в Восточноевропейском институте. Созданный в самые душные годы «холодной войны», этот институт и сейчас готовит наших врагов, а отнюдь не объективных ученых. Хороши «объективные» специалисты по «русскому вопросу», которые ничего не слыхали о Паустовском, Симонове, Думбадзе, Айтматове, Твардовском, Бондареве, Гамзатове, Леонове! Хороши же «кремленологи», которые ничего не знают о Дубинине, Александрове, Капице, Тамме, Алиханове! Именно в этом институте, заботливо опекаемом и американской и боннской разведками, особенно сильны позиции ультралевых. Одна девица во время дискуссии сказала мне:

– Единственный путь, который сейчас остался, чтобы ввергнуть рабочих в революцию, — это экспроприировать их, отнять у них дом, машину, заработок.

Девица называет себя «настоящей революционеркой-коммунисткой», она на словах яростно бранит капиталистов, всяческих «бумажных тигров», и особенно зло — «современных ревизионистов», то бишь нас.

Я заметил, что наиболее подготовленная для маоистских теорий почва, как правило, находится в самых грязных антисоветских клоаках. Происходит очевидное смыкание ультраправых с ультралевыми: от теорий «экспроприации рабочего», которые выдаются «кремленологами» за «социалистические», любой здравомыслящий, серьезный рабочий шарахнется, как черт от ладана. И правильно, между прочим, сделает, потому что теории эти никакого отношения к социализму не имеют. А теории эти гуляют по Западному Берлину. Это явно провокаторские теории, и буржуазная пресса всячески их рекламирует, вдалбливая в голову рабочим, что это и есть та программа, с которой к ним идут все студенты.

Встретился в Республиканском клубе с доктором Клаусом Мешкатом, теоретиком и одним из лидеров «умеренных» во Внепарламентской оппозиции. Мы с ним расходимся по

многим вопросам, но я вижу, что Мешкат не идет на поводу у демагогов, а ищет свою правду.

– Конечно, нелепо переносить опыт Мао на Европу вообще и на Западный Берлин в частности. Тойфель и его коммуна перестали быть серьезным объектом для социологического изучения, это уже фокусы. В Китае я не был, но мне удалось посетить Албанию. Это угнетающая картина. Запуганные люди, шарахающиеся друг от друга. Мы там чувствовали себя под постоянным надзором даже во сне. Естественно, только слепцы могут закрывать глаза на опыт СССР. Вы были первыми, кто сверг капитализм, вы первыми начали эксперимент, и в вашем опыте много позитивного.

Говорим о той общности позиций, которая нас объединяет.

– Наше общее отношение к ситуации во Вьетнаме, борьба против колониализма, борьба против неонацизма, признание Западом ГДР – без этого трудно строить реальную политику в мире.

Что ж, достаточно широкое поле общности с доктором Мешкатом. Дискутируя проблемы, Мешкат не «машет руками» и не белеет лицом. Он ищет свою правду. Путь к ней может быть долгим, но мне верится, что доктор Мешкат со своей дороги не свернет.

Один из лидеров органа Студенческого самоуправления, АСТА, «коллега» Кадрицки только что окончил университет и приглашен на кафедру социологии ассистентом. Его здесь также считают «серьезным левым».

– Надо понять студенчество, – говорит он мне, – которое задыхается в наших условиях тупой сытости, алчности и эгоизма. Надо понять молодежь, которая видит элементы возрождающегося нацизма. Надо понять студентов, которые великолепно знают историю, когда страну пытаются причесать под одну гребенку, на каждого завести дело в секретной полиции и безнаказанно записать на пленку телефонный разговор с друзьями. Разве не понятно, что все это вызывает гневный протест думающих интеллигентов? Много ошибок? Естественно. Не ошибается лишь тот, кто бездействует. Конечно, насильственная пересадка опыта Мао с его «культурной революцией» может лишь скомпрометировать наше общее дело. Вообще сейчас намечается ось «Пекин – Бонн». Это уже не

далекая наметка – Франц Иозеф Штраус спит и видит альянс с Мао против Москвы. Кому в таком случае выгодна идея компрометации идей научного социализма? Нашим реваншистам? Конечно. Но отчего же тогда в этом так помогают нашим «ястребам» маоисты? Или это выгодно пекинским лидерам в такой же мере, как и здешним неофашистам?

Есть среди «новых левых» особая категория схоластов-спорщиков, которые готовы проводить дни и ночи в жарких дискуссиях по поводу далекого будущего и столь же далекого прошлого. Проблемы настоящего волнуют их значительно меньше.

Схоласты из левого студенческого движения великолепно умеют выстраивать «концепцию отрицания». Многие ребята во время споров оперируют «конечными» положениями Маркса и Энгельса, Ленина и Розы Люксембург. Они знают вывод, но они не изучали систему доказательств. А если к марксизму относиться как к заскорузлой догме, как к некоему фармакологическому справочнику готовых рецептов, – тогда незачем кашу варить. Если же относиться к марксизму серьезно, как к философской доктрине, – тогда это кладезь, где можно черпать темы для раздумий: и по поводу сумятицы «настоящего», и о перспективах «будущего», и о «прошлом» – стараясь найти ему точную и объективную оценку.

Каждый раз, когда я заводил разговор с моими собеседниками из Внепарламентской оппозиции о необходимости кооперации молодежного движения с рабочим классом, я наталкивался на однозначный программный ответ, впрочем совершенно бездоказательный.

– Вы неправомерны в своих требованиях по поводу объединения нашего движения с движением пролетариата, – говорил мне аспирант социологического факультета Герман Крас. – Я совершенно согласен с руководителями американской «Ассоциации студентов за демократическое общество», когда они утверждают, что студенчество сейчас – один из ведущих составных элементов пролетариата, подчас авангард пролетариата, поскольку у студентов нет постоянного дохода, – нет, как правило, частной собственности, студент лишен политических прав в университетах, и – плюс к тому – во многих странах он вообще лишен права голоса. Чем же мы не пролетарии? Мы также про-

водим десять, двенадцать, а то и четырнадцать часов за нашим «станком» – партой, столом в лаборатории, библиотеке.

Беседую с адвокатом Хорстом Маллером. Высокий парень, несколько картинный; очень красив, элегантен, великолепный оратор. Сейчас Хорст Маллер защищает в суде «секскоммуну № 1», созданную ультралевым Тойфелем. Маллер также один из популярнейших лидеров Внепарламентской оппозиции, но – в отличие от Мешката – ее ультралевого крыла.

Он поигрывает ключом от своего автомобиля, раскручивая цепочку на длинном и тонком, чуть сплющенном указательном пальце, и говорит мне:

– Мы кардинально расходимся с нашими американскими коллегами по революционному движению в одном пункте: среди их левой молодежи главная догма – «любовь к ближнему». Американские коллеги считают, что в человеке изначально заложено естественное стремление к любви. Капитал, феодалы, рабовладельцы – все они кроваво подавляли естественно заложенное человеческое изначалие – желание любви. «Следовательно, – говорят американские коллеги, – лишь недостаток любви в обществе – причина всех зол современного мира». Поэтому они надевают майки, на которых краской, выпускаемой корпорацией «Дюпон», выведено: «Люби, а не воюй». Где-то, кстати говоря, они идут рядом с проблемой, потому что за океаном сейчас как никогда ощущается всеобщая потребность в любви. Это естественная контрмера против жестокости и духа голой наживы. Но мы, которые знаем, что такое нацизм, – мы считаем, что «путь любви» не принесет мира и разумной справедливости в наш трудный мир. Мы считаем, что любовь индивида, сталкиваясь с концепциями государства, обречена на гибель и деградацию. Государственные институты теперь высоко преуспели в овладении «техникой подавления»: помимо слезоточивых газов, резиновых дубинок, а при надобности и пулеметов, танков, бронетранспортеров – у них есть мораль, возведенная в «ранг» уголовного кодекса.

Тысячелетия общественного развития отчуждают в буржуазные кодексы законов абстрактно верные, но по сути своей порочные заповеди. «Не укради» – главное, что вдалбливают в головы детей родители – и рабочий-папа, и мама-ин-

теллигент. Но ведь их-то самих капитал всю жизнь обворовывал. И это беззастенчивое воровство было освящено заповедью: «Возлюби ближнего своего».

Когда мы начинаем в открытую говорить, что мораль добра служит практике зла, на нас немедленно обрушиваются дубинки полиции. Поэтому мы и считаем, что сначала необходимо уничтожить мораль прогнившей буржуазии и разрушить – по камням – Систему, которая существует у нас. Никакой парламентской борьбы, это ерунда! Насилие – вот наш ответ на диктатуру империализма.

– Значит, – спрашиваю я, – только винтовка, только баррикада? Легальные методы борьбы вы исключаете?

– Бесспорно, – отвечает Хорст Маллер. – Легальные методы борьбы сейчас нецелесообразны. В конце концов, человеку отпущено пятьдесят лет здоровой, целенаправленной жизни, и эти годы нужно отдать борьбе. Да, вы правы – винтовке и баррикаде.

– Вы предоставляете возможность рабочим участвовать в такой борьбе?

– А меня не интересуют рабочие. Меня интересует процесс. Меня, кстати, не интересуют и студенты, меня интересует лишь материал борьбы. Каждый и умирает в одиночку, и в одиночку живет. Если хотите, лишь звериный индивидуализм – единственная гарантия объединения индивидов в мощную, целенаправленную силу. А то, что вы говорите о рабочих... Знаете, я согласен с Маркузе: сейчас уже не страшен жандарм. Нас приучили к боли, мы теперь знаем, что такое удар дубинки. Страшен полицейский, который втиснут в умы и сердца человечества. Наши люди знают, что они обязаны выплатить взнос за свой коттедж, за новый автомобиль с кондиционером, за цветной телевизор. Жизнь рабочего посвящена только этим целям. Капитализм отринул его от классовой борьбы.

– Погодите, – спрашиваю я, – ну, а как же объяснить майские события во Франции, забастовочное движение в Италии, борьбу докеров в Великобритании, классовые схватки в Штатах?

Маллер морщится:

– Это частные проявления процесса.

(Я заметил, что, когда моим собеседникам-схоластам задаешь конкретный вопрос, они отмахиваются от него, отде-

лываются обтекаемой ильфо-петровской формулировкой: «Я сказал это не в интересах правды, а в интересах истины!»)

Маллер жадно затянулся.

– Ничего, только погодите... — продолжал он. – Я знаю – вы не верите нам, но пройдет года два-три – и о нас заговорит мир. Мы перевернем здешнее болото всеобщей спячки. В конце концов, нужно лишь начать революцию. Цели выяснятся сами по себе – рано или поздно. Главное – разрушить. Созидание придет как естественное продолжение разрушения. И нет смысла обмахивать лицо надушенным кисейным платочком: я убежден, что революционная политика обязана быть криминальной.

Говорит он убежденно, спокойно, иногда жестко, иногда улыбчиво; лучи солнца, пробиваясь сквозь жалюзи маленького бара, где мы сидим, режут его лицо резкими черно-белыми линиями.

(Спустя три года Маллер будет арестован полицией на конспиративной квартире «РАФ», организации, созданной Ульрикой Майнхоф и Андреасом Бадером, – «Роте арме франкцион» – «Красная армия действия». Он будет в рыжем парике, в черных очках, с фальшивым паспортом. Полицейские наденут на него наручники и посадят в тюрьму Маобит. Его будут пытаться выкрасть из тюрьмы на мини-вертолете, однако спасти его не удастся.)

...Итак, кто же выгадал от создания ультралевой «Красной армии»? Выиграли «наци в белых рубашках». Аксель Шпрингер, в частности, нажил на созданной идеями Маллера «РАФ» огромный политический капитал. «Вот они, эти левые, вот он, их коммунизм! Чего они хотят? Крови они хотят, эти длинноволосые, крови и анархии!..»

И начинают шпрингеровские газеты на все лады передавать историю, как Андреас Бадер поджег магазин во Франкфурте-на-Майне, как он был арестован, а в мае семидесятого года – с перестрелкой, по рецептам гангстерских фильмов, – освобожден из западноберлинской тюрьмы Маобит. С тех пор организация «РАФ», руководимая «практиками революции» Бадером и Ульрикой Майнхоф, вдохновляемая теорией Хорста Маллера, занималась тем, что грабила банки и сберкассы в Западном Берлине, похищала документы в Эссене и чистые бланки в государственных учреждениях Франкфурта.

При этом Хорст Маллер утверждает: «Мы, наша «Красная армия действия», – детонатор революционного взрыва».

Этим он оправдывал грабежи, как «зачет в освоении тактики революционной борьбы».

К чему все это привело? Западногерманский обыватель повернулся к Шпрингеру. Он начал смотреть на бульварные, антикоммунистические и антисоветские листки этого неонациста как на труды истинного «защитника прав человека».

(Я читал через три года после встреч с Маллером шпрингеровские газеты, которые рассказывали об операции «Кора», когда более трех тысяч агентов полиции с вертолетами, собаками, мотоциклами и бронетранспортерами, вооруженные автоматическими пулеметами и пистолетами, прочесывали город, арестовывая всех, на кого пало подозрение в принадлежности к «РАФ». И эта организация была разгромлена.

Бадера и Ульрику Майнхоф арестовали по доносу их же друзей. Схема, придуманная Хорстом Маллером в шестьдесят восьмом году, когда мы проводили с ним в баре республиканского клуба долгие вечера в яростных, непримиримых спорах, обернулась трагедией для многих левых студентов на Западе.

Когда человек оправдывает бандитские действия светлым идеалом революции, тогда он становится предателем революции – хочет он того или нет.)

Беседую с лидерами ультралевого СДС. Занятно – они сейчас начали поднимать голос против своего теоретика, профессора Герберта Маркузе. Почему?

Оказывается, выступая в Западном Берлине перед студентами, Маркузе сказал:

– Я знаю Руди Дучке и его друзей из СДС. Они много работали, чтобы соединить теорию с практикой. Они работали над этим не месяцы, а восемь долгих лет. Так же интенсивно работали «разгневанные студенты» во Франции, но создали ли они своей практикой базу для солидной теории? У меня такого впечатления не создалось.

Когда кто-то из слушателей спросил Маркузе, не перешагнули ли западноберлинские студенты в своих акциях установленные философом теоретические и тактические рамки, он, подумав, ответил:

– Возможно, и перешагнули. Студенты выступают очень резко, ибо они потеряли надежду. Безнадежность может быть мотором эффективных политических акций. Негры в американских гетто сжигают свои собственные дома. Это не революционная акция, это выражение безнадежности...

А когда в конце встречи его спросили, чего же следует ожидать в будущем, Маркузе с горечью ответил:

– В настоящее время нельзя ожидать ничего иного, кроме больших манифестаций.

Он сказал об этом студентам, которые ищут выхода из тупика – морального, политического, экономического.

Он сказал это ребятам, которые выходят на манифестации чуть не каждую неделю. Это хорошо, когда «вновь», а если это стало привычной каждодневностью?..

– Мы убедились, – сказал мне Юрген Хорлеман, – теперь нам нужны другие учителя...

Я взял у лидеров СДС маленькую книжечку – некий парафраз цитатника, брошюрку Маркузе. Его теоретические положения по поводу различных сил оппозиции сводятся к следующему:

Во-первых, пролетариат ныне «перестал быть революционной силой» и «заинтересован в увековечении Системы», в которой он обрел себя, – то есть он заинтересован в «увековечении» капитализма.

Во-вторых, традиционные революционные партии рабочего класса вросли в Систему, в парламент. Следовательно, они стали одной из ее опор.

В-третьих, «реальный социализм» (то есть мы, Советский Союз) помогает своему противнику стабилизироваться и организовываться, ибо он провозгласил политику мирного сосуществования.

В-четвертых, хотя студенты и являются актуальной революционной силой, но они изолированы.

В-пятых, население гетто и различные расовые, национально угнетенные части народов в капиталистических странах также изолированы, а иногда даже втянуты в расовые взаимные распри и поэтому выпадают из борьбы.

Следовательно, всевозможные революционные потенции Маркузе, по существу, отвергаются.

По мнению Маркузе, социализм должен означать «конец погони за прогрессом», признание достаточности достигнутого. Понятно, в существующей действительности для такого социализма предпосылок нет. Отсюда Маркузе выводит необходимость новой, «негативной диалектики», «негативного мышления», отрицания всего и вся...

Видимо, основная ошибка Маркузе заключается в том, что он провозглашает главным врагом не классовое содержание общественной Системы, а ее формы – парламент, профсоюзы, устоявшиеся авторитеты. Я отнюдь против того, чтобы огульно охаивать всего Маркузе. Он пользуется авторитетом среди части умных и честных ребят – левых студентов. Почему так? Во-первых, он в высшей мере популярно – Маркузе блистательный публицист – вскрывает и анализирует антигуманные процессы капитализма. Он разбирает порочность Системы доказательно, но в то же время страстно – это нравится молодежи. Он точен в своем утверждении, что мы живем в мире, по-прежнему разделенном на классы, что буржуа и рабочий – два противостоящих друг другу классовых организма. Во-вторых, молодежи импонирует его утверждение необходимости революции.

Но как только он начинает говорить о методах, тут он проигрывает все, что можно проиграть. Он совершенно не понимает диалектику классовой борьбы, диалектику революции. Он утверждает, например, что сейчас отсутствует материальная база у революционной практики. Он считает науку революции утопией, он призывает к действию, забывая, что неподготовленность революции аукнется разочарованием, откатом молодых сил от идей социализма, усталостью, пессимизмом.

Когда последователи Маркузе – латиноамериканские «городские партизаны» – провели ряд экспроприаций, пошумели на улицах, устроив шумную и никчемную перестрелку с полицией, Герберт Маркузе, выступая в Западном Берлине, сказал: «Детская теория думать, что «партизаны» могут нанести Системе решающий удар. Для этого необходима борьба в метрополиях. И наша задача состоит в том, чтобы именно здесь и вести радикальную разъяснительную работу».

Хорст Маллер, который считает Маркузе одним из своих учителей, – одним из «трех "М"», которым он поклоняется:

Маркс, Мао и Маркузе, – решил выхватить из этой цитаты лишь одну фразу: «Для этого необходима борьба в метрополиях».

Вскоре он начал новую серию налетов «РАФ» в Западном Берлине, Гамбурге, во Франкфурте – и проиграл. Тысячи молодых социалистов отошли от движения...

Встречаясь с ребятами из Внепарламентской оппозиции, слушая их споры (многие спорщики наивные и честные идеалисты), я часто вспоминал философскую концепцию американского ученого «новой волны» – Рейха. Определяя «корпорационное государство», он писал, что существо его заключается в непреклонной прямолинейности. Оно руководствуется единственной ценностью – ценностью техники, которая проявляет себя «в новых организациях», «в эффективности и росте».

«Корпорационное общество, – пишет Рейх, – лишено разума. Оно имеет идею – развитие техники и находится в действии, никогда не останавливаясь, чтобы хоть приблизительно оценить ситуацию и подумать о будущем». (А ведь иметь лишь одну идею – значит быть машиной, устремленной, слепой и жестокой. Довольно страшно представить себе этих молодых ребят, которые так честно думают, волнуются, ошибаются порой, но всегда готовы рисковать жизнью, в столкновении с этой устремленной корпорационной машиной технического действа.)

Беседую с руководителем коммунистов, Председателем Социалистической Единой Партии Западного Берлина товарищем Герхардом Данелиусом.

– Бесспорно, в подоплеке этого нового движения – антагонизм между народом и монополиями. Молодежь понимает, что после второй мировой войны монополисты не сделали никаких выводов. Поэтому студенческая молодежь, которой предстоит получать дипломы и служить, ставит перед собой вопрос: кому же придется отдать свои знания и таланты? Молодежь надо понять: они не хотят служить нацистам, старым и новым. Но следует точно понять сложность процесса – в институты имеют возможность поступить лишь дети среднего сословия. А никто так не падок на левую фразу, как мелкие буржуа. У многих студентов фантастические представления о революции, социализме, о будущем. Они наивно полагают, что революцию

можно искусственно подтолкнуть. Особенно много вреда движению студентов приносит политика пекинских раскольников – это очевидно. При этом, конечно, наивно ставить на одну доску все движение молодежи и движение СДС. Первого мая на улицы Западного Берлина вышли восемь тысяч студентов и несколько десятков тысяч молодых рабочих вместе со своими отцами и старшими братьями... Мы, коммунисты, проводили и впредь будем проводить политику сотрудничества с участниками молодежного движения, не прекращая ни на минуту идеологической борьбы с теми маоистскими и троцкистскими лозунгами, которые пытаются привносить чуждые этому искреннему в своей основе движению...

Это верно – движение искренне в своей основе, оно рождено обществом капитала, оно бунтует еще не совсем осознанно, и пути борьбы далеко не всегда точно выверены. Движение переживает определенный кризис – уже долгие месяцы юноши и девушки борются за реформу высшей школы, а реформа так и не проведена в жизнь. Сейчас вопрос стоит так: смогут ли участники движения выйти из изоляции, наладить контакты с рабочим классом, прогрессивной интеллигенцией; смогут ли они создать свою программу и организацию?

Если окинуть взором те полмесяца, что я провел вместе с левыми студентами, могу ответить – злаков в этом движении больше, чем плевел, хотя те плевелы, которые мне встречались, ядовиты. И чем скорее эти сорняки будут вырваны молодежью из своих рядов, тем скорее она сможет осознать ту правду, которую ищет.

1968 – 1973

Япония — Сингапур — Борнео — Австралия

Часть первая

Весна шестьдесят девятого. Лечу в Токио. Это моя вторая командировка в качестве специального корреспондента «Правды». Первая была год назад – в сражающийся Вьетнам.

Правдисты не ограничивали меня узкими темами. «Работай для газеты так, как если бы ты собирал материалы к роману. Человеческие характеры, рассмотренные в условиях конкретных проблем, – так можно определить цель твоей поездки», – напутствовали в редакции. (Не могу без благодарности вспомнить мою первую «Альма матер» – Институт востоковедения: помимо великолепной и широкой языковой подготовки, институт наш дал своим питомцам широкое «страноведческое» образование, привил постоянную любовь к Востоку.)

В Москве снег, пурга. Мои товарищи завистливо вздыхали:

– Через двенадцать часов ты окажешься в Стране восходящего солнца, будешь загорать, там ведь жарища, весна.

Сосед по самолету, старик японец, после ужина достал из кармана изящную коробочку, открыл ее, надел на глаза черную повязку и стал похож на пирата. В уши он засунул маленькие черные тампончики и отключился таким образом от окружающего мира, от звездного неба, от монотонного рева моторов и сразу же уснул. (Этот «набор тишины» не дорог, продается во всем мире и запатентован в Японии. Борьба с шумом там поставлена на деловые рельсы. Они уже не дискутируют проблему, они уже делают тишину.)

В дорогу я взял с собой книгу Клада Фарера, изданную в Петрограде в начале двадцатых годов.

«Мне не думается, что над Тихим океаном в будущем неизменно будет сиять ясное солнце, – писал Фарер. – Тем хуже для тех, кто вывел Японию из ее векового покоя, она бы добровольно его не нарушила. Если суждено, чтобы Тихий океан стал ареной мировых событий, то в этой международной драме самую победоносную роль, я уверен, сыграет Страна восходящего солнца. Пройдет несколько лет, и Япония не удовольствуется больше третьим местом».

Это писал человек, о книге которого в предисловии к русскому изданию сказано: «Увлекательная и изящная салонная болтовня. Не рекомендую знакомиться с бытом, государст-

венным устройством и историей далеких азиатских стран исключительно по очеркам Фарера. С таким же успехом можно было требовать обстоятельных сведений по ботанике от мотылька, перепархивающего с цветка на цветок».

После полутора месяцев, проведенных в Японии, я убедился, что «мотылек» дал интересную перспективу будущего, «угадав» его пятьдесят лет назад. А это уже приближение к Уэллсу. Видимо, писатель не столько изучает, сколько ощущает проблему другой страны: по таинственной разности языков, по скульптурному, трагическому безмолвию нищего старика на ночной площади, по птичьим голосам девушек ранним утром, по манере угощать вином, гонять на машине, писать стихи – то есть по приметам несерьезным для политика или ученого, которые выводят перспективу, основываясь на финансовых отчетах крупнейших банков, на персоналиях политических руководителей, устремленности международной и внутренней торговли и на «раскладе» партий на скамьях парламентов и конгрессов.

Писатель угадывает будущее некими «обескоженными» восприятиями.

Я люблю перечитывать Стендаля. Он ведь тоже «обескоженный» политик, ибо он писатель. (Вспоминаю некоторые его предсказания: «Виной всему короли, они своей неловкостью накличут на нас республику». Или же: «Безопасность богачей обусловливается отсутствием отчаяния у бедняков».)

Вылетел я из Москвы ночью, встретил рассвет над Омском и лишь днем прилетел в Токио.

Было облачно, холодно, с моря дул ветер, температура была нулевая. А пальто свое я оставил в Шереметьеве – всезнающие стюардессы уверяли, что я там буду изнывать от жары!

Чиновник таможни минут десять бегал по залу, пытаясь найти коллегу, говорящего по-английски. Нашел. Однако коллега не «говорил», а «бормотал» по-английски. Понять его было невозможно, и мы перешли на язык жестов. («У тебя не будет проблем с языком, – уверял мой знакомый, съездивший в Японию как турист, – каждый второй в Токио знает наизусть Шекспира».) Чиновник, «знавший» английский, ткнул пальцем в блок сигарет и категорически покачал головой.

– Why? – спросил я. – Почему?

– Yes, – решительно ответил чиновник и добавил: – No...

После чего сигареты мои он отобрал. (Через шесть лет я вновь прилетел в Японию и поразился тому, сколь распространенным за эти годы стал английский язык: в ряде школ его изучают с первого класса.)

Аэропорт Ханеда не производит такого оглушающего впечатления, какое производит громадный дворец путешествий – аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, или маленький, с потушенными фонарями, настороженный, дважды горевший аэропорт Ханоя, или аэропалатка на станции «Северный полюс-8», или отстраненно-гордый своими великолепными пропорциями аэропорт Орли, или одноэтажный уютный домик в центре Памира, в Хороге...

Но когда я въехал на громадный «хайвэй», словно бы отринув аэродром – границу, – вот тогда я был потрясен средоточием трех- и двухэтажных дорог, мощными развязками, взлетами и падениями бетонных плит, по которым с гигантской скоростью неслись стада машин. Они были похожи на диких коней в прериях: такая же слепая, неосознанная, а потому мощная устремленность. Здесь нет преград и светофоров. Движение утверждает себя не столько в быте, сколько в человеческой психологии. Лучшие трассы Японии готовят людей к веку сверхскоростей.

По дороге в центр можно съехать с хайвэя и неожиданно попасть в прошлый век, в старую, деревянную Японию махоньких двухэтажных домиков. Но потом тебя снова неминуемо засосет в какой-нибудь тоннель, ты вырвешься наверх и окажешься на другом хайвэе, и тебя понесет дальше, и покажешься ты себе песчинкой, попавшей в водоворот, и все время будешь ждать – когда же начнется водопад и тебя закрутит, сомнет и швырнет на погибель – вниз...

Два дня ушли на телефонные звонки, короткие «подготовительные» встречи, беседы с коллегами, «обязательные» визиты. (Литературная работа – воспитатель самодисциплины, кровавой, подчас самоуничтожающей: если задумал работу, если решил написать, тогда включается некий внутренний счетчик, неумолимый и жестокий, который не дает покоя ни днем, ни ночью, пока работа не сделана – хотя бы вчерне. Нет у тебя задания редакции – передавать ежедневные репорта-

жи; нет договора на книгу с издательством или на сценарий с киностудией. Есть задумка – она и погоняет, она и не дает тебе покоя.) Я, естественно, представлял, что меня будет интересовать в Японии прежде всего, но намеренно не составлял «железной» программы, ибо тема «Технический прогресс и психология» всеохватна и труднопрограммируема. Подчас мы оказываемся пленниками всякого рода программ: «Посмотрите налево, посмотрите направо!» Тогда уж лучше ехать в туристскую поездку – никаких тебе забот, сиди себе в автобусе и верти головой, как птица...

– Глаза, желудок и ноги, – сказал Канеко-сан, ответственный секретарь Комитета содействия переводам и изданиям советских книг в Японии, – это те главные силы, которые помогут вам навсегда запомнить первые токийские вечера.

Мы взяли такси и поехали в Гинзу.

...Было дьявольски красиво: моросил дождь, огромные рекламы опрокидывались в мокрый, полированный асфальт, высвечивались в стеклах и капотах машин, в темных окнах громадных домов и в антрацитовых глазах японцев.

– Думать о будущем надо в прошлом, – улыбнулся Канеко, остановив такси. – Мы же сейчас обязаны жить настоящим. Я хочу, чтобы первым «фактором настоящего» для вас были «суси».

Зашли в маленькую закусочную. Их в Японии называют на французский манер – «бистро». Все в дереве. Дерево – предмет поклонения японцев. Очень красиво сделаны эти «бистро», очень экономно. Улыбающаяся девушка обязательно принесет целлофановый пакетик. Вы разорвете его и достанете горячую влажную салфетку. Вытрете руки и лицо – гигиена и чистота прежде всего.

Суси – это сырая рыба (или скат, икра, кальмар, осьминог) с рисом и соевым соусом. Рыба только что привезена с рыбного рынка. Это тунец. Вкус трех компонентов – тунец, рис и соя – поразителен. Так же поразителен молодой паренек в крахмальном белом пиджаке, который делает эти суси у вас на глазах. В формочки из нежной рыбьей кожуры кладется красная икра, потом рис. Все это быстро заворачивается, мнется рукой. Рука у паренька стерильна, с оттенком желтой синевы, как у хирурга. Вы загадываете желание (этим надо

всегда пользоваться, когда пробуешь новое, неведомое раньше блюдо), кладете суси в рот и ощущаете, что японская кулинария отнюдь не обжорливое, но высокоизящное гурманство.

Канеко-сан предложил съездить в совершенно другой токийский район – в Асакуса. «Здесь, в Гинзе, – буржуа, там – гангстеры». Я попросил его провезти меня в метро. Такси, а тем более в другой стране, есть нечто изолирующее тебя от новых восприятий – своей скоростью, толстыми стеклами и улыбчивым шофером, который не понимает ни единого слова. В метро больше видишь, это некий сгусток впечатлений, особенно после того, как махнул из Европы в крупнейший город не только Азии, но и мира.

Я убежден, что предусмотри путешественник два дня на поездки в метро, он бы получил больше впечатлений, чем если бы дотошный гид таскал его по туристским, заезженным маршрутам на автобусе. Туристские маршруты невольно нивелируют уровни – и гении и праздношатающиеся смотрят одни и те же места.

Японское метро – черно-белое. Это впечатление создают мужчины. Вся Япония носит зимой черные костюмы, черные пальто, черные шляпы, черные кепи. И все черноволосые.

«Черт, – подумал я, – хоть бы один рыжий...» Женщины тоже в основном носят черное. И только вдруг на какой-то станции войдут две девушки в традиционных средневековых кимоно. И сразу же изменятся глаза пожилых японок и японцев, появятся в них нежность, и зависть, и грусть по ушедшим годам, и жалость: раньше кимоно было повсюду, сейчас оно – словно живое лицо на стремительном маскараде масок.

В Асакуса было тихо и пусто. Не было здесь реклам, не было шумной толпы. Неподалеку от метро высился громадный буддийский храм Каннон.

Рынок, через который ведет дорога к храму, воистину громаден. Торговля уже кончилась, двенадцатый час ночи. Владельцы маленьких лавочек – многие из них и живут здесь же – мыли тротуар около дверей жесткими металлическими щетками, а потом протирали насухо тряпкой.

Здесь можно купить все. Здесь выставлены карабины, зонтики, бульдозеры, пистолеты, зажигалки, порнография, мотоциклы, костюмы, кимоно, детские игрушки.

Около храма, в темной тишине, несколько человек истово молились. Они недвижно стояли на коленях перед закрытыми воротами Каннона.

Рядом с храмом – подсвеченный фонтан. Прожектор подчеркиваюше высвечивает сложный пульт электроуправления громадным фонтаном, который скрыт под стеклом. Слуги Будды, сверстники технической революции, не хотят конфликта со «временем», они «обегают» технический прогресс, стараясь каждый новый рывок человеческой мысли подчинить догме, а рядом с храмом – улица, на которой показывают так называемые «подпольные фильмы». Здесь и фильмы громадного социального звучания, и порнография.

– Я бы советовал вам, Юлиан-сан, зайти в эти кинотеатры, но только не очень поздно, – сказал Канеко. – В этом районе Токио по вечерам бывать весьма опасно. Посмотрите политические картины, особенно связанные с проблемой Окинавы. Но возвращайтесь в метро не позже десяти часов.

...Заглянули в маленький японский кабачок.

– Все-таки Гинза есть Гинза, – сказал Канеко. – Это, как ни крути, космополитично, потому что закусочная, в которой мы с вами были, хоть и исповедует традиционную кухню, но люди там не снимают ботинок, сидят за баром или стоят, вместо того чтобы устроиться, поджав ноги, на «тотами». А мы сейчас вошли в настоящую Японию.

Мы сняли ботинки у входа и сели на белые подушечки, подломив под себя ноги. Нам принесли не просто горячие салфетки в целлофановой упаковке, но особые, пропитанные благовониями, – вытереть лицо и руки. Потом подали зелень и сырую рыбу на большом деревянном блюде, включили газовую горелочку, установили ее на деревянной подставке и предложили нам самим приготовить уху «чири» из рыбы.

Выпили горячее, изумительно вкусное рисовое саке из двадцатиграммовых рюмочек (они были чуть больше наперстка).

Я смотрел на лица людей, окружавших нас. Было шумно, весело. Я вспоминал деда и начинал понимать, почему он так много и с такой увлеченной нежностью рассказывал мне о Японии.

Дед, в частности, говорил, что японцы – самые чистоплотные люди, каких он только видел в жизни. Дед жил в маленькой комнатке с подслеповатым окном, в огромной за-

хламленной старой московской коммунальной квартире с темным коридором, заваленным дровами. Но в своей комнатке он все время, воюя с бабкой Марьей Даниловной, наводил чистоту, вытирал пыль и требовал, чтобы полотенца были крахмальные – «как в Японии». Я думал, что дед, как это бывает с людьми, единожды побывавшими за границей, все несколько утрирует и живет своими представлениями, а не реальностью. (Дед был в Японии в плену в 1905 году и привез оттуда часы Павла Буре – квадратные, серебряные, с барельефом Александра Македонского на крышке. И у него образ Александра Македонского всегда ассоциировался с Японией.)

Только после пятой рюмки саке Канеко, прочитав строки из Омото Табито: «Суемудрых не люблю, пользы нет от них ничуть, лучше с пьяницей побудь, он хотя бы во хмелю может искренне всплакнуть», – спросил, какую бы я хотел организовать программу в Японии. Я начал рассказывать ему свои наметки. Он записывал иероглифами, очень легкими и быстрыми. Я подумал, что японец должен во всем идти от начертания. От символа – к мысли. Произношение не имеет того значения, какое оно имеет для европейца, который вкладывает в произношение множество нюансов. Поэтому и театр наш так разнится от театра Востока. Когда мы пишем, говорим, мы изображаем звуки. Голос помогает нам выразить чувства. А когда писал Канеко-сан, мне показалось, что он как бы срисовывал свою мысль с натуры.

Рано утром начались звонки. Это «бумеранги» двух первых дней в Токио. Да и Канеко-сан оказался человеком обязательным. Вчера я связался по телефону с моими давнишними знакомцами-журналистами; нас вместе гоняли в бомбоубежище год назад в Ханое. Ребята тоже предлагают интересную программу. Фоторепортер из «Асахи» вместо обязательного приветствия продекламировал:

– «И поля и горы – снег тихонько все укрыл... Сразу стало пусто!» Но я приду вечером, и тебе не будет пусто, и мы обговорим план встреч на эту неделю...

Вскоре я был принят послом О.А.Трояновским. Просил его помочь в организации встреч с руководителями газет, те-

левидения, радио. Потом встретился с профессором экономики университета Васеда. Разговор был интересным. Смысл его сводился к тому, что «обреченному на тотальную политизацию западному миру» японцы противопоставляют «акционерное общество» ста миллионов трудолюбивых производителей, управляемых дюжиной экономических воротил – старцев в скромных куртках, которые диктуют вполголоса свои распоряжения. Политическая власть в Японии заключена в скобки. Она является приводным ремнем между хозяевами фирм и массой избирателей.

Из университета возвращался в отель пешком поздно ночью. Поражает размах строительства. Токио ночью оживает. Как только клерки покидают свои оффисы и начинают пустеть улицы, так сразу же на перекрестках появляются лампочки, предупреждающие автомобили о том, что ведутся работы. Приходит огромное количество рабочих в касках, с маленькими микрофончиками в руках. Криков: «Давай, давай!» – нет. Работы радиофицированы. Указания по радио идут от инженера к мастеру, от мастера к рабочим.

Когда смотришь на работающий ночной Токио, на мощный ритм города (в ночи это особенно заметно), убеждаешься лишний раз в неодолимости безликого всевластного молоха – индустриального прогресса. Особенно тревожно эта проблема просматривается в условиях японского капитализма. Десять лет назад не было ни транзисторных микрофонов, ни гигантских дорожных машин, управляемых электронными системами; человек был – еще десять лет назад – над техникой, он был выше ее разумом. Сейчас японский рабочий (десятичасовой труд, отсутствие льгот для образования, высокая цена на книги) «бежит» за техникой, тщится понять ее, иначе он лишится работы, а это – конец, гибель, крах. А кибернетика и электроника все более и более неуправляемы, «самоорганизованны», они выходят из-под контроля. Революция в науке требует своего философского обоснования, – иначе она подомнет людей и начнет корежить их, приспосабливая «для себя». Может ли философия империализма дать такого рода серьезное обоснование? Приложимы ли новые формулы науки к общественным взаимоотношениям в странах капитала? Абсурдно ли понятие – кибернетическая и электронная

неуправляемость? Чем дальше, тем важнее будут вопросы: что главенствует – человек или машина? Высокая национальная гордость – или слепой, чванливый национализм?

Казалось бы, фантастическое развитие бытовой техники должно нивелировать личность. На самом деле это развитие пока что стимулирует развитие личности, соприкасающейся с техникой непосредственно, с последующим, уже осмысленным подчинением или неподчинением этой личности идее дальнейшего прогресса. И потом – прогрессу уже тесно на земле, он ушел в космос. Почему? Земля мала? Отнюдь. Разность талантов. Среди нас появились люди, живущие в следующем веке. Эти люди смотрят те же фильмы, что и мы, едят тот же хлеб, что и мы, носят костюмы того же покроя. Но живут они иными категориями, и в этом, возможно, вольтова дуга будущих потрясений, которые придут в мир с дальнейшим развитием научного прогресса.

Все это пришло мне на ум, когда я, прижавшись к стене дома, чтобы не мокнуть под дождем, наблюдал за тем, как слаженно и четко работали строители неподалеку от Гинзы, в самом центре Токио, среди пузатых громадин банков и концернов.

С утра повалил снег. Вот тебе и токийская весна! Японцы удивлены. Тепла сейчас никто не ждал, но и снега тоже.

Жду телефонных звонков. Спасибо Роману Кармену – дал свою портативную машинку. Работает она, правда, с грехом пополам, но все же работает. Самодисциплина – это когда каждый день хотя бы две страницы. Если пишешь от руки, возможны накладки: не чувствуешь, много ли написал, а считать количество знаков мы не приучены. И хотя эта традиция идет от Джека Лондона, через Хемингуэя, мы как-то боимся «цифири» в изящной словесности.

Первую половину дня метался по визовым делам. Нужно было разыскать посольство Австралии, посольство Сингапура, посольство Малайзии, посольство Филиппин, а в этом гигантском городе найти посольство – даже по справочнику – дело сугубо трудное. (Поскольку отсюда я должен лететь по всей Юго-Восточной Азии, целесообразно запросить визы заранее.)

Конечно же забыл в Москве фотографии, – это обнаружилось в филиппинском посольстве. Поехал в универмаг, где есть

«моментальное фото». (У входа в универмаг стоят хорошенькие девочки и приветствуют каждого входящего: «Как хорошо, что вы к нам пришли!») Затискиваешься в маленькую кабинку, охорашиваешься, опускаешь деньги, нажимаешь кнопку и через минуту получаешь фото. (Я не обольщаюсь по поводу своей внешности, но «моментальное фото» изобразило меня старым, оплывшим и обросшим пропойцей-гангстером. Человеку с такой физиономией давать визу рискованно. Я бы лично не дал.)

Зашел в банк – получить деньги по чекам, которые мне выдали в Москве. Потрясли меня открытые сейфы: увидел воочию, что такое «бронированный сейф» (мой спутник смешно сказал: «перенабуханный банк»). Часто иностранец определяет явление точнее, чем мы. Мы порой ищем единственно верное определение, а он в данном случае передал чувство, а не мысль – «перенабуханный банк».

Сейфы производят впечатление устрашения: с круглыми ручками, с наборами шифров, сверкающие холодной медью и сталью. Ты явственно чувствуешь, как тяжело и медленно открывается дверца сейфа. В Японии, как, впрочем, во всем капиталистическом мире, банк – это «храм». Банки занимают самые лучшие дома, внутри все холодно, мощно и торжественно.

Возвращаясь из банка в отель, заблудился. Паренек-студент (его звали Накамура) полчаса ходил вместе со мной в поисках отеля «Токио-грандо». Он заботливо держал свой зонтик над моей головой и шлепал по лужам только потому, что незнакомый человек обратился к нему на улице с вопросом. Как я потом убедился, это типично для Японии.

...Поехал в Клуб иностранных журналистов. Если и не аккредитоваться – это дорого, – то хотя бы договориться о пользовании библиотекой. Здесь удобно встречаться с людьми, можно довольно дешево пообедать. Здесь бывают интересные беседы журналистов с политиками, бизнесменами, с военными, дипломатами; здесь выступали У Тан, Неру, Сато, премьеры Австралии, Филиппин, Пакистана.

(В центре, около полицейского участка, тревожно светится электрическое табло: «Сегодня на улицах погибло 3 и ранено 270 человек». Табло пугает людей. Мы часто «щадим» нервы пешеходов, а зря. Лучше напугать, чем потом носить передачи в Институт Склифосовского.)

Журналист из «Асахи», с которым я разговорился в библиотеке, подбирая материалы к теме «Промышленный прогресс», заметил:

– Мы не хотим изобретать. Ломоносова у нас в ближайшее время не предвидится. До нас изобретено слишком много, нам следует научиться делать так, как не умеет делать никто в мире. Наша главная задача – доводить изобретенное другими до суперкондиции. Стать «руками» мира тоже не так уж плохо. Мы продали американскому концерну «Интернейшнл бизнес машинз» техническую документацию для изготовления более совершенного запоминающего устройства. Металлургическая компания «Тайхейо» продала фирме Круппа свою технологию изготовления чугунных валов. На будущее мы планируем для каждого подданного солнечную батарею и автомобиль, не выпускающий отработанных газов и не производящий шума. А к 2000 году мы надеемся научиться управлять погодой, точно предсказывать землетрясения и с помощью медикаментов изменять человеческий характер. (Ну-ну!)

Познакомился (здесь, в клубе, знакомства завязываются быстро) с седым громкоголосым стариком, американским журналистом Дэйвом Конде. Он – корреспондент гонконгского «Фар истерн экономик ревью» и нескольких канадских газет. Много пишет для японской прессы. Костит «ястребов» за жестокость по отношению к инакомыслящим и за войну во Вьетнаме. Одни американцы считают его патриотом; другие говорят, что он псих; третьи утверждают, что он красный. Более всего Конде интересуется целенаправленностью политики Вашингтона и Пекина по отношению к Токио.

...В досье клуба мне предложили огромное количество литературы по Токио. Справочники здесь составлены блестяще. Описаны районы города; составлен перечень всех авиационных компаний, туристских бюро, указаны наиболее интересные дни в году, когда проходят фестивали.

Среди национальных торжеств меня заинтересовал «праздник возраста», 15 января, – праздник молодых людей, «которые вошли в возраст», то есть которым исполнилось двадцать. Специальные ритуалы подчеркивают уважение к новому поколению в Японии и к его роли в национальной,

экономической и культурной жизни. 15 сентября празднуют день «почтения к возрасту». Это – в честь стариков из родни.

Интересно торжество 6 января: в этот день в городах проходят парады пожарников. Почтение к пожарным – традиция деревянного Токио (сейчас деревянный Токио можно найти лишь на далеких рабочих окраинах), который в прошлом часто горел.

Японские праздники отмечаются семьями. Не государством, не правительством, не муниципалитетами, но именно семьями. (Потом я убедился, что Япония – страна, составленная из семейных ячеек. Японская культура, японская работоспособность, японская воспитанность, японская грациозность – все это идет от семьи, от традиции.)

Справочники – это реклама. Подчеркивается, что Токио – шестой город мира по торговле. В 1968 году, например, Токио экспортировал товаров на 30 миллиардов долларов. В городе более 30 тысяч такси. Здесь лучшая в мире система райлвеев. Монорельсовая дорога больше, чем в Лос-Анджелесе; за десять минут она привозит вас из аэропорта в город. Это примерно двенадцать километров. А экспресс «Хикари» за три часа и десять минут доставит вас в Осака. Это 550 километров (Я ездил на этом экспрессе – ощущение совершенно поразительное, словно ты летишь на бреющем полете.)

Билет в метро стоит от 30 до 60 иен. Справочник предупреждает, что, садясь в такси, вы за «факт посадки» платите 100 иен, за каждые первые два километра – тоже по 100 иен, а далее за каждые 450 метров вы платите всего лишь 20 иен.

Япония – страна, которая не знает чаевых. Шоферы такси не понимают, когда вы оставляете им 20-30 иен. Так же вас не может понять ни парикмахер, ни официант в закусочной, куда вы зашли пообедать. Это тоже идет, как мне кажется, от семьи, от семейной гордости.

Справочники в Клубе журналистов собраны совершенно разные, рассчитанные на множество профессий. Есть справочники для бизнесменов, военных, туристов. Описываются все районы города: Гинза, Асакуса, Симбаси, Акасака. Говорится, например, что Акасака – это наиболее фешенебельный район Токио. А район Роппонги определяется в справочнике для военных так: «Здесь поздно ночью девицы приобретают рабочие познания в английском и других языках».

...Лондонский журналист, заметив, как я тщательно сортирую материалы по «партиям» Японии, хмыкнув, достал из кармана трубку, набил ее пахучим табаком, пустил к потолку тугую струйку голубого дыма и сказал:

– У нас партия, борющаяся за власть, отличается от той, которая стоит у власти, лишь тем, что у нее нет власти. Получив ее – в эпоху расщепленного атома и ракет, – оппозиционная партия, если руководит ею не безумец, ничего кардинального внести не сможет – ни в политику, ни в экономику. Лучшая политика в век технотроники – это политика «статус кво»...

...Глядя на посетителей, я невольно подумал о том, как интересен генезис мужской одежды. В средние века мужчины дрались на турнирах, танцевали и жуировали, а потому фасонили. Красивые одежды, турниры и танцы – аксессуары «изящной» войны того времени. Сейчас только идиоты изощряются в немыслимости костюмов. Техника предлагает мужчинам завоевывать женские сердца не замысловатым падекатром и не кружевными воротниками. К услугам мужчин водные лыжи, гоночные мотоциклы, спортивные планеры, альпинистские восхождения и «бег трусцой». Новыми мужскими фасонами интересуются, – мне сдается, – люди «без царя в голове». Теперь не проламыванием черепа сопернику можно пленить женщину, но технической умелостью. Смастерить для прогулки в лесу маленький транзистор, научиться управлять мотоциклом или мотороллером по лесной тропинке стало значительно более романтическим в глазах прекрасного пола, чем мордобой на арене (средние века) или в подворотне (наши дни). Я помню, как мы студентами пленяли девушек умением отлупить соперника. Теперь это «не проходит». Женщины тоже стали прагматиками. Любить могут кого угодно, но замуж норовят выйти за умного – пусть даже урод, слабосильный и от рождения близорук.

Между прочим, отсюда – слияние спорта с навыками овладения техникой. Сейчас разум так много дал миру, что надо научиться толково пользоваться его плодами. Голова плюс умелые руки плюс уважительное отношение ко времени могут дать человеку максимум из отпускаемого обществом.

Сегодня был в парламенте, потом в министерстве иностранных дел, разговаривал о текущем моменте. Наша тяга к со-

зерцательной, философской неторопливости здесь не проходит. Конкретность вопроса предполагает такую же конкретность ответа. Если вы ставите вопрос неконкретно, вам так же неконкретно ответят. Стоит вам поставить вопрос жестко, так же жестко и отвечают. Мы не всегда готовы к этому американскому стилю разговора, у нас, русских, другая традиция.

Из МИДа поехал в министерство образования, а оттуда – в школу и университет. В школе удивился тому, что доски в классах вогнутые. Спросил об этом педагога. Тот в свою очередь удивился моему вопросу.

– Чтобы солнце не отсвечивало, – ответил он, – чтобы все написанное на доске было видно детям отовсюду, с любой парты.

Мои собеседники – в университете и в школах – отмечали, что японские учащиеся и студенты всегда хотят быть первыми: «Честолюбие и усердие в учебе помогли Японии совершить экономическое чудо».

Подарили мне небольшую брошюрку о проблемах образования в Японии. Некоторые ее положения очень интересны. Там, в частности, говорится, что в Японии девятилетнюю обязательную школу посещает громадный процент детей школьного возраста. Учителя снижают требования, чтобы слабые ученики также могли успевать. Никто не остается на второй год. Таким образом, класс, как единая группа, существует все девять лет, вплоть до первого процесса отбора – приемных экзаменов в полную среднюю школу.

Руководящая прослойка в политике, экономике и администрации набрана прежде всего из выпускников лучших государственных университетов (бывших императорских). Большинство членов правительства и примерно треть членов парламента окончили Токийский университет.

Японские концерны «Мицубиси», «Сони» и «Хитачи» набирают две трети своих служащих из числа выпускников большой тройки японских университетов. Больше половины министров послевоенных кабинетов учились в Токийском и Киотском университетах или университете Хитоцубаси.

Государственные университеты способны вместить всего четверть потенциальных студентов. На каждого выдержавшего вступительные экзамены приходится от шести до одиннадцати провалившихся.

Доступ ко всем ступеням образования в Японии открыт тем детям, которые отличаются особыми способностями и усердием. Дети со средними способностями попадают в университет только в том случае, если у них богатые родители.

Монополия знаменитых университетов, растущий спрос промышленности и небольшие размеры пенсии по старости вынуждают японцев вступать между собой в яростное соревнование по учебе. Диплом студента – это гарантия высокой пенсии в старости.

Усвоить материал для сдачи экзаменов (в школе особенно) можно только зубрежкой. Сейчас, правда, здесь носятся с проектом организовать радиошколу и телевизионный университет. (ТВ должно быть повернуто к проблеме «Дитя и прогресс».)

Я вспомнил мою старшую дочь Дунечку. Как-то в январе она пришла из школы и спросила: правда ли, что надо поспать друг с другом, чтобы родились дети? Она спросила об этом спокойно, ей ведь сказали в школе, и сказали ее одноклассники. И, естественно, считала она, ничего предосудительного в этом вопросе быть не может. Оказывается, дети накануне смотрели фильм по телевидению. Кто-то из актеров произнес фразу: «Вот, поспала она с ним, а теперь ребенка ждет...» Считается, что после девяти часов вечера дети спят. А дети не спят после девяти часов вечера, потому что они до одиннадцати должны решать алгебраические и геометрические задачи, ибо объем знаний, который им предстоит усвоить в классе, громаден. То, что мы изучали в девятом классе, Дуня изучает в шестом. Все сдвинулось по крайней мере года на три.

Воспитание детей в эпоху телевидения и компьютеров – сложнейший вопрос. От этого зависит будущее мира. Сложность и интерес будет заключаться в том, чтобы «засадить» в машину правильно понятую информацию. Революция математики занятна: если раньше требовалось найти один ответ, то теперь талант ученого заключается в том, чтобы сформулировать как можно больше вопросов. Чем больше интересных вопросов будет сформулировано (раньше молили: «Господи, ответь же мне!» – ныне просто нажимают кнопку ЭВМ), тем интереснее получится ответ ЭВМ. Так, может быть, необходимо изменение программы обучения в школе? Большая спе-

циализация по призванию? Важно научить ребенка смело рассуждать. Вызубрить теорему куда как спокойнее...

В Японии к проблеме обучения относятся серьезно. Есть свои находки. Проблем, впрочем, больше нерешенных. Кое-что в методике мне очень понравилось. Например, учеников четвертого, пятого и шестого классов, когда проходят ботанику, учителя уводят из школ в парки – особенно во время цветения сакуры. Занятия предметны. Но запоминаются не только пестики с тычинками, но и красота родины. Когда проходят предметы, связанные с морем, – это и география, и ботаника, и зоология, – учеников вывозят на побережье. Учитывается фактор ребячьего интереса. И при этом: кто и когда забудет урок о цветении сакуры, проведенный в парке, со смехом и с весельем? И старшего, учителя, всю жизнь будут помнить с нежностью, и никогда не забудут цветение сакуры – единственное в мире.

Мне стало обидно, что Дуняшка знает наше бабье лето и березовую, синюю, беззвездную, неистовую, капельную, журавлиную весну лишь по описаниям в учебнике: ведь с сентября по июнь она сидит за партой.

Школа нивелирует детей. Бетховену было бы, видимо, несладко на уроках химии, ходить бы ему, бедолаге, в двоечниках. Но он – гений, он – одержим, он бы вынес издевательства одноклассников и презрение учителей («тянет класс назад»). А как быть с талантом? Гения сломать нельзя, талант (живописца, который не в ладах с физикой, математика, который не ладит с историей), увы, можно. В ряде американских школ экспериментируют: после четвертого класса дети выбирают те предметы, которые им интересны. По-моему, это перспективный поиск. Мы ведь не заставляем (за исключением малоинтеллигентных, деспотических родителей) идти выпускника школы в тот институт, который мы, старшие, считаем более интересным. Почему же мы так несправедливы по отношению к десятилетним? Время-то другое, оно – убыстрилось, дети сейчас совсем иные...

Восемь часов в неделю в Японии отведено японскому языку. После девятилетнего обязательного обучения дети должны знать 881 иероглиф. После окончания средней школы они должны знать 1850 иероглифов, а хороший японский словарь содержит 40 тысяч иероглифов.

На вступительном экзамене в университет Тодай контрольный вопрос по политическим и экономическим наукам гласил: «Объясните функцию центрального банка в 509 иероглифах». По истории экзаменующийся должен был ответить на вопрос: «Какой видный публицист, из какой газеты, поддержал русско-японский мирный договор и подвергся нападению толпы?»

Согласно результатам опроса, проведенного в семи школах, большинство учеников недовольны программой.

Семнадцатилетние усматривают в системе преподавания орудие, «вынуждающее нас одобрять существующее положение и изолирующее тех, кто критикует его». Ученики требуют, чтобы система преподавания учила самостоятельности и воспитывала способность делать открытия, но учителя цепляются за методы зубрежки. Старая гвардия не может перестроиться по-новому.

(Жалованье учителя в Японии невысокое. Следовательно, учителями становятся прежде всего те ученики, которые не смогли пробиться в инженерию или юриспруденцию.)

Выпускник высшего учебного заведения, как правило, выбирает не профессию, а фирму. Он заранее морально готов к переподготовке по специальности на предприятии, где он будет работать. Фирма не ценит специалистов с докторской степенью, если они не получили подготовку, отвечающую ее требованиям. Существующая система требует таких работников, которые могут приспособиться. Подчинение требованиям фирмы становится условием для материального обеспечения.

Больше, чем в других индустриальных странах, японские студенты протестовали против воспитания их в качестве «слуг промышленности».

...Пришел Накамото-сан. Он переводил несколько моих повестей. Хорошо знал Романа Кима, внимательно следит за рассказами Нагибина, любит прозу Быкова, Симонова, Бондарева, Шукшина. Он – редактор журнала «Изучение русского языка и советского театра» и преподаватель Института театрального искусства. Накамото пригласил меня в театр «Модерн арт» (по-японски это звучит: «Дзикан се гекидзе»).

...Программа составлена любопытно. Сначала показали занятную инсценировку повести Спингла; инсценировщик –

славный парень, актер и режиссер Дзюн Идзима; пьеса называется «Свинцовые отношения». Героиня – наивная девушка, старающаяся выполнять все желания людей. Около нее два человека: одному она хочет помочь скорее умереть, а второму – научиться писать хорошие стихи. Актрису зовут Сима Сумико, ее убивают в конце концов за доброту и наивность. Доброта и наш мир – понятия несовместимые, таков главный смысл пьесы. Актеры, играющие вместе с ней, – Мидзута Син и Хигаса Дзюн.

У входа в театр – ни афиши, ни реклам. Театр относится к числу так называемых «подпольных». Несколько ступенек ведут в подвал. Кассы нет, билеты продает один из членов труппы. Ни гардероба, ни буфета. В зале пятьдесят мест. Сидело там человек шестьдесят, потому что десять молодых ребят купили билеты без места – это в два раза дешевле.

Крохотная сцена – только японцы с их умением обживаться на микропространствах могут разыгрывать действие на такой площадке...

После того как кончилась пьеса, начался занятный антракт. Три актрисы спустились в зал. Одна из них стала говорить что-то нежное и напевное молодому пареньку, сидевшему во втором ряду. Потом она устроилась к парню на колени и стала подкрашивать ему брови, ресницы, губы. Две другие актрисы начали то же самое делать на своих лицах, подражая тому шутовскому рисунку, который возникал на лице парня. Я спросил Накамото:

– Это что, «подсадной»? Один из труппы?

Накамото удивился:

– Нет, почему же? Актер – пария, но лишь до и после спектакля. В театре актер – самодержец, ему подчинены все в зале. Посмотрите, как реагирует публика.

Публика действительно реагировала громовым хохотом: лицо парня превратилось в свиную харю.

Конферансье предложил желающим сыграть в новую американскую игру: «Это очень развивает брюшной пресс... Сначала мы покажем вам это с моей девочкой». Вышла «девочка», молоденькая актриса в купальном костюме. В руках у нее длинная алюминиевая палка, сантиметров восемьдесят, а с двух концов укреплены пластмассовые растопыренные пальцы. Партнеры упирают себе в живот эти пластмассовые пальцы и начи-

нают раскачивать палку, посредине которой вертится колокольчик. Хохот в зале неистовый: в этой игре совмещены и «сексуальные» и «музыкальные» моменты (японцы очень общительны; коли пришел в театр – веселись от души. Смешно: колокольчики звенят, напоминая русский ямщицкий перезвон, знакомый нам теперь только по историческим фильмам...)

Потом начался балет «Белая церемония». Поначалу это было занятно, особенно буддийская музыка, – где-то перекликалось с манерой режиссера Куросава, – а потом, постепенно, все это перешло в затяжной театрализованный стриптиз. Я спросил Накамото, какой смысл тратить театру так много времени на чистую развлекательность, когда спектакль «Свинцовые отношения» по-настоящему интересен сам по себе.

Накамото ответил:

– Мы смотрим европейские спектакли всего двадцать лет. Народ не привык к вашему стилю. Произошла серьезная ломка традиционных представлений об искусстве. Для того чтобы искусство подействовало, оно должно быть подобно большому драгоценному камню в обрамлении маленьких полудрагоценных камешков.

...Мы поднялись из театра на улицу, прошли мимо десятка мальчишек-хиппи, которые, закутавшись в плащи, спали на асфальте около метро, накурившись марихуаны. Заглянули в харчевню «Отако» (своеобразный «ресторан ВТО» японской столицы). Здесь очень дешево, шумно, демократично. Язык здесь намеренно грубый, рожденный жаргоном «подпольного» кинематографа, для которого нет запретов. Приходят сюда разные люди – и полицейские, и миллионеры, и проститутки; очень много ультралевых, некоторые мальчики сидели с громадными значками Мао Цзэдуна на груди.

К нам подошел знакомый Накамото, режиссер «подпольного» кино. Разговорились.

– Наша концепция? – переспросил он. – Никаких условностей. Все условности буржуазны. Вместо всех религий, которые нужно уничтожить, следует ввести обязательную для всего мира новую религию, бога которой зовут Правда. – Он протянул мне свою визитную карточку, сделанную из сандалового дерева. – Я готов вам показать, как мы работаем. А сейчас, извините, спешу. Съемки. Я нашел двух пьяных

шлюх, они согласны показать перед объективом занятную сценку бесплатно...

Накамото взял меня за руку и повел в дальний уголок дымной, шумной харчевни. Он перекинулся двумя словами с официантом, попросил его:

– Пожалуйста, каракатицу и хорошего чая.

Официант неожиданно по-солдатски щелкнул каблуками и сделал идиотское лицо.

– Исполню по системе Станиславского! – отрапортовал он басом.

Я недоуменно посмотрел на Накамото.

– Это мой ученик по театральному институту, – рассмеялся тот. – Утром учится, а вечером и ночью здесь. Жить ему негде, он приезжий, из Хиросимы, родители бедны, стипендии нет, поэтому он устроился сюда на работу. Хозяин здесь меценат, он дает ему и койку. Так что парень может отдохнуть – после двух ночи до шести утра.

Каждого посетителя, который входит, служащие ресторанчика встречают громким, обязательным в Японии возгласом радости.

Названия блюд написаны на старинных длинных деревянных табличках, развешанных на закопченных стенах. Табличками официанты ловко играют – словно кастаньетами.

Я сказал Накамото о японском «врожденном артистизме». Он снова посмеялся:

– Так ведь все служащие ресторанчика или актеры, или студенты театральных училищ.

Подошли два режиссера из «новой волны» – Кобо и Эйнасике. Их бога зовут Фрейд: «Миром движут лишь две силы – потенция и импотенция».

– Ведь в истории мира не было ни одного старого революционера, – говорит Кобе. – Только молодые.

– Ваше кредо в искусстве?

– Я хочу препарировать социальное положение нашего общества, рассматривая его через призму сексуальной ущербности народа – от стариков до детей, от нищих до мультимиллионеров. Наш, азиатский, Фрейд страшнее, чем ваш, европейский, потому что если европейский фрейдизм сейчас вырождается в гимн бессилию, слабости и опустошен-

ности, то наша японская вариация на эту же тему должна устрашить мир своей силой, мускулами и прищуром яростных от гнева глаз.

(Возвращаясь домой – метро уже закрылось, – убедился, что токийских и московских шоферов роднит одно: ни те, ни другие ночью не останавливаются.)

Завтракал с Альбертом Каффом, руководителем «Юнайтед пресс интернейшнл» по Азии. Разговор шел о боях во Вьетнаме, о ситуации в Пекине, о студенческих волнениях в Токио. Несмотря на то что мы с Каффом на разных позициях, он, как президент ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных в Японии, старался помочь мне – созвонился с филиппинским послом и ходатайствовал о визе для «писателя Юлиана Семенова».

– Почему не «корреспондента «Правды»»? – спросил я.

Кафф усмехнулся.

– Тогда уж наверняка не дадут.

Днем беседовал с одним из тех, кого здесь называют «членом мозгового треста», – господином П.

– В последние годы, – говорил собеседник, – мы добились в Тихоокеанской Азии не только экономического эквивалента нашей разгромленной в 1945 году «сферы процветания», но достигли этого без эксплуатации какой-либо страны. Две трети нашей внешней торговли приходится сегодня на Тихоокеанскую Азию.

...Слушая господина П., я думал, что, видимо, страны Тихоокеанской Азии хотели бы и в будущем сохранить свои отношения с Японией на сугубо экономической основе, опасаясь слишком глубоких связей с этим экономическим гигантом, особенно помня о тихоокеанской войне.

Главный вопрос: куда пойдет развитие Японии, что возобладает? Шовинизм? Следовательно, возможен «примат армии» – для того чтобы удержать захваченное мирным экономическим наступлением. Или победит разум, дальнейшее развитие «неагрессивной» промышленности, торговли. Но это немыслимо без тесных контактов с Советским Союзом...

Вечером встретился с Накамото около станции метро «Тораномон». Пошли в подвал универмага «Или». Там расположено несколько маленьких концертных залов, которые днем функционируют как салоны красоты.

Ах, театральный подъезд, театральный подъезд! Он приглашает вас к торжественному празднику лицедейства!

Мы привыкли к освещенной торжественности театральных подъездов, и, боже, как горько мне было входить в подвалы и на чердаки, где ютятся замечательные художники сегодняшней Японии.

Здесь, в универмаге, сегодня состоится литературный вечер. Четыре актера – три женщины и один мужчина. (Двадцать лет назад женщин на сцене не было, всего двадцать лет назад, но всеми это уже забыто...) Актеры, работающие днем в оффисах, читали вечером сказки Андерсена в японском переложении и народные стихи.

Концертный зал совсем маленький – двадцать пять квадратных метров (и это еще не самый маленький театральный зал). Слушателей было тридцать человек. (Хороший сбор!) Площадка для «действа» – три метра. Актерам приходится уходить за ширмочку и, когда они там переодеваются, видно, как выпирают то плечи, то спины, то локти милых бездомных лицедеев.

Сказки занятны. Вот, например, одна из них: «Жили-были лев и лягушка. Настали голода. Лев съел лягушку. Она ему понравилась, он заморил червячка и съел еще сто лягушек и уснул, счастливый. А наутро проснулся, и оказалось, что у льва стал лягушачий характер».

Познакомился с актером из маленького, полусамодеятельного авангардистского театра. Его имя в переводе на русский язык очень красиво звучит – «Красное зерно».

Мимо ночного парка «Хибия» пошли в Гинзу. Там спустились на станцию метрополитена «Юракутё». Здесь станции метрополитена двух- и трехэтажные, – даже под землей используется каждый метр площади. Маленькие закусочные, большие фешенебельные рестораны, магазины, супермаркеты, крохотные ателье художников. Зашли в «сосисочную». Здесь нас ждал один из ведущих репортеров газеты «Асахи» – Юддзи Такахаси. Он руководит японским вариантом совет-

ского «Кругозора». Только если у нас это делает радио, то в Японии – крупнейшая буржуазная газета «Асахи». (Занятно – Такахаси объехал на мотоцикле земной шар.)

Такахаси – первый японец, с которым я встретился, лишенный ставших для меня привычными японских черт – внимания к словам собеседников и конкретики. Он никого не слушал, пил рюмку за рюмкой горячее саке, и если для меня эти рюмочки саке как слону дробина, то он, напиваясь, краснел, обвинял меня, как представителя советской литературы, во всех грехах, утверждая, что как только «Правда» опубликовала статьи о материальных стимулах, так мы подписались под своим «ренегатством» и «ревизионизмом». Он кричал, что только одно учение правильно – это учение левых ультра. Меня потрясло, с каким пренебрежением он говорил о Японии, о японской тяге к знаниям, о японском трудолюбии, о японском эксперименте в экономике. Он не критиковал «экономическое чудо» Японии за то, что оно богатое для богатых и бедное для бедных. Нет, он говорил, что все это омерзительно, что все это нужно разрушить, что урбанизм убивает человека, а всякий человек – это революция, а город против революции, в городе винтовка власть не родит, ибо здесь много переулков и пулям нет раздолья, и будущее за деревней.

– Вообще, – говорил Такахаси, – необходимо разрушить все старое. Все чушь! Нет никаких ценностей. Вы кичитесь Пушкиным, у нас кичатся поэзией четырнадцатого века. Это же неправда, когда вы говорите, что любите Пушкина! Вы не можете любить его, ибо, хотите вы того или не хотите, Пушкин – это прошлый век. Пушкин – это дворянство, Пушкин – это угнетение крепостных.

Я смотрел на «Красное зерно», на закурившего Накамото – ждал, будут ли они дискутировать с Такахаси.

Накамото шепнул:

– Постарайтесь его понять. Если у вас искусство находится в сфере пристального внимания общества – пускай даже вас критикуют, пускай вам дают чрезмерно много советов, – то у нас нет этого внимания, нас не критикуют, нам не дают советов, мы живем в вакууме.

Спорили мы долго. Такахаси совсем, бедолага, упился, сделался багрово-фиолетовым, и спорить мне с ним стало

совсем уж неинтересно. Он предложил пойти в «Асахи», посмотреть, как они выпускают свой журнал. Поднялись. Маленькое, грязное, заплеванное помещение.

Когда мы вышли из редакции, «Красное зерно» сказал:

– Трагедия в том, что наше искусство не развивается. У вас были традиции, а мы – островитяне. У вас был великий девятнадцатый век, у вас есть традиции Пушкина, Толстого, Достоевского, Блока, Маяковского, Горького. У нас таких традиций не было. У нас была лишь прекрасная японская поэзия средневековья, но она не традиционна, ибо она – выражение духа народа. Поэтому иногда нам кажется, что и вправду сначала нужно все сравнять с землей, чтобы потом обратиться к молодежи с новым искусством, которое вберет в себя традиции Мейерхольда, Брехта, Станиславского, авангардистов Америки, левых – во главе с Годаром – во Франции.

Сегодня день отдыха. Через Кавасаки и Иокогаму поехал на остров Эносима. Побывал в «океанарии». Смотрел получасовое шоу, которое показывают дельфины. Фантастично и страшновато. Они выпрыгивают по свистку из воды, проскакивают через горящее кольцо и заползают на деревянный помост. Когда дельфины, похожие на ракеты, выскакивают из воды, издавая странные, поющие звуки, захватывают ртом шар и осторожно надкусывают его (то ли толкают носом, не поймешь, – балдеешь), и шарик этот разрывается, и оттуда вылетают разноцветные голуби, а потом дельфины толкают резиновую лодочку по странному, но очень точно выверенному маршруту по воде, а в лодочке сидит собака, а потом танцуют твист, – в те мгновения, когда, выскочив из воды, извиваются в воздухе, становится страшновато. Нежные дельфины, наши водные братья, может быть, они отличаются от нас лишь формой тела?

На всем побережье Эносимы рыбаки; ловят все – и старики и дети. Множество аквалангистов в черных резиновых костюмах. Дрожат от холода, бедные, но в море все равно лезут.

На берегу огромное количество маленьких передвижных – на двух колесиках – кухонь; ездят себе от человека к человеку и предлагают вкусную, стерильно чистую еду.

...Приехал в маленький городок Камакуру. Впрочем, за последние четыре-пять лет он разросся. Типичная Япония:

никаких небоскребов, двух-трехэтажные домики. Крыши – словно тысячи сложенных рук, ладонь к ладони, как при молитве. Архитектура – застывшая музыка? Или – молитва?

Позвонили из «Ти-Би-Эс». Это крупнейшая в Японии частная радиотелевизионная компания. Я давно хотел встретиться с работниками японского ТВ: если раньше иностранец узнавал страну, знакомясь с людьми разных возрастов, мнений, образовательных цензов, то теперь страна «соприсутствует» даже в номере отеля (в Японии телевизоры вам дают напрокат в самых дешевых гостиницах). Поэтому побеседовать с людьми, готовящими программу ТВ, весьма полезно, ибо они в значительной мере определяют «политику и практику» голубого экрана Японии. Шеф международного отдела «Ти-Би-Эс» господин Такаси любезно пригласил посетить компанию.

Послезавтра беседа с господином Окамото в «Эн Эйч Кэй» – государственном ТВ Японии.

Разница между этими компаниями в том, что государственное телевидение не принимает к прокату рекламы, в то время как «Ти-Би-Эс» – в общем-то ведущая японская программа – живет на рекламе и ей служит.

...Однажды я освободился около одиннадцати часов и, уставший, лежал в номере – смотрел ТВ. Передавали прелестный итальянский фильм. Сорокалетний чиновник случайно попал в компанию юных хиппи; он хочет быть наравне с ними, влюбляется там в одну занятную девочку, страдает, когда она флиртует с другим, не может приноровиться к их ритму, и ему вдруг, как в детстве (все мы прошли через это), грезится – то как она гибнет, а он ее спасает; то он вдруг видит себя в кругу семьи (он испорчен чувством ответственности, он – слуга долга, а не чувства); то он ведет душеспасительные беседы с этой маленькой девчушкой, стараясь заставить ее жить по своим законам. За ним глубина чувства, а за нею и ее друзьями – отчаянность, вызов, пренебрежение к скоростям и расстояниям. Как, видимо, отдавали себя – свои сердца, мечты и горести – и сценарист, и режиссер, и актер этому сорокалетнему герою, своему второму «я». Но через каждые двадцать минут этот фильм – грустный, пронзительно нежный – резала реклама: то на телевизионном экране появляет-

ся чистая сорочка, возникающая из мыльной пены, то из взбитого крема рождается яблочный кекс. А потом снова кадры прелестного фильма. Посмотрев эту рекламу в ткани высокого искусства, я вспомнил ультра – Такахаси из «Асахисонорама». Согласиться с ним нельзя, но понять его можно.

Запомнился контрапункт фильма. После разнузданного «ча-ча-ча» возникает мелодия старой баркаролы, и вдруг танцующие – ребята, и девушки, и этот сорокалетний чиновник – все кажутся совсем иными. Они становятся белыми, чистыми, освобожденными от всего земного. А потом авторы фильма, словно испугавшись этой чистоты, полагая, видимо, что это мешает в нашем диком мире, начинают издеваться над самими собою, над всем вокруг, над своими героями...

Чиновник, мимолетно добившись нечаянной любви, поутру теряет девушку. Он уснул на пляже, а она уехала со своими молодыми друзьями. Для него это была высокая трагедия, горькое счастье; он уже представлял себе их совместную жизнь и жмурился оттого, что видел лицо жены, когда она будет устраивать ему мордобой. А для девушки эта ночь была одной из сотен ночей – на шальной дороге шальной жизни. «Зашел, ушел и вновь оставил дом...» Чиновник гнал по шоссе, но он не мог приноровиться к скоростям молодых. Они на своей старенькой машине выжимают 120 километров, а он на своей мощной и новой все равно едет с опаской. И ехал он все тише, тише, тише, словно поняв для себя что-то важное. И когда крупным планом появилось лицо актера (это был Альберто Сорди), вдруг снова возникает реклама: красивая японочка раскладывает перед аккуратным, шоколадно-приторным, невозможно красивым мужем галстуки; возникает здание универмага, где продаются вот эти самые лучшие, самые модные сейчас в Японии галстуки, и диктор ТВ выкрикивает: «Покупайте галстуки «модерн»!»

Когда после этого вас снова возвращают на крупный план рыдающего Альберто Сорди, смотреть картину невозможно – ее убили. Искусство для рекламы – это чудовищно.

...Телевизионные программы Японии – предмет для специального рассмотрения, особенно когда речь идет о детских передачах.

...Правительственная программа «Эн Эйч Кэй» более точна и сдержанна. Частные телевизионные фирмы обращают большинство детских игровых передач в японскую традиционную древность, они посвящены герою-одиночке, который сражается мечом и кинжалом за свое «правое дело». Традиционный героизм одиночки чужд духу сегодняшнего японского «экономического чуда». Какая тенденция сильней? Кто победит? Те, кто тянет молодежь к технике, к знанию (а такая тенденция в японском телевидении, в книгоиздательстве, в кинематографе, в театре очевидна), или та тенденция, которая выступает за восстановление традиций и за преодоление «чуждых веяний»? Многие органы печати ведут широкую борьбу с «растленными европейскими влияниями». При этом – призыв к традиционному послушанию и трудолюбию. То есть «служите технике двадцатого века, но живите по законам морали века девятнадцатого».

Вспомнил доктрину Геббельса, когда литература и искусство были разделены в Германии на «асфальтовую» и «почвенную». К «асфальтовой» литературе были причислены выдающиеся немецкие художники, уехавшие в эмиграцию, потому что, утверждал Геббельс, они «чужды духу великой германской почвы». Геббельс канонизировал термин «блют унд боден» – «кровь и почва». Фашистских писателишек называли «блюбоистами». Они исчезли вместе с Гитлером, а литература «асфальта» – литература Фейхтвангера, Брехта, Томаса Манна и Зегерс – осталась, и она определяет истинное искусство Германии тех времен, а не та официальная беллетристика, которая поднималась на щит «Фолькишер беобахтер».

В Японии заметна тенденция борений паназиатских «блюбоистов» с «технократами». Японских «технократов» нельзя упрекнуть в космополитизме, они делают ставку на японский путь развития, но они понимают, что будущее в конечном счете определит не верность «самурайскому духу», не кимоно, не деревянные сандалии – «гета», а ракета, электроника и асфальт, как тут ни крути...

Если серьезно анализировать эту проблему, то в малом можно увидеть большое. В телевизионных передачах заметна борьба за тенденцию. Например, в последнее время появились новые телевизионные мультфильмы, которых ждет вся

Япония – не только дети. Сюжеты этих фильмов научно-фантастические, форма – детективная. Например: старик ученый изобретает эликсир силы и роста, чтобы творить добро, но оказывается, что эликсир силы, который стимулирует силу и рост, одновременно делает старика злодеем, ибо чем человек больше и сильнее – это прочитывается в подтексте фильма, – тем он злее и надменней. С этим стариком борются прекрасный мультипликационный мальчишечка с девочкой; драки, перестрелки и в конечном итоге победа мальчика над «силой и ростом» – сиречь над злом. В финале даже лицо старика изменилось. Чем больше он рос, тем заметнее терял японские черты: лицо его делалось стереотипно европейским. Как этот подтекст прочтут дети? В малом можно увидеть большое. Национализм – это оружие против социального и научного прогресса, мощное, надо сказать, оружие.

...Другой игровой фантастический фильм: в Токио объявляется динозавр. Он громадный, ходит по городу и разрушает мосты, трассы и небоскребы. Землетрясения, пожары, гибель людей. С ним борются четыре аэронавта. Динозавр омерзителен, но жесты его очеловечены. В конце концов аэронавты привязывают динозавра к межконтинентальной ракете (это после драк, европейского мордобоя и утонченного дзюдо) и вывозят его в космос, и там он превращается в окостенелость.

Этот фильм, сделанный для детей, смотрят и взрослые. Вы соприсутствуете при работе аэронавтов с техникой, вы наблюдаете, как они проверяют систему работы межконтинентального корабля, вспоминают какие-то химические формулы; они вместе пишут уравнения, рассчитывая вес и мощность ракеты, соотнося это с весом динозавра. Это не просто фильм-зрелище, поразительно интересное научно-детективное зрелище, а это фильм-рассуждение, сказал бы я, в некотором роде третья, образовательная программа нашего ТВ, сделанная с учетом категории и н т е р е с а.

Другой сюжет: девочка обладает даром испускать из глаз электричество. В этом ее счастье, ибо электричество – это мощности, это скорость, это свет. Но в этом и несчастье: своими взглядами девочка убивает людей вокруг себя. И вот ее друг начинает думать, как спасти девочку, сохранив ее волшебный дар. Действие построено на детективном сюжете, как и во всех

других фильмах. Брехт утверждал, что интеллектуальное наслаждение доставляет задача-головоломка, которую детективный роман ставит перед читателем. Он прежде всего предоставляет широкое поле для наблюдательности. Нам доставляет удовольствие способ, каким автор детективного романа (фильма) приводит нас к разумным суждениям, заставляя отказываться от наших предубеждений. Для этого писатель и режиссер должны владеть искусством обмана. А это высокое искусство в искусстве – искусство обмана. (Браво, Брехт, защитил жанр, а при сегодняшней авторитарности искусства такая защита бесценна!) Действительно, ведь главное интеллектуальное удовольствие, доставляемое детективным романом, состоит в установлении причинности человеческих поступков.

Детективный роман дает нам возможность для умственных операций. За событиями, о которых нам сообщают, мы предполагаем другие события, о которых нам не сообщают. Они, видимо, и есть подлинные события. Мы могли бы в них разобраться, если бы мы знали о них. Только история может вразумить нас по поводу этих подлинных событий, если главным действующим лицам не удалось их полностью скрыть. Ведь истории пишутся после катастроф, считал Брехт.

Если ясность и наступает, то лишь после катаклизма. Совершено преступление. Как оно надвигалось? Как это случилось? Что за ситуация возникла? Вот теперь и нужно заниматься раскрытием всех обстоятельств.

Японцы так строят свои детские и юношеские передачи, чтобы за час-полтора, пока идет научно-детективный фильм, заложить в ребенке привычный интерес к техническому чуду, которое через пять-шесть лет должно стать бытом, практикой жизни. Японцы готовят общество десятилетних граждан к тому, чтобы через несколько лет все то, что они сейчас смотрят на экранах ТВ и чем они восхищаются, сделалось привычным атрибутом каждодневности – в чем-то даже скучным. Может быть, ТВ забегает вперед? Отнюдь: в Японии, как мне говорили токийские журналисты, намечается запустить пять спутников научного назначения и четыре экспериментальных спутника.

Все это хорошо и очень интересно, однако тревожно то, что сейчас стали появляться новые телепрограммы, где вмес-

то традиционного мальчика, обладающего технической сверхсилой (в каблуках его гета вмонтирован напалм для врагов; у него дома несколько портативных ракет, на которых он летает в межзвездное пространство; в его глазах заключена сверхсильная энергия, которой он может сражаться с противником), появился мальчик, одетый в кимоно, с самурайской косичкой, с подчеркнуто раскосыми глазенками. А его враги стали сплошь иноплеменными, круглоглазыми, беззубыми, горбоносыми, белолицыми злодеями...

...Я за национальное в искусстве. (Читай – «мы».) Я против национализма, в чем бы он ни выражался. (Читай – «мы»). Национализм в век сверхскоростей чреват всеобщей катастрофой.

...Познакомился с Токато-сан – прелестным тридцатилетним художником, одним из известнейших живописцев Японии. Сели в его «тойоту», поехали к скульптору Ивано-сан – я его назвал «Иван Иванычем», и скульптор зашелся от смеха. Еще до того, как японцам переведут смысл каламбура или шутки, они по интонации понимают, что ты говоришь. Вообще здесь обостренный, я бы сказал – жадный, интерес к русскому языку. Как это ни парадоксально, японцы чувствуют наш язык, особенно это заметно в песне. Мне показалось, что в Японии наши песни поют отнюдь не хуже, чем мы, порой даже с большим чувством.

Ивано-сан, лауреат Национальной премии Такеси Хаяси, работает в маленькой мастерской. Его скульптуры чем-то похожи на работы советского художника Николая Никогосяна – так же экспрессивны. Только в них экспрессия сдержанности, «кричание» статики.

Движение души, порыв, плач, счастье, крик японцы умеют передавать через сцепленные пальцы рук, а на лице – если это поясной портрет – будет полное спокойствие.

– У нас не было своей Греции, – говорил Токато. – Мы искали себя, отсчитывая от нуля. И у нас не было Рима, Возрождения, передвижников. Мы нашли себя, свой стиль, свое движение. Вспомните фильм «Голый остров». Это – киноживопись. Ваш памятник Петру символичен движением, мы учимся на этом памятнике, но исповедуем свой стиль.

Я заметил, что «национальность» новой работы Ивано «Девушка, снимающая платье» я мог бы определить, даже не видя ее лица: по движениям рук, повороту торса, наклону головы.

Ивано-сан и Токато очень интересно рассказывали мне о «киноби». Киноби по-японски означает символ функциональной красоты. У американцев, считают японские художники, существует киноби плюс «нечто большее»; у русских — киноби плюс «желание выразить движение словом». Сейчас киноби широко распространяется на оформление, на «дизайн». Ивано-сан сказал, что если бы японские «промышленные художники» (появилась и такая профессия) не нашли бы «нечто» в решении японских малолитражек, то все японцы по-прежнему покупали бы «фольксваген». Японское «нечто» в промышленности — это киноби плюс «законченная функциональная красота».

Японцы, сказал Токато-сан, исповедуют в киноби допуск в микрон. Отличие может быть минимальное, однако это минимальное обязано сделать «тойоту» машиной чисто японской, а никак не европейской. (Действительно, формы малолитражек совершенно японские, хотя, если заставить меня объяснить, в чем эта «японскость» выражается, я толком объяснить не смогу: законченность формы слову не подвластна).

Токато живет тем, что работает в бюро, принимающем заказы от фирм на рекламу и от издательств — на оформление книг. Ивано-сан преподает в «Институте новых форм» (приглашает съездить туда).

Традиционная японская живопись, рассказали мои друзья, была в Японии издревле, а европейская живопись проникла на острова лишь сто лет назад, с началом «эры Мэйдзи». Первую выставку в стране устроило министерство образования. Она называлась «интэн». С тех пор интэн стало символом классической живописи.

Пятьдесят лет назад была устроена первая частная выставка. В стране господствовал натурализм, а наиболее популярным художником в Японии был Коро.

Потом пришел импрессионизм. Однако после победы Великой Октябрьской социалистической революции японские

художники разделились. Дальнейшее развитие шло через расколы. Импрессионисты сорок лет назад стали консерваторами. Появились «пролетарские художники», которые выступали за преобразование общества, за революционное искусство. Во время войны 1941-1945 годов все эти направления в японской живописи – и консерваторы, к которым причисляли импрессионистов, и пролетарские художники – были разгромлены милитаристами.

В 1945 году, после победы Советской Армии и ее союзников, был организован «Японский союз изобразительных искусств», во главе которого стали прогрессисты.

«Ито» – так называется традиционная японская живопись. Руководитель течения европейской живописи – Такеси Хаяси. «Традиционалистов» и «классиков» на выставках выставляют без предварительного конкурса. Все остальные могут передавать свои картины на интэн только после специального отбора. Однако в других школах живописи, которые не связаны с министерским выставочным комитетом, картины не цензурируются, а только проходят конкурс своей ассоциации и идут на выставку, не являющуюся классической.

Сколько платят художнику? Трудно сказать точно. Но вот, например, Такеси Хаяси, когда он выставляется в интэн на министерской выставке, получает 100 тысяч иен за картину, исполненную маслом, размером 15 на 20 сантиметров (это что-то около 300 долларов).

Наиболее популярна в Японии «живопись миниатюрных форм». Если картину на выставке в парке Уэно покупают, то художник передает «Ассоциации изобразительных искусств» 20 процентов от полученного гонорара. «Ассоциация» никаких благ художнику не предоставляет, лишь дает возможность выставиться без цензуры. Но, вступив в «Ассоциацию изобразительных искусств», художник становится официально признанным мастером.

Сейчас при «Ассоциации» создано несколько институтов «новых форм». Там преподают только члены «Ассоциации», но платят им ничтожно мало. Продолжается спор – и в «Ассоциации» и в интэн – между стариками и молодыми. Импрессионизм, конструктивизм и кубизм считаются сейчас «старой» живописью. Ищут новый, авангардный реализм. Я

смотрел эту живопись авангардного реализма. Она в чем-то интересна, насквозь пронизана политикой; в ней много плакатного. Я бы не стал ее отрицать, это поиск; однако противоборствующие традиционалисты и японские импрессионисты представляются мне все-таки наиболее интересными. В скульптуре распространен занятный, неожиданный сплав – Кандинский и Корбюзье – точная, геометрическая выверенность замысла и цветастый, безудержный «примитивизм».

В Токио – паника. Снова с утра валит снег. Цены на цепи для автопокрышек за один день подскочили с 3 до 6 тысяч иен (образчик того, как рынок регулирует ценообразование).

– Если, – сказал Токато, приехав ко мне рано утром, – снег пойдет еще один день, в городе будет трагедия. В Токио нет снегоочистительных машин, значит, остановится транспорт. Занятия в школах прекращены, потому что дети и студенты вышли на улицы очищать от снега деревья. Деревья – это ценность: каждое дерево – это мир, его нужно охранять.

Я видел, как мальчики и девочки освобождали от снега каждую пальму, каждую сосну. В их движениях была нежность – так они боялись повредить веточку, острый лист пальмы.

На сером снегу хайвэев сейчас особенно заметны «черные асы» – молодые ребята-мотоциклисты (или ультралевые, или ультраправые, но обязательно – ультра); с гривами развевающихся по ветру волос, в драных джинсах, черных свитерах, в черных шлемах, носятся они на гоночных мотоциклах по улицам Токио. Их называют еще «черная смерть» – они часто совершают разбойные нападения, насилуют, хулиганят.

– Мальчишкам и девчонкам, – заметил Токато, когда мы ползли по улице, попав в пробку, – которые гоняют на мотоциклах, порой всего тринадцать или четырнадцать лет. Это проявление трагедии, которая рождена столкновением семейных традиций Японии с космополитическими скоростями века.

Мы ехали по городу полтора часа, но одолели не более десяти километров. Выбраться на хайвэй нет никакой возможности. Токато остановил машину около маленького отеля, побежал к телефону. Вся Япония на автоматике: можно разговаривать из любого телефона в Токио с Осакой, Хиросимой, Нагасаки.

Токато заехал за мной, чтобы отвезти в другую префектуру – у него там контракт на оформление новых бензоколонок и станций техобслуживания. Токато предупредил «фирмачей», что приехать из-за снега не сможет. Минуты три – это я понял по интонации – извинялся и выслушивал встречные извинения заказчика н снова извинялся...

Поехали в Исторический музей. По пути заглянули в университет, думали встретиться с руководителями левых студентов. Там тихо, пусто. Занятий из-за волнений по-прежнему нет.

Музей интересен, состоит из трех зданий. Экспозиция главного корпуса подобрана со вкусом, много холодной отрешенности, но не потрясает, хотя очень интересна коллекция будд. Движения пальцев каждого будды говорят о характере значительно больше, чем лицо. Лица недвижны. Символика пальцев – первооснова. Трактователи буддийских символов еще не расшифровали до конца, что означают все позиции рук и пальцев у будд.

Потрясает Музей Востока. Это филиал главного здания, выполненный в новой, ультрасовременной, очень сдержанной манере; бетон сохраняет конфигурацию досок, опалубки; в этом есть что-то от французского «нон шалан» – этакой небрежности. Это небрежность артистов или тех, которые считают, что простота и мощь – высшие символы современного искусства.

В подвале – экспозиция наскальной живописи из пещер с острова Кюсю. Я был поражен: именно отсюда, как мне показалось, пошел Пикассо. Можно угадать и тореадора, и арену цирка. Царствует буйство красного и черного цветов, которые оттенены ярко-зеленым и пронзительно-желтым. Сразу думается об единородстве человеческой культуры. Пикассо и эта наскальная живопись – как сие увязать? Как прикажете трактовать космический шлем на головах некоторых будд? Я с большим увлечением знакомился в свое время с талантливой, во многом дискуссионной работой белорусского ученого Вячеслава Зайцева. Гипотезы, которые он выдвигает, поразительно смелы. Он приводит любопытные аргументы в подтверждение своей версии:

«На границе между Китаем и Тибетом находится горный пещерный район Байян-Кара-Ула. Вот уже четверть века в этом районе археологи находят странные каменные диски, исписан-

ные непонятными узорами и иероглифами. Несколько тысяч лет назад с помощью неизвестных орудий труда жители пещер высекали из камня эти диски, которых найдено уже 716 штук.

Все диски, подобно граммофонным пластинкам, в центре имеют отверстие, от которого спиралью отходит двойной желобок, доходящий до периметра диска. Об этих желобках немецкий журнал пишет: «Очевидно, это не звуковые бороздки, а письмена, самые странные, которые когда-либо были найдены в Китае, да и во всем мире.

Археологи и специалисты по дешифровке древних письменных знаков двадцать лет ломали голову, чтобы раскрыть тайну этих спиралей. А разгадка оказалась в итоге настолько поразительной, что Пекинская академия первое время не разрешала профессору сделать публикацию на эту тему. Когда наконец разрешение было получено, китайский археолог в содружестве с четырьмя своими коллегами опубликовал труд под интригующим названием: «Бороздчатые письмена, повествующие о космических кораблях, которые, по свидетельству записей на дисках, существовали двенадцать тысяч лет назад».

В высокогорных пещерах Байян-Кара-Ула живут племена дропа и хам. Люди этих племен очень малорослы и тщедушны. Рост их примерно один метр тридцать сантиметров. До сих пор ученые не могли отнести их к какой-то конкретной этнической группе. Сведения об этих племенах весьма скупы.

Расшифровав иероглифы на дисках, китайский археолог и его коллеги нашли в тексте упоминание о народах дропа и хам: дропа спустились с облаков на своих воздушных глиссерах. Десять раз до восхода солнца мужчины, женщины и дети прятались в пещерах. Наконец они поняли знаки и увидели, что на этот раз дропа прибыли с мирными намерениями»...

Автор статьи в немецком журнале иронизирует: «Очевидно, можно предполагать, что кто-то из племени хам, умеющий писать, позволил себе пошутить по поводу воздушных кораблей. А быть может, это относится к области суеверий?» Однако он тут же отвергает такие предположения. Ведь есть и другие иероглифы племени хам, в которых выражено сожаление по поводу гибели их собственных воздушных кораблей при приземлении в труднодоступных горах и по поводу того, что не удалось построить новые корабли!

По мнению китайских археологов, иероглифы Байян-Кара-Ула таинственны до такой степени, что толкование их и использование с научной целью возможны только с большой осторожностью.

Для получения дополнительных данных о дисках с них соскоблили частицы камня и отправили для анализа в Москву. Здесь было сделано удивительное открытие. Диски содержали большое количество кобальта и еще какого-то металла. Другие исследования выявили необычный ритм вибрации, словно диски были заряжены или когда-то включены в цепь, служа проводником электричества.

До сих пор диски Байян-Кара-Ула представляют неразрешенную загадку, связанную с какими-то событиями двенадцатитысячелетней давности.

Древние китайские легенды повествуют о маленьких человечках, худых, желтолицых, которые якобы приходили с облаков. Эти человечки были безобразны: они имели необычайно большие головы и чрезвычайно худые и щуплые тела. Их безобразие вызывало в земных племенах чувство отвращения и было причиной того, что все избегали их, а какие-то «люди на быстрых лошадях» их избивали.

Таковы легенды. Но действительность подтверждает эти легенды: археологи и спелеологи находят в пещерах Байян-Кара-Ула остатки могил и скелетов давностью двенадцать тысяч лет. Эти останки принадлежат людям с огромными черепами и слаборазвитыми скелетами. Первые китайские археологические экспедиции, открывшие захоронения, в своих отчетах писали об «исчезнувшем виде обезьян». Но ведь до сих пор никто не находил ни обезьяньих могил, ни дисков с письменами, созданными доисторическими обезьянами.»

...Японские археологи во время раскопок, произведенных в различное время в префектурах Аомори и Иватэ, обнаружили статуэтки, изображающие каких-то людей или человекоподобных в странных костюмах типа скафандров и в шлемах, закрывающих всю голову. На шлемах ясно видно что-то вроде щелевых очков, дыхательных фильтров, антенн и слуховых аппаратов. Скафандры снабжены даже «приборами ночного видения». Эти статуэтки получили название «догу»...

В одной японской сказке из сборника «Ниппон Мукаси Банаси» рассказывается, как человек вернулся из путешествия на небо молодым, но не застал дома даже своих потомков: он не заметил, что на небе постарел на целых тридцать два года.

А мы только в начале XX века из открытия Альберта Эйнштейна узнали о возможных причудах времени, связанных с движением тела на околосветных скоростях.

...Справедливы гипотезы или нет, они тем не менее всегда определяли направление научных поисков. Гипотеза – это сегодняшний день завтрашней науки, – пишет Зайцев. – Правда, не каждая из них может стать теорией. Мир знает и такие, которые не были доказаны в течение трех столетий.

Даже опровергнутая гипотеза полезна, ибо для того, чтобы отрицать, нужно накопить много положительных знаний. «Лучше держаться такой гипотезы, которая со временем окажется неверной, чем никакой» – так говорил Дмитрий Менделеев.

Был в редакции, у друзей-журналистов. Ребята в запарке: уже сверстали номер, но из Европы пришел сенсационный материал, его надо как-то уместить на полосе.

– Хочешь, – предложили журналисты, – полистай. Наши промышленные боссы засуетятся, у нас эта проблема тоже довольно серьезно стоит.

– Какая проблема?

– Промышленный шпионаж.

Материал действительно интересный; сделал кое-какие выписки:

«В опрятном туалете международного аэропорта Нью-Йорка через перегородку, разделяющую кабины, двое мужчин меняются брюками. В кармане одних брюк лежат 20000 долларов, в кармане других – планы выпуска новой зубной пасты под названием «Крест». Агенты Федерального бюро расследований, вмешавшиеся в нужный момент, чтобы прервать эту странную сделку, арестовали обоих. Накануне их предупредили, что некий Юджин Мэйфилд, служащий компании «Проктер энд Гэмбл», получил предложение продать компании «Колгейт» все секреты «Крест», которые были оценены в миллион долларов.

В западных странах подпольный мир промышленного шпионажа охвачен бурной деятельностью. Американцы, например, тратят на это более миллиарда долларов в год».

Центр европейского промышленного шпионажа находится в Швейцарии, где действуют «конторы», которые максимально гарантируют «серьезность и эффективность». Именно одна из таких швейцарских «контор» похитила у компании «Дассо» чертежи самолета «Мираж-3» и направила их в Израиль в двадцати ящиках, которые были потом конфискованы в ФРГ.

Промышленный шпионаж имеет уже тридцатилетнюю историю. Уорт Уэйд, автор справочника «Промышленный контршпионаж», провел тщательный анализ различных систем, применяемых для того, чтобы выведать секреты промышленного производства, разбив их приблизительно на двадцать групп.

В первых семи группах перечислены обычные и «легальные» методы сбора сведений: публикации, издаваемые фирмами, обследования рынка и доклады советников, финансовые и бюджетные доклады и анализы, материалы, собранные на ярмарках и выставках, анализ товаров, доклады коммивояжеров и органов по продаже и покупке, наем персонала, работающего в других фирмах, у которых переманивают этих сотрудников, предлагая более высокую заработную плату. С восьмой по двадцатую графу «шкалы Уэйда» излагаются хитроумные методы промышленного шпионажа, граничащего с нарушением уголовного кодекса.

На самых высоких ступеньках «шкалы Уэйда» находятся методы, которые соответствуют обычной краже и мошенничеству. Несколько лет назад Эллиот Эстес, один из руководителей фирмы «Дженерал моторс», инспектируя технический центр знаменитой автомобильной фирмы, услышал рокот мотора. Вертолет, снабженный фотоаппаратами с телеобъективами, пролетал над цехом. Рабочие набросили чехлы на новые образцы автомобиля, но было уже поздно. Теперь неизвестный соперник обладал секретами «Дженерал моторс».

Аналогичное злоключение произошло позже с компанией «Даймлер-Бенц». Одна западногерманская газета опубликовала фотографию новой модели «Мерседес-250», которую

должны были выставить в салоне во Франкфурте, и немецкая фирма понесла убыток в несколько десятков миллионов марок. Ассоциация американских промышленников высчитала, что ущерб, причиняемый предприятиям разглашением секретов производства или программ выпуска продукции, превышает ежегодно два миллиарда долларов.

В расследовании промышленного шпионажа, проведенном в 1965 году одной комиссией американского сената, перечисляются некоторые из наиболее невероятных приспособлений, которыми пользуются «пираты» промышленности: передатчик, помещенный в маслину коктейля «мартини» с миниатюрной металлической вилочкой, воткнутой в нее, которая служит антенной, и две микротелекамеры, спрятанные на груди у одной посетительницы на выставке мод; говорящие шариковые ручки, зажигалки-звукозаписывающие аппараты, шляпы-радиопередатчики и другие предметы, которые, будучи оставлены «по рассеянности» в каком-нибудь учреждении или зале заседаний, записывают и передают все, что говорится; они начинают работать, когда слышат голос, и прекращают работу, когда наступает молчание.

В докладе американской сенатской комиссии содержатся хорошие советы возможным жертвам:

«Не доверяйте портному, который может зашить в подкладку пиджака радиопередатчики, способные передавать все, что говорится в учреждении и в интимной обстановке; удостоверьтесь в том, что в корзине с цветами, посланной в знак уважения вашей супруге или вашей секретарше, нет телекамер или передатчиков». Однако советы не очень помогают защищаться от исключительно разнообразной гаммы электронных приспособлений. Разве можно уберечься от микропередатчика, сделанного в виде зернышка риса, которое вы проглотите, съедая «ризотто по-милански»? Кто стал бы относиться с недоверием к таблетке аспирина, где скрывается невидимый передатчик, способный в течение часов вести передачу из желудка неосторожного человека, проглотившего эту таблетку?

От всех этих микроприспособлений промышленного шпионажа теоретически можно было бы защищаться, применяя «детекторы». В Детройте, например, службе контршпионажа одной автомобильной фирмы удалось обнаружить зву-

козаписывающие микроаппараты, спрятанные в запонках посетителя. Однако техника применяет системы, с которыми ничего не могут поделать детекторы, придуманные до сих пор. Это относится к одному приспособлению, которое дает возможность направлять за несколько сот метров луч лазера на окно той комнаты, за которой хотят шпионить. Луч отражается от стекла и передает на расстояние вибрации, производимые на этом стекле звуками, раздающимися внутри комнаты. Система лазера дает возможность проецировать на телевизионный экран все то, что происходит в этой комнате, без ведома тех, кто там находится.

Сегодня при том состоянии, – заканчивается статья, – какого достигла современная техника, любой не заслуживающий внимания предмет может иметь глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Мир промышленности вместе с загрязнением воздуха, которым мы дышим, и воды, которую мы пьем, породил еще одно чудовище, не менее опасное и ненасытное, которое выслеживает его секреты и может коварно проникнуть даже в самые скрытые тайники жизни любого человека».

Кончаются деньги. Из редакции пока ничего не перевели. Вспомнил, как отец, когда я учился в институте и он еще был дома, но уже не работал в Иноиздате, а жил случайным заработком (то отредактирует справочник, то составит пособие), внимательно смотрел на меня, когда кончалась стипендия, все сразу понимал и шутил: «Кризисные явления и мрачная депрессия?» И совал мне в карман все, что у него было. А если не было ничего, закладывал в ломбарде на Пушкинской дедовы часы с Александром Македонским, привезенные в 1906 году из японского плена...

Никогда не забуду, как я опоздал на шесть минут и держал в руках мудреные американские лекарства, которые отделяют разум от боли: Старик, умирая, сможет говорить о том, как он скоро будет смотреть мураша за городом, – большого, красного, ползущего через лесную, пахучую, игольчатую тропинку в подмосковном лесу, и как он наконец сядет за стол и напишет книжку о Серго, Тухачевском, Берзарине, и как он красиво издаст вместе с Еленой Сергеевной Булгаковой «Ма-

стера и Маргариту», и как он поедет в Теберду, и найдет дорогу, по которой его вел Бетал Калмыков, и покажет мне эту маленькую, изумительной красоты дорожку, с которой виден весь Кавказ, и снежные зубчатые вершины его остались такими же, какими были тридцать лет назад, когда эскадрон моего Старика дрался с дашнаками и мусаватистами...

За шесть минут перед тем, как наш самолет приземлился в Шереметьеве, Старик спросил, каким-то чудом справившись с предсмертным беспамятством:

– Где сын?

Ему ответили:

– Он едет к тебе.

– Он прилетел? – настойчиво спросил мой Старик. – Он приземлился уже?

Ему солгали:

– Да. Приземлился.

...И было это шесть лет назад, в жаркий июньский день, и я поехал в госпиталь, но палата отца была пуста, только на подоконнике еще стояли цветы, много цветов – он рос в деревне, но цветы любил городские – красные гвоздики.

Я мог бы прийти на полчаса раньше, и его бы еще не увезли в морг, но я задержался, – по моей вине задержался, – и опоздал, и было в палате бело, и только красные гвоздики остались от отца, и запах его трубочного табака.

Отец простит, что я задержался по своей вине. Отец простил бы – так точнее. Отцы и матери всегда прощают, и не у них мы просим прощения – у себя, и никогда так остро не ощущается страшное и гулкое понятие невосполнимости, как в тот день, когда уходит твой Старик, и с годами память твоя будет все горше и объемнее рождать видения того, что было, однако в этом временном отдалении ты увидишь не только то, что видел тогда, но ты поймешь множество вещей, ранее недоступных тебе, ибо пуповина, связывающая с жизнью новорожденного и определяющая его последнюю материальную принадлежность матери, подобна некоей пуповине смерти, когда память становится одной из формул духовной жизни, а если не происходит этого, тогда ты Иван, не помнящий родства, и плохо тебе жить на этой большой земле: нет ничего страшнее духовного сиротства.

Память об ушедших подобна черно-белому кинематографу. Ушлые торговцы искусством, кокетливо именуемые продюсерами, сейчас не берут к прокату черно-белые фильмы – они утверждают, что теперь пошел спрос на широкоформатный цвет, зритель хочет видеть истинные цвета формы хоккеистов и белизну седин Жана Габена. Однако истина конкретна, и потому, видимо, Чаплин, Эйзенштейн и Довженко работали свою правду двухцветной: только люди, лишенные воображения и памяти, не могут понять всю объемность и глубину черного и белого, ибо в этих двух категорических цветах нет ничего отвлекающего от главного. Добро, мужество, высший смысл любви и ненависти не поддаются измерению и расчету по системе математических таблиц. Являясь человеческими качествами, они лишены внешнего (я имею в виду цвет) проявления – они подвластны иному отсчету, куда как более сложному и высокому.

Если каждый из нас закроет глаза и вспомнит лицо дорогого человека, который ушел, то увидит он не синий цвет больничной пижамы, и не желтизну кожи, и не пегие, взъерошенные брови, – он увидит своего Старика всего сразу, с большими, натруженными руками, с добрыми глазами, увеличенными толстыми стеклами очков, в которых сокрыт вопрос: «Сколько ж мне еще осталось, сынок?» – но он никогда такого вопроса не задаст, потому что родители страшатся испугать детей, даже если тем под сорок; они, старики наши, и в последние свои минуты будут успокаивать нас и говорить нам напутствия, которым мы никогда не станем следовать, – ведь мы ж такие умные, образованные, научно-техническая революция, заряд информации и все такое прочее, мы ж в словах и терминах поднаторели... Мы, конечно, выслушаем наших Стариков, с горькой жалостью выслушаем, а они почувствуют нашу снисходительность – и ее простят, хотя нет ничего обидней сыновней снисходительности: делятся с сыном только тем, во что верят, как в истину, в главную выстраданную правду жизни.

...Неблагодарность бывает вольной и невольной. Судить о том, какая страшней, – удел тех, кто уходит, и остается слишком мало минут, чтобы сказать, и это сказанное было бы Откровением, потому что, когда человек ощущает свой уход, свою долгую разлуку с теми, кто дорог ему, он постигает всю Правду – до конца.

– Ты сегодня молодцом, Старик, – соврал я отцу после операции, зная, что его и не оперировали вовсе – поздно: разрезали и зашили.

– Да, – отвечал он мне, – через пару недель можно будет домой.

– А может, и раньше.

– Раньше-то вряд ли, – принимая мою ложь, как необходимую и жестокую игру, но зная всю правду, говорил Старик, – надо до конца подремонтироваться, надоело лежать на бюллетене, работать хочу.

– На море с тобой полетим.

– Обязательно. – Он заставлял себя улыбаться, чтобы я видел, как он рад тому, что мы вместе улетим с ним к теплому морю.

– Мы ведь с тобой ни разу не были на Черном море вместе.

– Полетим в Адлер? – предлагал Старик, зная, что мы никуда не полетим.

– Лучше в Гагры.

– В Адлер мы ездили с Васей Медведевым, в тридцать пятом, на двух «фордиках». Комарья там тогда было...

– Сейчас там городище. Курортники всех комаров выкурили.

Старик доставал трубку, и она казалась крохотной в его руках, которые перед смертью стали особенно большими, и медленно набивал ее табаком, и глубоко затягивался, и только один раз не сдержался – не сумел скрыть свое з н а н и е:

– Я – единственный, кому эскулапы позволяют курить на нашем этаже смертников.

– Значит, ты выкарабкался.

– Да, – сразу же подыграл он, – это верно. Иначе они бы не позволили мне сосать люльку.

Я смотрел на то, как он жадно затягивается, и как проваливаются его щеки, и с какой тяжкой грустью провожает он взглядом синий тугой дымок, похожий на те, что тянутся из высоких труб, и начинал нести какую-то белиберду – только б не молчать, лишь бы не было тишины, а Старик очень внимательно слушал меня и, лишь когда я замолкал, кивал, а потом вдруг говорил:

– Самое страшное – это когда кричат на детей.

И становилось тихо, и я вспоминал, что отец никогда, ни разу в жизни не крикнул на меня. Он позволял спорить с ним,

он терпел даже то, когда я начинал повышать голос: если не хватает логики, верх берут чувства – он обижался, затворялся в себе, но ни разу, сколько я помню его, он не смел унизить меня окриком, потому что ребенок лишен права на защиту, ибо его защита – слезы, а это – путь в трусость и бессилие.

...Я смотрел на моего Старика и вспоминал, как в сорок втором, когда я лежал с дифтеритом и в «буржуйке» потрескивали дрова, а отец только-только вернулся из армии генерала Говорова и привез диковинный подарок – полплитки толстого немецкого эрзац-шоколада, а я не мог его даже попробовать, потому что горло было в белых пористых нарывах, сознание вдруг стало покидать меня, и отец схватил меня на руки, и я помню, как он, побелевший, бегал по комнате, звонил в больницу, целовал мое лицо, прижимаясь сухими губами к моим, обметанным заразным жаром, а потом все исчезло, и появилось все снова через полчаса, после укола, когда кризис миновал, и я увидел лицо моего Старика в слезах, и был он моложе меня – того, который сейчас сидел рядом с ним, с умирающим – на шесть лет, но был он уже батальонным комиссаром, а в подпольный комсомол вступил тринадцатилетним – на два года всего лишь старше меня, дифтеритного.

...Был он тогда молод, всего тридцать четыре, но жизнь прошел трудную, горькую, но прекрасную, и не было для меня на свете человека мудрее, сильней и прекрасней, чем папа, а потом наступила какая-то незримая грань, и все изменилось, и я с ужасом думаю сейчас, не было ли это в Покровском-Стрешневе, в маленьком двухэтажном бараке, где тогда жили дядя Сережа и тетя Шура Новиковы. Мы тогда начали бороться со Стариком – в подпольном белорусском комсомоле, когда они были под пилсудчиками, им приходилось, в целях конспирации, собираться для занятий «французской борьбой» – и впервые тогда я победил отца и положил его на обе лопатки, а он уже тогда входил в Лодзь, Бреславль и Берлин, а я победил Старика, а он уважал борцовские качества, потому что сам был борцом – и что-то случилось в тот день глупое и недостойное, потому что я посмел ощутить себя с и л ь н е е, но я не был подготовлен к этому; мышцы набирают мощь быстрее, чем разум; мышцы – Аполлону Бельведерскому, разум – доброте...

...Я тогда хотел поступать в ГИК – все дурни моего возраста мечтают о лаврах лицедеев, а отец тактично, доказательно и дружески просил меня пойти по стопам деда, Александра Павловича, лесника.

– Получи профессию, – говорил он мне, – если есть в тебе искра, придешь в искусство. Нет ничего страшнее, чем быть приписанным к искусству – обидно это и нечестно...

Говоря так, он, верно, думал о том, что напору техники нашего века сможет противостоять лишь природа, потому что техника – однолика в своей устремленной мощи, а каждое дерево – это поэзия; Старик, видно, хотел приблизить меня к высокой культуре природы, которая – единственно – и может открыть в человеке Слово. Парадоксальность поколения наших отцов заключалась в том, что они, молясь и служа технике, «которая решает все», были романтиками в глубине души, а всякий романтизм произрастает особенно пышно там, где взору открыты долины, леса и снежные пики девственных гор...

...Я не послушал тогда отца, и он привел меня к Борису Сучкову, его другу, «красному профессору», недавно трагически ушедшему, и тот долго рассказывал мне о том, как работает Сергей Герасимов, и каков в искусстве Довженко, и кем был Эйзенштейн, прежде чем он стал Эйзенштейном, и я поверил Сучкову. А отцу-то ведь не поверил – я ведь поборол его в Покровском-Стрешневе, я сильный, мне восемнадцать, и ничего я не боюсь и почти все уже знаю...

...А потом, в Институте востоковедения, я выучил афганский язык, и отец горделиво просил меня писать мудреные буквы арабского алфавита и победоносно смотрел на лица своих друзей, – и я совсем уж утвердился в осознании своей силы и ума: один ли я такой?! Хорошо бы, если так... (Редко кому из наших Стариков пришлось поучиться в университетах. Институтский диплом, где каллиграфией выведена специальность, – сплошь и рядом ничто в сравнении с бездипломьем Стариков: их университеты были посуровее наших, а профессорами на их кафедрах работала жизнь, не прощавшая незнания – не то что ошибки...)

...Когда Старик ссорился с мамой, я становился на его сторону: я видел, к а к он работал, я понимал, ч е м ему это давалось, но я внутренне требовал – только сейчас я это по-

чувствовал – благодарности за то, что стоял на его стороне, но разве ж можно требовать благодарности за то, что стоишь за справедливость?!

А он благодарил, господи, как он благодарил, отдавая мне всего себя и все, что имел, а что он имел-то, кроме двух пиджаков и желтых ботинок на толстой каучуковой подошве?!

(Впрочем, вправе ли мы судить родителей? Вероятно – нет, особенно в том случае, если истинные их отношения неведомы нам. Но мы-то считаем, что все знаем... Нужна, видимо, такая культура человеческих о т н о ш е н и й, которая до сих пор есть идеал неосуществленный – иначе бы проблема детей в семье не составляла один из главных предметов мирового искусства.

Мне было страшно читать о том, как разделились дети Льва Толстого, когда он ушел из дома, одни стояли за мать, другие за отца. Любовь к матери – особого рода, она изначальна, в ней сокрыта преемственность и общность мира, в ней всегда – огромная жалость и тоска, в то время как любовь к отцу слагается из двух векторов, один из которых – проявление отцовской гражданской значимости, а другой – осознание этого нами, детьми.)

...Бывал ли мой Старик хоть раз не прав, когда ссорился с мамой? Бывал. И мне тогда было особенно горько, но я всегда вспоминал древних римлян, их литературу: те умели видеть разность труда и меру его тяжести. Мама, когда читала мне древних, учила сострадать тем, кому тяжелее, – и я сострадал отцу. Кого ж винить мне? Маму? Старика? Наверное, себя – коллективизм обязан вывести в примат ответственности не общую, л е г к у ю правду, а личную, самую тяжкую и единственно честную.

...Судью избирают. Дети становятся судиями родителей, и плохо, когда их избирают на этот пост – столь тяжкий и испепеляющий изнутри, разрывающий душу надвое: отец Лермонтова умер от разрыва сердца, когда сын предпочел ему – свою пензенскую, нежную бабушку...

Дети – это миры, и лишь немногие отцы-астрономы наблюдают небесные катастрофы и не очень часто говорят об этом людям, не желая с т р а щ а т ь возможностью горя, всеобщего и неотвратимого... Или я молю незнания? Я слагаю с

себя звание судии – нельзя делить неделимое: мы лишены права выбирать родителей, мы наделены правом понять их; стараться – во всяком случае.

...Неужели есть некая общая закономерность, неужели все проходят одни и те же круги, неужели повторяемость – угодна разуму, а то, что должно быть нормой, – анормально?!

...А может быть, подумалось мне, границей, разбившей меня со Стариком, оказалась любовь? Ощущение счастья соседствует с проявлением силы, обращенной не только вовнутрь: рыцарство, при всей его внешней привлекательности, было рождено необходимостью самоутверждения, а это опасная штука – самоутверждение, оно необходимо и разумно в балете, цирке (особенно воздушной акробатике) и парашютном спорте. Бывает ведь, что самоутверждение идет через отрицание соседствующего, когда человек отринул гнилую доктрину зла и насилия, – он прав, при всей резкости его позиции, особенно если это приложимо к политике. Но случается ведь, что мы так же резко отрицаем близкое во имя далекого, явь во имя мечты, привычное – во имя миражного ветра дальних странствий...

Я гонялся за сюжетами, и я не умею рассказывать о том, как я за ними гонялся, я могу только писать про это, а ведь Старику было обидно, когда я молчал, курил, морщился, не зная, как рассказать.

А он, видя, как молчу я, тоже молчал и не знал, как ему быть, и заваривал мне чай, когда я приходил к нему в гости, или наливал рюмку, и угощал какой-то особенной селедкой, и смотрел, как понравилась мне она, а я думал о том, что сегодня ночью буду писать главу, и слушал его рассеянно, когда он делился со мной тем, чем жил, и селедку я ковырял вилкой, вместо того чтобы нахваливать ее, даже если и не нравится она мне вовсе, и позволял себе советовать ему – так, как это подчас делают взрослые дети: категорично и устало, «новое время – новые песни, мы сегодняшний день понимаем лучше вас...»

...А может, мы не прощаем отцам то, что красит жизнь, когда это случается с нами? Может, мы не можем простить им последнюю их позднюю любовь, ранимую по-детски, ибо беззащитна она? Неужели же сыновья остаются до старости теми, которые только берут – Материнскую ли грудь, Отцовскую ли руку?

...С каждым днем их становится меньше – наших отцов...
...Папа, прости меня, пожалуйста.

Встреча в государственной радиотелевизионной компании «Эн Эйч Кэй». Огромное здание выполнено в современной манере – стекло и бетон. Множество прекрасно оборудованных павильонов, электроника, многокамерная съемка, автоматическое управление светом; снимают до трехсот полезных метров в день. (Речь идет о радиотелевизионном фильме; у нас норма – сто двадцать метров, а в кинематографе – около сорока метров в день.)

Окамото-сан, один из руководителей «Эн Эйч Кэй», великолепно владеет русским. Он познакомил меня с господином Итисима. Это ведущий продюсер государственного телевидения.

Я спросил, какие пьесы сейчас наиболее популярны в Японии. Не задумываясь, он ответил:

– В первую очередь исторические. Потом драмы о японских героях, потом домашние драмы – в первую голову молодежные, научно-детективные программы и, наконец, чисто приключенческие пьесы.

– Каким образом вы это выяснили?

– Режиссер и писатель значительно выше зрителя уровнем сознания, – ответил Итисима. – Они формируют общественное и зрительское мнение. Большинство японских режиссеров и писателей сейчас увлечены историей, ее наиболее выдающимися персоналиями. Древнее – для того, чтобы понять настоящее и угадать будущее. Режиссеров не может не интересовать социальная структура японской семьи. Если вы обратили внимание, то и Куросава, и Имаи, и другие ведущие режиссеры Японии решают многие проблемы, препарируя традиции и уклад семьи. Ну, а приключенческие вещи – это и отдых и заработок. Кобо Абэ – единственный, кто делает жанр детектива серьезной литературой, а не чтивом. На особом месте детские «научно-детективные фильмы». В них заложены главные тенденции научного прогресса... Но если бы писатели и режиссеры решили, что самое важное и перспективное в искусстве состоит теперь в разрешении кроссвордов, – уверяю вас, зрители бы доверчиво пошли за ними. Наше искусст-

во в чем-то усвоило приемы коммерческой рекламы. Зрителей можно повернуть к чему угодно: капля камень долбит...

Окамото не согласился с Итисима-сан.

– В «Эн Эйч Кэй», – сказал он, – есть институт общественного мнения, и он в первую голову определяет степень заинтересованности телезрителей в том или ином жанре. И дело тут не только в авангардной роли искусства. Мы выпустили джинна из бутылки – люди научились самостоятельно мыслить. Какая-то часть слепо следует моде, но многие теперь живут своей головой...

Мои японские друзья немного поспорили. Г-н Окамото сказал после, что разговор был очень острым, но поскольку в Японии повальное увлечение взаимной вежливостью, спор собеседников казался мне диалогом влюбленных.

Итисима продолжал:

– Редакция литературной драмы делает программу с расчетом на год. Зритель должен привыкнуть к героям, полюбить их. Только тогда героям будут верить. Герои станут пропагандистами тех идей, которые главенствуют в государственном телевидении. Часовую программу снимают в студии за неделю, – сюда входят режиссерская разработка сценария, актерские пробы, монтаж, музыка. Приглашают только маститых писателей и наиболее известных актеров. Молодому режиссеру получить постановку очень трудно. То же самое и с молодым актером. Исполнение роли на телевидении открывает ему дорогу в кинематограф, а главное – в рекламные ролики. За человеком, который получил серьезный ангажемент на телевидении, охотятся посредники (они существуют во всех областях искусства). Режиссер, который хочет «открыть» нового актера, обязан утвердить его в «музыкально-драматическом департаменте». Необходимо доказать руководству, почему именно этот молодой, неизвестный актер должен играть роль. «Зритель любит известность». Это – от американцев, которые всегда делают ставку на кинозвезд.

...Зашел в павильон, где работает Итисима. Возле его павильона – костюмерная, комнаты отдыха для актеров, его маленький кабинет. Все собрано в кулак, экономия времени прежде всего. Интересно, что около ламп освещения, от которых более всего мучаются актеры, установлены электронные

«поглотители жары». Впервые я видел, что актеры, сидящие под ярким светом «юпитеров», не потеют и не подбегают к ним заботливые гримеры, чтобы утереть с носа и с висков капли пота...

Снималась драма из «самурайской» жизни. У нас, к сожалению, неверно понимают этот термин, вкладывая в него шаржированное значение, рожденное скорее песенными рифмами, чем знанием предмета. Самурайство, как господствующий класс феодального общества, изменялось вместе с изменением общества: массе разорившихся самураев пришлось стать наемными работниками у крупных феодалов, платили им за их военный труд по охране сюзерена всего лишь горсть риса.

Считается, что самурай слепо и фанатично служит хозяину, это в нем нечто врожденное, «национальное». Это отнюдь не так – «национальное» вне классового не существует. На определенном этапе самурайство было шагом вперед, ибо были выработаны некие «двусторонние» принципы, родились «договорные» отношения, пришедшие на смену слепому, рабскому подчинению хозяину, которое отличало древнюю Японию.

Самурай – явление в ту пору парадоксальное, и интерес к нему писателей и режиссеров оправдан: личная доблесть, фанатизм в борьбе с врагом хозяина, соревнование в беззаветной храбрости с конкурентами-самураями, чтобы, победив, получить еду для семьи, – вот что означает понятие самурайства во времена феодализма.

Навязывание самурайства в наш век – это уже другая проблема, новая в какой-то мере, но весьма распространенная попытка канонизировать моральный эталон прошлого, выхолостив его классовое содержание.

Когда «самурайская» драма пишется художником-реалистом – Япония ее смотрит; когда драма на эту тему сделана как лубок, как образец для подражания, как эталон японского духа, утерянного под «воздействием иностранщины», – Япония над этим смеется (не вся, конечно же, но думающая – бесспорно).

...В центре, возле громадин мощных десяти- и пятнадцатиэтажных зданий, примостился махонький деревянный зоомагазинчик. Продавец птиц, седой старик, сидел возле кле-

ток и любовался диковинными попугаями. Рядом со стариком устроилась стайка мальчишек и девочек. Они были в каком-то молитвенном оцепенении. Иногда мальчик или девчушка на цыпочках отходили от птиц и вскоре возвращались с подарками. Они приносили в кулечке зерна. Куплено это было где-то рядом на улице, но каждый японский подарок – пусть там будет всего 50 граммов зерна – упакован в бумагу и завязан красивой тесемочкой.

Дети и старики любовались поющими птицами, а рядом в газетном киоске крикливо продавали «Асахи»: «Минору Генда, 65 лет, выдающийся морской офицер, принимавший участие в планировании нападения на Пирл-Харбор, считает, что Япония должна занять лидирующую роль в будущей оборонительной организации на Дальнем Востоке. Он считает, что Япония должна быть более активной в наращивании военной мощи, поскольку, когда вьетнамская война закончится и американские силы будут выводиться, именно Япония должна стать дальневосточным лидером!»

Когда накладывается это продуманное, агрессивное выступление седого генерала Генда на зачарованных детей, которые слушают пение птиц, начинаешь невольно думать об обреченности человеческих иллюзий. Разноустремленность возрастных и социальных интересов толкает мир к катастрофе. (Именно там и тогда, в далеком Токио, я решил написать сцену в магазине, где продают птиц, и сделал это для «Семнадцати мгновений весны».)

Проснулся рано утром, около шести. Включил телевизор. В семь часов ТВ передавало зарядку для детей. Стало радостно и горько: вспомнил своих девочек. Малышек трех-шестилетних, заспанных еще, вводят в павильон «Ти-Би-Эс». Под надзором учителей они в спортивном зале начинают делать все, что хотят. Постепенно они разгуливаются, и тогда начинается продуманная, точная гимнастика для трех-шестилетних детишек.

И вдруг – будь проклята реклама! – появляется темная комната, а в ней виолончелист, под глазами синяки, пот на висках. Музыкант устало опускает руки и закрывает глаза. Он грезит чашкой кофе. Джаз. Рев. Свист. Голос, каким объявят

второе пришествие: «Пейте «голд найс кафе», это восстановит ваши силы!» У виолончелиста в руках появляется пачка растворимого кофе, он выпивает полстакана, улыбается, пот на висках исчезает, и он продолжает терзать мелодию Брамса.

Предстоит беседа о фашизме – в «старояпонском» варианте. Вчера весь центр Токио был заклеен (точнее сказать – загажен) листовками фашистской организации Акао Бина. Ультраправые объявили «неделю борьбы против коммунизма».

Мои собеседники – люди объективные. Они анализируют эту проблему «со всех сторон», стараясь выявить возможную тенденцию развития.

– Рассматривать фашистскую опасность, – говорили мои собеседники, – можно лишь в плане исторической ретроспективы. Сегодняшние фашистские листовки можно понять, вернувшись в 1867-й год, в «год реставрации», когда южане с острова Кюсю, которые торговали, а потому теснее всех были связаны с миром, совершили переворот против сёгунов под лозунгом «вернуть власть императору». Южане, имевшие широкие контакты с торгующим миром, первыми поняли, что вместо деревянных парусников пора строить паровые суда, вместо мечей, которыми защищались от нападений пиратов, пора заводить пушки. (Это ложится в точную схему: экономика диктует политику.)

Вскоре после этого переворота произошло восстание Сайго Такамори. Это восстание, как определили мои японские коллеги, было восстанием «темпа», ибо с реставрацией появилась новая монархическая бюрократия, связывавшая развитие экономики, и самураи, совершившие переворот, остались за бортом, не получив «бюрократических благ« от нового режима. Таким образом, понятно, почему лозунгом восстания Сайго Такамори было: «Долой новую бюрократию!»

Восстание разгромили. Вот тогда-то, после разгрома самурайского восстания, и было создано общество «Черного океана» (иногда его называют обществом «Черного дракона»). Создал это общество Таяма Утида («Уцида», как иногда транскрибируют его имя). Общество было организовано на Кюсю. Члены «Черного океана» провозгласили себя «хранителями самурайского духа».

После того как основатель «Черного океана» Таяма Утида отладил прочные связи с «прогрессистами» Китая, крупный капитал начал поддерживать Таяму и его сподвижника Инукаи Ки. Крупный капитал поддерживал этих лидеров «самурайского духа», поскольку борьба одиночек традиционна для Японии: «самурайский дух» – это героизм индивида, на это можно делать ставку. Особенно когда вспомнишь историю предвоенного развития Японии – покушения на неугодных министров, убийства премьеров, дворцовые перевороты.

В период подготовки к агрессии Японии в Юго-Восточной Азии именно лидеры «Черного океана» Таяма Утида и Инукаи Ки скрывали завербованных ими бирманцев, филиппинцев, индусов, которые во время войны стали вождями коллаборационистов – в частности лидер индийского «временного правительства» Чандра Боссук.

В свое время из Китая в Японию вернулся один из членов общества «Черного океана» – Ита. Он был откровенным вождем фашизма и вернулся из Китая для того, чтобы, как он сказал, «навести порядок на родине, прежде чем мы пойдем на континент».

Люди, посещавшие Таяму Утиду, рассказывали, что у него на столе стояло фото Гитлера с дарственной надписью. Таяма не был даже депутатом парламента, но тем не менее к нему считали за честь попасть премьеры, сенаторы, министры. Он их убирал, он и миловал, он строил «азиатскую» политику в Японии. Его ставленниками были премьеры Инука и Хирото. Его ставленником, как утверждают мои японские собеседники, был министр иностранных дел Мацуока.

В 1945 году это общество было разогнано. В 1960 году в Осаке, в районе Намихана-ку, на улице Ниика-бачо, 2667, телефон 631-07-38, был воссоздан клуб «Черного дракона». Лозунг: «Назад, к идеям Таямы!»

Клуб «Черного дракона» открыто называет три пункта своей программы: национализм, антикоммунизм, паназиатизм. Сейчас так же, как до 45-го года, члены клуба «Черного дракона» незаметны в общественной жизни. Но если внимательно проанализировать деятельность «Черного дракона», то можно заметить ряд интересных тенденций. Например, недавно был создан «Азиатский институт». Ректором этого ин-

ститута стал президент общества «Красная свастика». Впрочем, вскорости ректор был убран из Азиатского института, потому что выявились его связи с иностранцами. С точки зрения этики «Черного дракона», сие недопустимо: «Азия – для азиатов», никаких контактов с другой расой! (Можно и нужно отлаживать всевозможные контакты, но об этом никто не должен знать. Политик, который не смог скрыть свои контакты, обязан быть устранен. Связи с американскими и европейскими правыми необходимы, но это следует держать в тайне.) Поскольку у ректора Азиатского института были тесные связи с южновьетнамскими буддистами, его сохранили для работы на другом очень ответственном участке – он сейчас советник по развитию Малайзии. Телефон, адрес этого человека теперь никому не известны. Малайзия – давняя мечта японских ультра.

В последние годы были созданы «Японские молодежные курсы», «Патриотическая партия Великой Японии», «Лига японской молодежи», «Союз защитников Японии». Стала издаваться газета «Защита от коммунизма». Словом, за последние три года в Японии зарегистрировано около 400 крайне правых организаций, исповедующих фашистские лозунги «Черного дракона». Эти ультра не стремятся войти в парламент. Они работают по своим личным, тайным, долговременным связям. Депутаты парламента, к которым они нашли ключи, проводят идеи паназиатизма, национализма и антикоммунизма. Практику осуществляют функционеры правых партий, проводя покушения, всякого рода подкуп, шантаж.

В 30-м году «Красную свастику» разогнали, так как она участвовала в попытке фашистского переворота. Спустя тридцать восемь лет партия была возрождена.

...Получив от моих знакомых адрес и телефон фашистской «Патриотической партии Великой Японии», – их центральный комитет расположен на Чиодо-ку Кудан Минами Чоме, возле императорского дворца, телефон 262-16-68, – я позвонил туда, представился: «Писатель, корреспондент "Правды"», – и попросил о встрече с руководством партии. После долгого суетливого замешательства мне ответили, что сейчас со мной никто беседовать не может. Попросили перезвонить месяца через полтора. Позвонил в «Японские моло-

дежные курсы» – тоже фашистская организация, расположенная в Минато-ку, Адзабу, Ридого-чо, телефон 404-64-15. Мне ответили, что руководители курсов сейчас заняты, а никто иной со мною беседовать не имеет права.

– Позвоните попозже.

– Когда именно? – спросил я.

– Попозже, – последовал короткий ответ, и без традиционного японского прощания трубка была брошена на рычаг.

Лидера социалистов Асануму убил Ямагути, состоявший в «Патриотической партии Великой Японии». Для того чтобы не «марать партию кровью», он за месяц до покушения на Асануму вышел из партии, но его отец стал секретарем президента общества «Красная свастика». (Впрочем, новый президент «Красной свастики» Сасакава категорически утверждает, что цель «Красной свастики» сугубо благотворительная: госпитали, больницы, школы для всей Азии.)

Крайне правые исповедуют традиционную преемственность: сын обязательно становится преемником отца. До сих пор остается загадочной гибель сына Таямы в автомобильной катастрофе. В принципе именно он должен был стать новым президентом «Черного дракона»...

– Фашисты имеют опору в народе? – спросил я.

– Среди темноты, люмпена – да, – ответили мои собеседники. – Среди фанатиков «японского традиционализма» – да. Среди старых военных – да. (А Япония – страна семейных традиций, поэтому дети «старых военных» обязаны идти по дороге отцов.)

Несколько раз я замечал, как в отелях, где я останавливался, просматривали портфель, прослушивали мои дневниковые заметки, которые я наговаривал на диктофон, пролистывали записи, сделанные на машинке. Я никогда ничего не скрываю, все оставляю на столе и спокойно ухожу. Но память-то есть: помнишь ведь, как оставил, что оставил и в каком порядке оставил. Да и перепроверить это – нехитрое дело.

Для того чтобы проводить эту мелкую доносительскую работу, тоже нужно иметь опору. Правительство громогласно исповедует демократические лозунги, а демократии противна грязная полицейская нечистота. Однако ведь кто-то ее должен делать, а Япония ныне такая страна, где нельзя топнуть

ногой и приказать. Следовательно, нужно найти человека, который верит в то, что он делает «чистое дело». Таких людей находят: в основном это люди крайне правых, фашистских партий, которые исповедуют традиционализм, старые японские методы слежки и недоверия к любому иностранцу.

Токио. Семенов.
Редакция «Правды»
(передано по телефону):

«Сижу в маленьком домике Исии-сан под Токио, в Митакаси, на Инокасира.

Портреты Зорге на стенах. Матрешки. Книги. Именно она, эта женщина, сумела сохранить и передать нам его фото, известное теперь всему миру. Лицо ее улыбчиво и приветливо, и только громадные глаза скорбны и живут своей жизнью...

Исии-сан рассказывает:

– Сначала незаметный тихий человек из секретной полиции пришел к моей маме:

«Вы должны сделать так, чтобы ваша дочь была настоящей японкой. Она должна помогать нам. Когда ее друг уезжает, она должна приносить нам его бумаги и после аккуратно класть их на место. Об этом никто никогда не узнает... Если же об этом разговоре передадут другу вашей дочери, пенять вам придется на себя.»

Друг Исии-сан узнал об этом.

На следующий день в дверь дома Зорге постучался Аояма – сотрудник специального отделения полиции.

– Исии-сан нет дома, – ответила старенькая служанка, приходившая утром к Зорге готовить обед и убирать в комнатах.

– Пусть она сегодня же придет к начальнику.

Зорге спустился со второго этажа:

– Какое у вас дело к Исии?

– Наше дело, – ответил полицейский без обычной воспитанной улыбки.

– Расскажите мне, пожалуйста, какое у вас дело к Исии-сан...

Аояма оттолкнул Зорге – он хотел продолжать беседу с испуганной служанкой. Реакция у Зорге была мгновенной – он ударил полицейского в подбородок, и тот упал.

Зорге увидел дырки на ботинках лежавшего агента полиции. Он попросил служанку дать ему пару новых туфель – он был неравнодушен к обуви, и у него всегда лежала куча новых, щегольских ботинок. Аояма туфли взял и, дождавшись, пока Зорге поднялся наверх, сказал служанке:

– Он страшный человек, когда сердится... Я не думал, что он такой.

И все-таки они заставили женщину прийти в полицию. Начальник спецотдела Мацунага составил протокол: где родилась, чем занималась, когда познакомилась с Зорге.

– Вы должны дать письменное обещание покинуть его, – сказал полицейский, – и тогда вас можно будет спасти.

– Я не дам такого обещания, – ответила Исии-сан, – ни устного, ни письменного...

– Следовательно, – сказал Мацунага, – на этих днях протокол уйдет в центр, и вы будете навсегда опозорены презрительным подозрением.

В тот же вечер Зорге пригласил в маленький ресторан Мацунагу, Аояму, переводчика германского посольства Цинашиму и Исии-сан. Зорге поил гостей до ночи и просил об одном – разрешить Исии быть с ним под одной крышей. Мацунага отрицательно качал головой. Он продолжал отрицательно качать головой, когда сделался совсем пьяным. Зорге помог ему подняться, и они ушли. Их долго не было. Переводчик немецкого посольства Цинашима обернулся к Исии и шепнул:

– Полиция плохо думает о Зорге. Лучше вам не бывать у него. Я буду защищать вас, потому что я японец, но лучшая защита для вас – расстаться с ним.

Поздно ночью, сидя около своей старенькой пишущей машинки, Зорге негромко говорил:

– Больше тебе ходить ко мне нельзя... Я буду тосковать, но ты не приходи.

– Ничего... Я боюсь не за себя, я за тебя боюсь.

Он быстро взглянул на нее.

– Знаешь, как страшно, когда болит раненая нога в холода... Выть хочется – так страшно болит раненая нога. А у сколь-

ких солдат так болят ноги и руки? А сколько таких, как я, солдат сгнило на полях войн? Воровство – вот что такое война, малыш... Человек – маленький бедный солдатик. Когда начинается война, солдатик не может сказать «не хочу». Я стал умным, поэтому и делаю так, чтобы войны больше не было...

Он запнулся на мгновение и поправился:

– Стараюсь так делать, во всяком случае. Это моя работа, понимаешь? Моя настоящая работа...

– Цинашима-сан сказал, что за тобой следят... Тебе не верят...

– Зорге делает хорошее дело, – продолжал он тихо. («Он говорил с таким прекрасным акцентом», – вспоминает Исии-сан, и тонкие пальцы ее рвут тонкий шелковый платок, и громадные глаза кажутся невозможно скорбными, увеличенными толстыми стеклами очков, – в тюрьме у нее испортилось зрение.) – Война страшна, человек несчастлив. Понимаешь? – продолжал он. – Зорге делает хорошо. Потом я умру. Это правда. Я умру. Что поделаешь? Зато люди будут счастливы. И ты будешь жить. Если Зорге не погибнет, вам будет трудно жить. Вам, японцам. А если я сделаю мою работу, это будет для японцев счастьем. Это правда...

4 октября 1941 года они виделись в последний раз. Они виделись в последний раз именно в тот день, когда, за шесть лет до этого, впервые встретились. Она тогда работала в ресторане «Золотой Рейн», «Рэйн-гордо» – так произносят это японцы. Он там праздновал свой день рождения. Один. Сидел и пил шампанское, и смотрел на нее, и улыбался. А назавтра они увиделись возле музыкального магазина на Гинзе. «Какую пластинку тебе подарить?» – спросил он. «Итальянца Джильи», – ответила Исии. Зорге покачал головой: «Я лучше подарю Моцарта».

Они долго слушали пластинки в этом большом магазине, и постепенно мир смолк, и стало вдруг тихо, и был для этих двух – сорокалетнего Зорге и юной Исии – только веселый, озорной, мудрый Моцарт, полный свободы, любви, весны...

4 октября 1941 года они сидели в ресторанчике «Ломайер» и молчали. Потом Исии подняла за него бокал с шампанским – ему исполнилось сорок шесть лет.

Она пожелала ему счастья, здоровья и долгих лет жизни. Он усмехнулся и спросил:

– Полицейский у тебя уже был?

Она молча кивнула головой. Мацунага приехал к ней с протоколом ее допроса. Он сжег эти бумаги в маленькой японской печке «хибати». «Если об этом узнает хоть одна живая душа, – сказал он, – погибнем мы оба, причем вы – смертью более мучительной, чем я».

Усталая улыбка тронула лицо Зорге. Он погладил ее руку. Потом, закрыв глаза, притронулся пальцами к ее щеке. И так замер на мгновение.

– Все будет хорошо, – шепнул он. – Теперь Мацунага будет всегда защищать тебя, помни это.

Больше они не виделись: вскоре Зорге был арестован. Исии-сан арестовали только в сорок третьем году под хитрым предлогом: у нее в доме жил мальчик-студент, читавший книги запрещенного философа. Мальчика вызвали на допрос.

– Что ты знаешь об этой Исии-сан, женщине – государственном преступнике?!

Мальчик ничего про нее не знал. Его выгнали на института, а ее арестовали. В тюрьме шесть женщин сидели в десятиметровой грязной камере, полной клопов, вшей, блох. Женщин вешали за ноги к потолку и так допрашивали. Мужчин пытали в коридорах на глазах женщин, – страдание было двойным – и физическим и моральным.

– Я чувствовала, что не выдержу этого ада, – рассказывает Исии-сан. – Два следователя допрашивали меня попеременно. «Спросите обо мне начальника спецотдела Мацунага», – рискнула я. «Теперь Мацунага всегда будет защищать тебя», – помнила я слова Зорге, сказанные им в наш последний день. Зорге всегда говорил правду. Он спас меня и тогда: Мацунага подтвердил, что я ни в чем не виновата. И меня выпустили из тюрьмы. Это Зорге спас меня. Он дал мне силу, он дал мне защиту, даже когда сам был беззащитен.

– А что было потом? – спрашиваю я.

– Потом была победа, – продолжает Исии-сан. – Ваша победа. Победа Зорге. Победа, принесшая Японии освобождение от милитаризма... В маленьком журнале я прочитала, что Зорге был казнен. Там же я нашла фамилию адвоката, который его защищал, – Асанума Сумидзи. Я искала могилу Зорге – никто не мог мне помочь. Я хотела узнать хотя бы,

когда он погиб, этого тоже никто не желал мне сказать. Я ездила по кладбищам. Дзосигая – кладбище для тех, у кого нет семьи. Смотритель долго рылся в документах. Потом он ткнул пальцем в иероглифы: «Рихард Зорге». Я спросила:

– Где его могила?

– Не знаю. Походите по кладбищу, – может, отыщете.

Женщина долго ходила среди могил. Во время войны в Японии был древесный голод. Маленькие деревянные дощечки с именами умерших пошли на дрова. Исии-сан ходила среди холмиков по мокрой траве и опавшим большим листьям. Однажды приехал американский «джип», и несколько офицеров с переводчиком Судзуки пошли по кладбищу, громко переговариваясь и похохатывая. Они долго искали чью-то могилу, и Исии-сан подумала: «Они тоже ищут его». Она поехала в тюрьму. Она добилась, чтобы ей показали «тетрадь прошлого». Там она нашла запись: «Рихард Зорге, место рождения – Берлин, скончался 7 ноября 1944 года в 10 часов 37 минут 10 секунд вечера».

Он погиб в день своего самого любимого праздника – в день революции Ленина.

– Где он похоронен? – спросила Исии-сан тюремного офицера.

– Это должно знать кладбище.

Она пошла к адвокату Асанума. Он взял ее дело, начал работу, но прошел год, и никто не хотел помочь ни ему, ни ей.

– Нами управляют американцы, – сказали ей в тюрьме, – мы за них не отвечаем, но они отвечают за нас...

Женщину в очках, в черном платье знали на кладбище. Однажды к ней позвонили оттуда:

– Недавно у нас было общее перехоронение. Мы хоронили тех, за кем так и не пришел никто из родных. Мы оставили одного иностранца. Можете его взять, если убедитесь, что это ваш Зорге.

– Почему вы думаете, что он был иностранцем?

– Судя по гробу, он был очень высоким...

– Я возьму, – сказала Исии-сан. – Я сейчас приеду...

– Погодите. У вас есть могила для него?

– Нет.

– Мы не можем в таком случае отдать его вам. Нужна могила.

Она купила могилу. Она отдала все свои сбережения; это очень дорого было в Японии – купить могилу. Когда все документы были оформлены, Исии-сан поехала на кладбище. Пока она сидела в кабинете управляющего, раздался звонок из тюрьмы: ей запрещали взять останки Зорге. Кладбищенский управляющий окаменел лицом. Он был честным человеком, и во время войны по ночам к нему привозили многих из тюрем...

– Он мертв, этот Зорге, – сказал он тюремщикам. – Что изменится в этом мире, если я отдам женщине останки человека, казненного вами?

Он не послушался тюремного запрета, и женщина, адвокат и трое рабочих пошли на кладбище. Могилу раскопали быстро. Она сразу узнала его малиновые ботинки.

Рядом с его вставными зубами лежали очки в красной целлулоидной оправе. В одном из журналов Исии прочитала, что на суде он был в очках из красного целлулоида. Сошелся и перелом кости ноги. Это были останки Рихарда Зорге.

– В крематории я ждала час. Мне вынесли урну. Я написала на урне: «Рихард Зорге, пятьдесят лет». Ему тогда было сорок девять лет один месяц и три дня, но по нашим обычаям считается, что если хоть один день перевалил за твой год, ты уже принадлежишь к следующему году. Я хранила урну с его прахом у себя дома целый год. Он был со мной, а теперь он принадлежит всем честным людям Японии...

Исии-сан осторожно притронулась к бюсту Зорге и поправилась:

– Не он... Память о нем... О человеке, который воевал не против Японии, а против фашизма и который победил.

В ее лице улыбается все – и ломкая линия рта, и точеный нос, и лоб, и брови, – все, кроме глаз. Иногда она выходит из маленькой комнаты, и, когда возвращается, заметно, что глаза ее чуть припухли и покраснели. Я смотрю на эту женщину с нежностью: она отплатила Зорге верностью и памятью – высшим проявлением человеческой любви. Она нашла останки человека, который принадлежит всем тем, кому ненавистны фашизм и война. Спасибо за это Исии-сан – верной и скромной, посвятившей жизнь свою служению памяти одного из самых человечных людей нашего грозного и прекрасного времени».

Весь день провел у господина Такаси – руководителя международного отдела крупнейшей частной телевизионной компании «Ти-Би-Эс». Беседовал с политическим комментатором г-ном Сонода. Он ехал в Токийский университет вести прямой репортаж: там идет забастовка левых студентов. Пригласил поехать вместе с ним. Руководитель «Ти-Би-Эс» сказал мне, что Сонода великолепно говорит по-английски: «У вас не будет проблемы с переводчиком».

Действительно, первые слова г-н Сонода произнес на хорошем американском «слэнге». Однако потом я понял, что, кроме нескольких обязательных фраз, он ничего не знает, и объясняться нам пришлось на пальцах. Тем не менее поездка была интересной. Около университета собрались демонстранты, человек двести. Пока мы стояли около телевизионных камер, толпа студентов возросла до пятисот.

Эту, как и остальные молодежные ультралевые демонстрации, отличает крайний истеризм. Маленький паренек в красной каске выкрикивает лозунги громким, тоненьким, пронзительным голоском. Остальные сидят на асфальте, подложив под себя листки бумаги, и внимательно слушают лидера. Из здания, где сейчас находится штаб бастующих студентов, то и дело выходят ребята и девушки, раздают присутствующим листовки: их немедленно расклеивают на стенах домов.

Ребята готовятся идти к министру образования со своими требованиями, в главном – разумными. Если бы не крикуны, спекулирующие на студенческой проблеме, то наверняка большинство здравомыслящих японцев, озабоченных будущим страны, стало бы на сторону молодежи. Однако ультралеваки, прилепившиеся к движению, толкают ребят к требованиям «немедленной социальной революции, немедленного уничтожения всей буржуазной культуры, немедленного изгнания всех старых профессоров».

Ультралевых отличает такая же тенденция к железной организации, как и ультраправых. Стоило руководителю демонстрации посвистать в свой пронзительный свисток и крикнуть что-то через мегафон, как немедленно к нему подскакивали девушки и ребята и, зная заранее, кому, куда, в какой ряд, в какую шеренгу становиться, по-солдатски выстраивались в спаянную колонну.

Сонода быстро надел каску, дал такую же мне и попросил опустить на лицо прозрачную пуленепробиваемую маску.

– Сейчас может начаться драка, – сказал он. – Бьют весьма больно.

Промышленность по выпуску «противоударных касок» здорово греет руки: в месяц они выпускают триста тысяч касок для демонстрантов в одном лишь Токио.

Стоит такая каска четыреста иен, а особенно прочная, красного цвета, – тысячу.

Японские журналисты мне говорили, что, быть может, хозяева этой «индустрии» связаны с главарями ультралевых студентов, потому что барыши у «каскопроизводителей» совершенно фантастические.

Чем дольше я наблюдал за студентами, тем больше они казались мне членами военной организации. Впереди – наиболее рослые ребята в касках, за ними девушки и парни без касок, это, вероятно, «интеллектуалы» движения – худенькие, слабенькие, но очень голосистые, они все время выкрикивают лозунги. Колонну замыкает арьергард – там тоже здоровенные ребята в касках, с дубинками и металлическими прутьями в руках.

Ребята начали бегом кружить по улице, скандируя свои лозунги, они «разогревались», словно спортсмены перед стартом. Когда их крики стали особенно яростными, подъехали дополнительные наряды полиции. Полицейские выскочили из своих машин и, подстроившись на бегу к демонстрантам, окружили их со всех сторон и «повели» колонну к министру образования.

По подсчетам серьезных специалистов из Института общественного мнения компании «Ти-Би-Эс» (а эта компания умеет серьезно считать), лишь двадцать процентов студентов принимают активное участие в беспорядках. Но эти двадцать процентов в основном студенты гуманитарных факультетов, то есть сила «дрожжевая», организованная и наиболее, при всей своей внутренней индивидуальности, спаянная неразрешенностью проблем, стоящих перед ней. А восемьдесят процентов остальных студентов следуют за лидерами, хотя в глубине души, вероятно, хотят учиться. (Это относится опять-таки к гуманитариям, – будущие врачи, инженеры и биологи к забастовке не примкнули.)

В кругах журналистов распространился слух о том, что правительство готовится ввести двухсотпроцентный налог на оплату за образование, нанеся, таким образом, сокрушительный удар по бунтовщикам. (В 1969 году эта тема лишь обсуждалась, а затем была проведена в жизнь: теперь пятьсот тысяч иен – в среднем – стоимость обучения в частных университетах. А большинство университетов частные, потому что крупнейших государственных университетов очень мало. А что такое пятьсот тысяч иен? Это что-то около тысячи рублей. Студент должен платить тысячу рублей в год; за пятилетнее образование в университете он обязан уплатить пять тысяч рублей. Конечно, при той незначительной заработной плате, которую получают рабочие семьи, бедные студенты вынуждены будут прекратить учебу. Эта мера вызвала шок среди японского студенчества. И сейчас, как мне говорят японские друзья, движение ультралевых студентов пошло на убыль. Центристские и правые организации смогли кое-чего добиться. Они, в частности, начали патронировать семьи, где есть студенты. При японском благородстве, обязательности и умении помнить добро эти студенты, естественно, бастовать не будут. Но выгодно ли это нации? Не знаю. Левые студенты, если отшелушить провокационные лозунги, требовали реформы обучения. Они хотели получать больше знаний, они просили осовременить программы: они хотели быть не «зубрилами» прогресса, а его заинтересованными работниками. Загоняя болезнь вглубь, общество рискует потерять много талантливых людей, а таланты – это главное богатство страны; потеря таланта, даже одного, – невосполнимая потеря...)

Господин Такахаси познакомил меня с обозревателем госпожой Содо. Она пригласила поехать вместе с ней в порт. («Ти-Би-Эс» показывает высокий класс организации работы: за каждым обозревателем закреплена машина, киногруппа, фоторепортеры, диктофоны. Мобильность абсолютная.) В порту была торжественная встреча юношей и девушек из Окинавы. Они приехали в Токио, объяснила она, получать рабочие навыки на маленьких «семейных» фабриках. Им оплачивают жилье, пищу, плюс к этому дают зарплату – исподволь готовят «верных» студентов. (Это было началом серьезной борьбы с левыми. Я сказал тогда об этом Содо. «Ну что вы, это чистая благотворительность. Впрочем, из этого, конечно, стоит извлечь пропагандистскую выгоду».)

В порт съехалось десяток репортеров. Со всех сторон снимали ребят из Окинавы, коричневых от тамошнего тропического, жгучего солнца. (А «у нас» в Токио по-прежнему холодно, ветер пронизывающий.) Содо сказала, что через два-три часа по вечерней программе будет передан репортаж о приезде этих юношей и девушек из Окинавы. Через полчаса после того, как мы возвратились в телецентр, меня пригласили посмотреть этот репортаж – он уже готов и смонтирован. В кадре – ребята из Окинавы. Они завороженно смотрят на громадины токийских домов, на торжественную встречу («Вы приехали работать и учиться, быть полезными родине, мы поможем вам в этом»), на оркестр, цветы. Встык – кадры, на которых запечатлены кричащие, свирепые «ультралеваки» в касках, с дубинками в руках. И невдомек мальчикам и девочкам из Окинавы, что они объективно выступают в роли противников прогресса, ибо, повторяю, в первооснове своей движение левых студентов обращено в будущее. И как больно сознавать, что взрослые, а скорее даже старые люди пытаются обернуть движение левых в свою «эгоистическую выгоду». («Великая пролетарская культурная революция» с сожжением книг Толстого и с железными дубинками отпугнет любого здравомыслящего).

...В «Ти-Би-Эс» работают не только телетайпы информационных агентств Франции, Великобритании и Америки. Там, впервые в Азии, работают телетайпы на иероглифах. Казалось бы, иероглифический телетайп должен работать медленнее, чем телетайп латинского шрифта. «Нет, – с гордостью сказали мне японцы, – наш телетайп работает значительно быстрее европейского».

Это чудо, действительно чудо: японцы смогли рассчитать на ЭВМ принцип иероглифического письма и отладили телетайп, который первым, – в сравнении с остальными, – сообщает о новостях со всего света.

Я тогда подумал, что если бы национальная тенденция выражалась в том, как «свое» делать более быстрым, красивым, удобным, более приятным для человека, то – да здравствует такой «национализм»! Да здравствует «национализм» скорости, удобства, радости! Долой национализм ущемления «других»! Впрочем, истинный национализм начинается с

ущемления «своих». «Народ, угнетающий другие народы, не может быть свободным» (К. Маркс).

Шел мимо небоскреба Касумигасеки и впервые за все мое житье в Японии по-настоящему увидал небо – фиолетовое, тревожное, предгрозовое. На фоне этого тревожного неба (в фиолетовости точно угадывался красный цвет) пронеслась стая голубей, и как-то неожиданно высветило багрово-красным (уже близился вечер, а весеннее небо всегда таит в себе багрово-красный цвет), и эти голуби показались мне фантастическими попугаями из древних японских сказок – так они все были по-разному освещены на фоне небоскреба Касумигасеки, промелькнув в предгрозовом, близком небе...

Вечером приехали японские друзья, и мы отправились в Иокогаму. Ехали на новенькой японской машине. Чудо-машина! Вспомнил разговор о киноби, когда Токато-сан объяснял мне «функциональную красоту». В первые дни я не мог понять, что есть «японское» в японских автомобилях – в «тойотах», «брюбердах». Сейчас, присмотревшись, я все-таки могу объяснить себе, чем они отличаются и от американских машин и от европейских. Во-первых, в отделке значительно больше дерева. Японцы религиозно ценят дерево. Деревом отделан приборный щиток, поэтому звук у радио здесь особенно приятный, не бывает посторонних тресков. У машин более низкая посадка, хотя дороги в Японии отнюдь не блистательны. Совершенно иная система зеркал, позволяющая уделять минимум внимания наблюдению. Мне приходится высовываться из машины, когда я поворачиваю налево или направо, а здесь так много зеркал, что даже голову поворачивать не надо, только глаза чуть скоси – сразу все увидишь. Совершенно иные сиденья: они захватывают вас, но не расслабляют, они делают вас соучастником скорости. Иная форма фар – чуть косящая, что ли. (В этом тоже чувствуется японский конструктор). Ведь японцы считают, что наши круглые, совиные глаза очень некрасивы. Только длинные глаза они считают проявлением истинной красоты. И при том – очередной парадокс Японии: 80 тысяч модных операций по «округлению глаз».)

Американцы стремятся к конкретике формы. Они доводят форму до абсолюта, немцы тоже. Уж если «фольксваген» придуман «божьей коровкой», то он и должен выглядеть как капля. А у японцев каждая линия иррациональна и неконкретна. Но, собранные воедино, они подчинены идее скорости.

Рано утром приехал Ивана-сан на своем маленьком «брюберде». По-английски «блубёд» означает «синяя птица». Японцы не произносят букву «л», они говорят «брюберд». Даже когда они хотят сказать по-английски: «Ай лав ю» – «Я люблю тебя», – они произносят: «Ай рав ю». Сигареты «Лаки страйк» они называют «Раки страйк». «Выходира на берег Катюша... Выходира, песню заводира...»

Ивано-сан пригласил меня за город. Он придумал интересный маршрут: «по деревянной Японии», в «институт новых форм» – к художникам, а потом в театр «Синсейсакудза», руководимый Маяма-сан, одной из наиболее известных актрис и режиссеров Японии.

В институте «новых форм» Ивана-сан завел меня в «комнату для изучения чайной церемонии». Это бесконечно интересно.

Чай вы должны выпить в три присеста. После каждого глотка вы обязаны говорить хозяину комплименты. Хозяин должен любезно и заинтересованно отвечать вам. Чашку следует держать «лицом», то есть рисунком, к хозяину. Непристойно пить чай, повернув ее «задом» к хозяину. (Ивана-сан очень потешался, объясняя мне, что значит «лицо», что значит «зад» чашки.)

Чаем угощают главного гостя. Он должен сидеть справа от хозяина. Только главный гость имеет право говорить о вкусе чая, ибо это угощение сделано в его честь. Лишь после второй заварки право высказываться о вкусе чая перейдет к соседу главного гостя.

Вот вам японское застолье, которое разнится от грузинского, пожалуй, только тем, что вместо вина здесь пьют душистый, великолепный чай. Впрочем, есть еще одно отличие: здесь не говорят ничего о хозяине; говорят лишь о том, как он приготовил чай, – разбирают «работу», а не «личность», ибо даже «злодей, умеющий делать нечто, заслуживает снисхож-

дения». А вообще чайная церемония, ее философская сущность заключается в том, чтобы уметь найти прекрасное в обыденном.

...Бывает так, что идешь по дороге и начинаешь привыкать к окружающей тебя диковинной красоте. Но вдруг подымешься на пригорок, откроется тебе новая даль, ты поразишься ее плавной голубизне, обернешься назад и заново увидишь многое из того, мимо чего прошел, привыкнув. (Вспомнился Александр Трифонович Твардовский. Однажды рано утром он, гуляя по дорожкам нашего поселка, зашел ко мне. Пронзительные голубые глаза его – диковинные глаза, изумительной детскости, открытости – были как-то по-особому светлы и прозрачны, будто бы «умыты» росой. Он тогда сказал одну из своих замечательных фраз, – он их разбрасывал, свои замечательные фразы, другому-то на это дни нужны: «С утречка посидел за столом, строчку нашел и словно на холм поднялся – дорогу далеко-далеко увидал, петляет, а – прямая...»)

Таким же «холмиком», взгорьем, с которого видно вперед и без которого трудно понять пройденное, для меня оказалась встреча с Маямой-сан.

«Иван Иванович» думал показать мне ее интереснейший театр, его поразительную архитектуру, а вышло так, что я провел у нее много дней, радуясь и удивляясь этой великой актрисе, режиссеру и драматургу Японии.

...Ивана-сан подъехал к старинному городку Хатиодзи – это неподалеку от Иокогамы, свернул с хайвэя на маленькое шоссе, миновал двухэтажные улочки центра, потом свернул еще раз – теперь уже на проселочную дорогу, точь-в-точь как у нас в Краснодарском крае (первая, кстати говоря, проселочная дорога в Японии, которую я увидел), проехал мимо домиков крестьян и остановил свой «брюберд» посреди горного урочища.

– Вот мы и приехали в театр Маями-сан «Синсей-сакудза», – сказал он.

Я ошалело огляделся. Синее, высокое небо. Ржа коричневых кустарников на склонах крутых гор. Желтая земля. В углу урочища, образованного двумя скалами, – большая серая бетонная сцена.

Ивано-сан, внимательно следивший за моим взглядом, отрицательно покачал головой.

– Это лишь одна из сценических площадок, – сказал он, – зал на тысячу мест выбит в самой скале... Когда в прошлом году Маяма поставила спектакль о Вьетнаме, то главной сценической площадкой были склоны гор. Прожекторы высвечивали актеров, одетых в форму партизан, склоны скал были радиофицированы, поэтому создавалось впечатление соприсутствия с людьми, затаившимися в джунглях... Это было фантастическое зрелище... Тут собралось несколько тысяч человек, овация длилась чуть не полчаса...

И вот навстречу идет женщина, маленькая до невероятия, красота ее традиционна – такими рисовали японок на фарфоре. Она в кимоно и в деревянных крошечных гета. (Звук Японии – это когда по ночному городу слышен перестук деревянных гета.)

Она здоровается так, как, верно, здоровались в Японии в прошлом веке: приветствие – целый каскад поклонов, улыбок, вопросов, приглашений, разъяснений, шутливых недоумений; глаза ее – громадные, антрацитовые – светятся таким открытым, нежным и мудрым доброжелательством (у Твардовского они голубые и поменьше, а так – одинаковые), что становится сразу легко и просто, словно ты приехал к давнишнему другу, и только одно странно: почему друг говорит по-японски, с каких это пор? (Мне хочется допустить мысль, что и Маяма тогда подумала: «С чего это Юлиано-сан заговорил по-русски?»)

Эту женщину в Японии знают многие. Ее книга «Вся Япония – моя сцена» издана несколькими тиражами, переведена во многих странах мира.

Она показывает рукой, чтобы я следовал за ней. Жест сдержан, он плавный, лебединый, полный грациозности. И мы идем осматривать театр, первый в мире театр-коммуну, у которого в стране миллионы поклонников и друзей. В скалу вбиты дома для актеров – великолепные квартиры. Детский сад для малышей. Библиотека. Бассейн. Зал, врубленный в скалу, обрушивается рядами кресел на сцену. Ощущение, что ты находишься в театре будущего. Акустика такая, что на сценической площадке слышен даже шепот.

Театр начинал с «нуля», после крушения милитаризма в Японии. Из тюрем вышли коммунисты, социалисты. На книжных рынках появились новые имена, для Японии были по-настоящему открыты «По ком звонит колокол» и «Гроздья гнева», «Разгром» и «Теркин», Арагон, Брехт и Лем. Новая литература рвалась на сцену, но ставить ее не могли: до сорок пятого года театр в Японии был сугубо традиционный, женщины на сцене не играли, варьировалась «самурайская» классика.

– Я засела за Станиславского, – вспоминает Маяма-сан, – изучала опыт Мейерхольда. Я убеждена, что вне национального искусство погибает, лишь национальное дает выход и к массам, и на международную арену. Но тяга к национальному – явление двузначное: в какой-то момент эта тяга может стать националистической, то есть, как я считаю, фашистской...

Когда мы начали, нас было всего двадцать человек. Жили у меня дома. Я потихоньку продавала платья, шубы, книги, чтобы кормить товарищей. Сейчас у нас в труппе восемьдесят действительных членов и сорок кандидатов (они станут действительными членами по прошествии пяти лет). Чем отличается статут кандидата? Лишь одним: он может уйти, если театру будет плохо, а действительный член труппы обязан остаться до конца, как бы ни было тяжело.

Мы гастролируем по всей Японии. Деньги от спектаклей идут на покрытие наших расходов, на транспорт, заработную плату актерам, а остальные деньги – мы зарабатываем много – идут сельской интеллигенции: врачам, учителям, фельдшерам, ансамблям художественной самодеятельности... Связи у нас повсеместны, потому что наш театр – это театр на колесах; помимо представления здесь, в Хатиодзи, актеры разъезжают по всей стране на автобусах и машинах, мы добираемся в самые далекие уголки, в самые глухие рыбацкие поселения, где люди до сих пор не знают, что такое поезд, и никогда не видели трехэтажного дома...

Маяма-сан пришла в театр из семьи известного японского писателя. Когда она вспоминает о детстве, глаза ее меняются – в них уже нет улыбки, они замирают и кажутся густо-синими, фиолетовыми.

– Отец часто пил, – негромко рассказывает она, чуть виновато улыбаясь. В окнах ее дома, стоящего на самой вершине го-

ры, – звезды. Тишина. Раскрыт огромный концертный рояль, музыка – ее вторая жизнь. – Характер этого самого прекрасного человека, – продолжает она (Маяма говорит несколько фраз и надолго замолкает, уходит в себя), – был ожесточен окружающей ложью. Он был очень честным и чистым человеком, а ему не давали писать ту правду, которая окружала нас. Это как живописец, которого заставляют вместо раннего утра писать ночь. Писать так, как этого требовали власти, он не умел.

...Когда девочке исполнилось пять лет, в доме начались ссоры, денег не было, семья голодала. Маяма взяла иголку и всю себя исколола, чтобы болью «уравновесить» ужас, который охватывал девочку во время страшных скандалов. Ее увезли в больницу, месяц она пролежала в палате без движения – форма детского паралича... В другой раз она во время скандала умудрилась залезть на высокий телеграфный столб, – даже юноши не рисковали забираться так высоко, – чтобы отвлечь ссору на себя. Отец увидал ее – Маяма делала ему рожицы, прилипнув к высоченному телеграфному столбу. Отец то ли рассмеялся, то ли расплакался... Ушел к себе в кабинет, заперся там и несколько дней не выходил к столу.

– Я очень, очень любила его, – продолжает Маяма. – Возвращаясь из школы, я часами простаивала возле дверей его кабинета, чтобы услышать, как он встанет из-за стола, войти тогда и сказать так, как и принято в семье самураев: «Вот я пришел!» Так было всегда у самураев, – поясняет она. – Утром, перед школой, надо сказать: «Вот я ушел!» Раньше самурай, уходя, рисковал никогда впредь не вернуться. Возвращение в дом – это счастье, и все должны сразу же знать об этом... Он тогда обнимал меня, мой отец, сажал на колени и рассказывал смешные истории, но мне совсем не хотелось смеяться... Однажды я испытала ужас: отец недвижно лежал, отвернувшись к стене, а мама зло говорила: «Он вчера выпил все наши деньги». Я решила, что он развел монеты в кислоте и отравился...

Когда он умер, в доме осталось десять тысяч иен – этого с трудом хватило на дощатый гроб. Цветы на его могилу принесли два деревенских паренька...

– Потом, когда его перехоронили в Токио, – вспоминает Маяма, – и было много цветов, торжественных речей и важных господ в смокингах и фраках, я думала, что те, деревен-

ские похороны в последний год войны и цветы деревенских мальчиков, которые робко стояли у гроба, были честней и выше духом, чем показная печаль степенных буржуа... У его могилы в деревне я сказала ему: «Прощай, отец... Твои мучения кончились, но я продолжу твой путь, ибо я готова к моим мучениям...»

Десять лет она играла в театре. Ее занимали в главных ролях, слава ее росла. Потом Маяму пригласили в кинематограф. Ей поручили роль проститутки в остром социальном фильме о «профсоюзе проституток» – был и такой во времена американской оккупации. Когда режиссер сложил весь материал, он дал название фильму по роли Маямы – «Проститутка». Когда Маяма работала над ролью, она встречалась с десятками этих несчастных. Однажды на студию пришла молоденькая девушка, вульгарная, развязная, которой нравилось бросать вызов благопристойной «кинопублике». А двум дамам, которые смотрели на нее с нескрываемым презрением, она сказала: «Я обычная шлюха, я торгую телом, но это не так страшно, как торговать честью, мыслью и сердцем».

После того как фильм вышел на экраны, успех на Маяму обрушился невиданный. Продюсер устроил банкет. Маяму попросили сказать спич. Она поднялась на сцену:

– Я буду говорить только теми словами, которые у меня были в фильме.

А фильм был немой – предтеча «Голого острова». И Маяма захохотала так, как она хохотала в фильме, в финале, перед самоубийством.

– Я помню, какая была тишина в том фешенебельном ресторане. Кажется, продюсер обиделся на меня, потому что все тихо, без слов и без выпивки, разошлись по домам, смущаясь смотреть друг на друга... Между прочим, – черты ее лица внезапно смягчаются, нет резкой продольной морщины на лбу, – я была у вас на представлении «Чио-Чио-сан». Я обожаю ваше искусство, но тут я была огорчена: много неточностей в показе японского быта. Например, я замирала, когда ваша актриса начинала обмахиваться веером. – Лицо Маямы становится страдальческим. – Юлиано-сан, веер – это ракетно-ядерное оружие женщины. Оно так же сильно. Поэтому обращаться с ним надо ответственно и строго. Разве мужчина смо-

жет быть спокойным, если увидит в руках у женщины веер? Любой мужчина потеряет голову. Ваша Чио-Чио-сан встречала мужчину, прохаживаясь по кабинету. А по японским обычаям мужчину надо встречать с поклоном с колен, Юлиано-сан. Это высшая гордость для женщины, когда в ее дом входит мужчина! А как ваша Чио умирала? По-нашему, уж если женщина решила умереть от любви и ее смерть не принесет горя мужчине, который уехал, бросив ее, она должна тщательно продумать ритуал самоубийства. Высшая эстетика и честь женщины сокрыта в фазе смерти.. Во-первых, надо завязать колени тугим жгутом. Во-вторых, следует обернуть кинжал бумагой. Зачем связывать колени? Для того, чтобы после смерти упасть вперед. Что может быть унизительнее фривольной позы после смерти? Представьте себе, что у Чио-Чио-сан будут видны оголенные ноги! Зачем бумага на кинжале? Чтобы она впитала кровь. Вид лужи крови на земле может вызвать отрицательные эмоции у тех, кто придет в комнату и обнаружит труп. Вы не сердитесь на меня? Быть может, вам нравится постановка «Чио-Чио-сан» – тогда, пожалуйста, простите меня. Но мне кажется, что вы согласны со мной, – улыбается Маяма. – Мне вообще-то легче понимать мужчин, потому что самые талантливые актеры – это мужчины... Мужчина может так сыграть женщину, что ему поверят. А когда женщина играет роль мужчины, это всегда смешно. И в жизни, и на сцене... Я люблю разозлить актера на сцене, я знаю, как его обрадовать. Я фиксирую эти его состояния: радость и злость – наиболее запоминаемые эмоции у художника.

...Поздно ночью Маяма пригласила меня на свой спектакль, посвященный Варшавскому восстанию 1944 года. Кинокадры разрушенной Варшавы. Расстрелы патриотов. Панорама по лицам солдат Красной Армии и Войска Польского, которые готовятся к штурму. Звучит Шопен. Мощное ощущение гнева и гордости. В зале были только Маяма-сан и я. Но я ощущал высокое волнение, словно был затерян среди тысячи других зрителей, и поэтому не было зазорным, когда в глазах закипали слезы и горло перехватывало спазмом.

А потом на сцену вышли актеры – без грима, – и они играли граждан сегодняшней Польши, и я забыл, что это японцы, но я только поражался тому, как художник, только худож-

ник, может отдать свое сердце любви к другому народу, а потом актеры начали петь песни комсомольцев двадцатого года, песни, которые они с трудом находили в наших газетах тех лет, песни поразительные, их слушать сидя нельзя, и нельзя им не подпевать.

– Но я ничего не могу поделать, – тихо, улыбчиво сказала на прощание Маяма-сан, – мы все-таки поем «комсоморцы-доброворцы» – я знаю, тут есть ошибка, но мы никак не можем научиться произносить эту невозможно трудную русскую букву «л». Простите нас за это великодушно.

Токио. Семенов.
Редакция «Комсомольской правды»
(передано по телефону):

«Зашел в аптеку, искал лекарство от головной боли, – заработался, всю ночь просидел за машинкой. Увидел те самые магнитные браслеты от давления, за которыми у нас так гоняются. Спросил продавца:

– Как вы относитесь к этому товару?

Он виновато развел руками, сказал:

– Момент!

Убежал куда-то и вернулся с молоденькой девушкой, дочерью владельца аптеки.

– Что вам угодно, сэр? – спросила она по-английски.

– Как вы относитесь к магнитным браслетам? Вы ведь связаны и с медицинской промышленностью, и с больными, которые считают магнитный браслет панацеей от высокого давления.

– Откуда вы, сэр?

– Из Москвы.

Она улыбнулась.

– Я люблю Советскую Россию, поэтому могу вам дать рекомендацию – ни в коем случае не покупайте браслет: магнит-это тайна, которая не разгадана человечеством, и у нас эти браслеты, как правило, покупают только иностранцы.

Разговаривая как-то с одним из ведущих физиков Японии, я спросил его:

– Вам ничего не говорит имя – Юрий Холодов?

– Я знаю имя Колодов-сан, – ответил мой собеседник, – это русский ученый из Москвы. Мы с большим интересом относимся к его работам. Мы очень многого ждем от Колодов-сан.

В классе мы звали его Грубым. Это прозвище укоренилось за ним прочно потому, что он был самым высоким среди нас, говорил неторопливо, объемно, с чуть заметным рязанским «аканьем».

В послевоенные годы, когда жилось ему трудно, подчас голодно, – на руках матери, Анастасии Кузьминичны, остались трое сирот: отец погиб на фронте, – Юра Холодов начал свои опыты, над которыми мы потешались. В Филях, где тогда еще не было многоэтажных домов, а стояли дачки и редкие купальщики приезжали на дребезжащем трамвае от Киевского вокзала, он собирал лягушек, привозил их в махонькую – окна на землю – комнатку на Извозной улице и часами колдовал над ними, обложившись учебниками, отнюдь не школьными.

Я далек от того, чтобы писать о моем стародавнем друге, докторе наук Юрии Холодове как о прописном положительном герое. Он был крепок в драке, хотя никогда не нападал первым, и прилежно учился танцевать вальс-бостон, когда в нашу мужскую школу приглашали девочек. Он был нормальным отличником, увлеченным своими лягушками, – однажды я схлопотал от него оплеуху в этой связи, и это была оправданная оплеуха... Вообще-то он довольно стойко сносил наши издевательства: и от Саши Быкова, который сейчас работает заместителем директора научно-исследовательского института, и от Юры Фадеева, ставшего дипломатом, и от полковника Коли Зерцалова, и от кандидата химических наук Никиты Богословского.

Не скрою – примерно с шестого класса я усердно списывал у моего соседа Грубого почти все задачи по математике, физике и химии. Я не очень-то понимал, что я «скатывал»: Юрка решал задачки не по учебнику – он сам придумывал наиболее экономные способы решений. Однако он окончил школу с медалью, а меня выручил тройкой с минусом наш добрый математик Вениамин Ильич. Поэтому, читая кандидат-

скую и докторскую диссертации Юрия Холодова, особенно докторскую – «Непосредственное действие электрополей на центральную нервную систему», я испытывал уважение к научному поиску моего друга, который вот уже четверть века колдует со своими лягушками, рыбами, кроликами и обезьянами... Мне было трудно продраться сквозь логику математических формул и физических выкладок, хотя смысл его поиска меня интересовал, как и всякого, кто пытается следить за поразительным развитием нашей науки.

Недавно Юрий Холодов выпустил книгу «Магнетизм в биологии». Изданная в «Науке», книга эта рассчитана на широкого читателя. Пролежала она на прилавках магазинов не более одного дня, а теперь уже стала библиографической редкостью. И я понимаю интерес нашей читающей публики к этой работе Юрия Холодова.

Давайте заглянем в оглавление: «История магнитотерапии», «Торможение роста опухоли», «Реакция растений на магнитные поля», «Магнит влияет на кровь», «Что думают физики о магнитобиологии», «Магнетизм и космическая биология». Каждый раздел сам по себе тема для интереснейшей книги, и можно лишь пожалеть о том, что работа Ю.А.Холодова издана таким небольшим тиражом, в столь «экономном» объеме.

Юрий Холодов проводит нас сквозь историю вопроса: «...то, что выпало на долю магнитобиологии, превышает меру страстей человеческих, возникающих обычно при решении научных проблем, – пишет он. – Для лечебных целей магнит стали применять, вероятно, раньше, чем для определения сторон света. О его лечебных свойствах упоминают в своих трудах ученые древности Аристотель и Плиний. Альберт Великий (XIII век) утверждал, что при ношении на левой руке магнит разгоняет неприятные сновидения, удаляет яд из организма и излечивает безумие».

Холодов приводит интереснейшее высказывание немецкого врача Парацельса: «Вшивые доктора часто тычут мне в нос, что я не следую за древними, а в чем мне им следовать? Я утверждаю ясно и открыто, на основании произведенных мною опытов с магнитом, что в нем сокрыта тайна высокая...»

Ю.Холодов останавливается на драматической судьбе австрийского врача Месмера, провозвестника «животного маг-

нетизма», учение которого было осуждено комиссией французских ученых как шарлатанство. Он прослеживает периоды «увлечения» магнитотерапией в разных странах, в разные времена. Он пишет о том, что в первой половине XX века «разговор о магнитотерапии считался неприличным, поскольку она связана с именем Месмера». Таким образом, Юрий Холодов подводит нас в своей книге – высказав предварительно все «про» и «контра» – к исследованию этого вопроса с помощью современных методов. Привлекая данные венгерских ученых Маделайн и Жено Барноти, он приводит данные о том, что магнитное поле влияет, например, на развитие раковой опухоли – тормозит его. Ю.А.Холодов приводит данные о том, как замедлялся рост мышей, помещенных в магнитное поле. В книге приводятся данные о том, как магнитное поле воздействует на кровь: «Было обнаружено, что магнитное поле снижает число лейкоцитов, а после прекращения воздействия число лейкоцитов значительно увеличивается. Это обстоятельство позволило ученым использовать магнитное поле как средство, предупреждающее развитие лучевого заболевания, при котором резко снижается число лейкоцитов. Опыты показали, что если радиация давала тридцать процентов смертности мышей, то их предварительное пребывание в магнитном поле совсем снимало этот эффект».

Юрий Холодов рассказывает об опытах советских ученых из Ростова-на-Дону – М.Уколовой и Г.Химич. Они укрепляли намагниченные кольца стальной проволоки вокруг опухоли (саркомы) белых крыс. Контрольным животным прикрепляли такие же ненамагниченные кольца. У крыс, не подвергавшихся воздействию магнитного поля, ни разу не наблюдалось рассасывания опухоли, в то время как у других подопытных крыс опухоли рассасывались в шестидесяти процентах случаев после применения магнитного поля. Впоследствии лаборатория М.Уколовой поставила интереснейшие опыты в борьбе против раковых опухолей, использовав ионизирующее излучение вкупе с воздействием магнитного поля. «Следовательно, – утверждает Ю.Холодов, – магнитотерапия не должна быть изолирована от общего пути развития медицины...»

Юрий Холодов рассказывает об опытах французских ученых – инженера Приора и онколога Ривире. Они использова-

ли магнитное поле в комбинации с радиоволнами. Крысам прививали раковую опухоль. Животные погибали через тридцать дней после прививки. Если на шестой день после прививки крыс помещали в магнитное поле на сорок минут, то раковая опухоль через несколько дней исчезала.

Юрий Холодов не настаивает на своих выводах, не торопится утверждать как незыблемое то, что находится в стадии эксперимента, однако данные, приводимые им, говорят: ученые ищут в точном направлении, если смотреть на факты без предвзятости и без «самозапугивания» прошлой терминологией.

Юрий Холодов идет значительно дальше, привлекая внимание общественности к проблеме воздействия магнитных полей на микроорганизмы растений, на животных, людей. Поэтому одна из глав его книги посвящена вопросу о том, в какой мере магнитные поля влияют на миграцию птиц и рыб. Ю.Холодов и А.Эльдаров помещали, например, птиц в искусственное магнитное поле и отмечали увеличение двигательной активности в два – четыре раза! До сих пор по традиции обсуждался вопрос о возможной ориентации рыб и птиц по геомагнитному полю в дальних миграциях. Советский ботаник А.Крылов провел опыты на кукурузе и установил, что при прорастании корешки поворачиваются к южному магнитному полюсу в естественных и искусственных условиях.

...Юра у нас в классе считался человеком умеренным, чуждым всякого рода эмоциональным вспышкам: он всегда и все перепроверял по многу раз, прежде чем приходил к какому-то определенному решению. И если, заканчивая свою книгу, Ю.Холодов говорит о том, что «работы по магнитобиологии часто носят эпизодический характер и проводятся лишь благодаря энтузиазму отдельных исследователей», – он, увы, говорит истину».

(По-японски «мне нравится» звучит очень красиво: «кони-ти-ва».)

Великолепное блюдо, которым меня угощала Маяма-сан, называется «скияки». Мясо нужно жарить на жаровне – самому. Для «скияки» забивают шестимесячных бычков. Перед

убоем их два месяца поят пивом и массируют им бока. Можете представить себе, какое это мясо?

На многих перекрестках японских дорог стоят урночки. В урночках желтые флажки. Это для малышей, для школьников. Малыш берет флажок, поднимает его над головой и смело идет по улице. И все машины останавливаются. Это прекрасно: скорость XX века и античное отношение к младенцу.

...Несмотря на то что снова валит снег, решил ехать в Осаку – на строительство «ЭКСПО-70». Друзья отговаривали: было сообщение по радио, что часть поездов остановилась из-за снежных заносов.

Скорость, говорили японские друзья, «ужасная». Поезда идут «всего по 150 километров в час» вместо 250 – по расписанию...

Тем не менее А.Бирюков, зав. корпунктом «Правды» в Японии, и я сели в поезд. Двери пневматически захлопнулись, и этот цельнотянутый громадный вагон, состоящий из нескольких вагончиков, слепо и устремленно ринулся в пелену снега.

Но вот поезд прошел какой-то невидимый барьер, и за Иокогамой снег внезапно кончился. Прошло еще полчаса, и изумрудная зелень стала вваливаться в окна. Кончилась сонливость и усталость. Поезд ворвался в зеркальность рисовых полей и геометрическую точность чайных плантаций.

В Осаке мы с Бирюковым поселились в «Гранд-отеле». Вечером встретились с Хата-сан – редактором «Асахи», издающейся в Осаке. Вместе с ним был бизнесмен Маримото. Провели всю ночь вместе – в клубе бизнесменов и в баре писателей и художников.

Пригласили посмотреть «подпольный» фильм, только что подготовленный к прокату.

Фильм страшный. Сначала он отвращает. Натуралистично снята операция по вращиванию хряща носа – длинные тонкие носы стали сейчас модными, немедленно появилась новая «индустрия» в косметике. Встык – разгром полицией

студенческой демонстрации. Показывают операцию по наращиванию женской груди – бюст Аниты Экберг вошел в моду – и тут же врезают хронику Вьетнама.

И все время на экране – поначалу ненавязчиво – мелькают лица странных японцев. Они выше ростом, не такие у них глаза и носы, не такой у них цвет кожи...

Фильм называется «Дети смешанной крови». Это – о детях тех американцев, которые не знают, что у них на островах растут дети-парии общества, изгои, на которых смотрят с презрением и болью, называя их «позором нации».

«Бродяжничая» ночью с Маримото по громадным улицам-барам, улицам-базарам, улицам-публичным домам, улицам-гангстерам, встречаясь с людьми из Гонконга и Пекина, я снова и снова возвращался мыслью к теме – ядерное оружие в Азии. (Именно там, в Осаке, я начал подбирать материалы к роману «Бомба для председателя».)

...Сегодня в Осаке ажиотаж. Люди в закусочных во время обеденного перерыва оживленно переговариваются, все стремятся успеть вечером к телевизорам. Сегодня будет борьба «сумо»: кумир Японии борец Тайхо встречается со своим соперником. Тайхо необыкновенно популярен в Японии. Мне объяснили, что Тайхо на четвертушку русский – у него бабушка из Владивостока.

...Вечером сидели в номере «Осака-грандо» с Аскольдом Бирюковым и ждали телефонного разговора с Москвой. Под нами бесновалась Осака.

...Ах, Осака, Осака, сумасшедший город! Европа, Андромеда, Америка, Азия, Марс! – все здесь смешалось, сплавилось воедино, в яростное сине-желто-красное ночное соцветие реклам, которые слепят, трижды отраженные в мокром асфальте, в стеклах витрин, в жирных капотах черных автомобилей... Осака, Осака, неистовый город, весь в пульсации жизни, ни на минуту не затихающий, весь в гомоне, крике, шуме – самый неяпонский город в Японии, самый японский город в Азии!

Затрещал телефон – сухо и тревожно. Голос московской телефонистки был близким, сонным – дома еще только наступает утро.

Осака. Бирюков и Семенов. Редакция «Правды» (передано по телефону):

«Прогресс и гармония для человечества» – таков девиз будущей выставки. Поиск гармонии, замышляемой организаторами выставки в Японии, когда в этой стране происходят серьезные социальные сдвиги и столкновения, вызывает скепсис у многих японцев: «Можно ли найти гармонию в обществе, где интересы различных групп подчас диаметрально противоположны?» Когда мы заговорили об этом с инженером из Фукуока и токийским бизнесменом – нашими соседями по столику в ресторане, – оба с сомнением покачали головами. Инженер, что постарше возрастом, вспомнил о «добром старом времени», посетовал на сегодняшний смог, отравляющий жизнь жителям японских городов, из-за которого не часто увидишь утреннее солнце и небесную лазурь.

– Все эти сотни тысяч машин, – сказал он, – потоки автомобилей на земле и над землей (под этим он подразумевал развивающуюся в Японии систему поднятых на столбах автострад), все эти скоростные устремленности не позволяют рассмотреть ни человека, ни пейзаж – все мелькает и мельтешит. А как можно говорить о гармонии, если вас настойчиво лишают времени для раздумий?

Бизнесмен из Токио, человек сравнительно молодой, со своим собеседником не согласился. Заказав стаканчик «мидзувари» (виски с водой и льдом), он с иронией ответил:

– Может быть, во второй половине двадцатого века скорость и есть высшее проявление гармонии? И разве не верно, что тот, кто быстрей и сильней, в наше время побеждает?

Видимо, столкновение этих двух мнений в какой-то мере типично для Японии. Тем интереснее проект выдающегося японского архитектора Тангэ и его коллег, философски выраженный в оформлении центральной аллеи «ЭКСПО-70». Он включает в себя дворцы-символы: «Солнце» (это энергия, сила), «Юность» (это порыв, скорость) и «Материнство» (это спокойствие и радость). Соединить эту кажущуюся разность философских понятий архитектор решает тем, что особенно ценят в Японии, – деревом, цветком. Три эти дворца являют-

ся как бы стволом, на котором держатся цветы-павильоны. Ствол – солнце, юность, материнство, – по замыслу Тангэ, объединяет весь мир.

– Гармония возможна, — утверждает Тангэ.

– Наша «ЭКСПО-70» обязана доказать это, несмотря на все трудности, — говорят нам организаторы выставки. – Смог мы выведем за скобки, построив для выставки автомобили, движущиеся на электричестве. Жару парализуем искусственным климатом. Детей займем страной чудес, а любопытных взрослых увлечем экспонатами ста пятидесяти павильонов. Гармония предполагает и любопытство, и отдых, и творчество.

В штаб «ЭКСПО-70» мы попали на следующее утро. Все места в подземных гаражах были «запаркованы» автомобилями. Бесшумные лифты развозили по этажам посетителей из разных стран мира. В полупрозрачных стеклянных кабинах архитекторы и бизнесмены, инженеры и художники вели дискуссии по тем тысячам вопросов, которые чем дальше, тем сильнее оборачиваются в сложнейший комплекс проблем. Весь этот день, проведенный на будущей «ЭКСПО-70», мы испытывали чувство высокой гордости за гигантский прогресс, достигнутый нашей страной. Каждый из японских собеседников подчеркивал талантливую грандиозность Советского павильона, его устремленность в будущее, смелость архитектурной и инженерной мысли, изящество и мощь, – словом, то, что и должно считаться «высшим проявлением гармонии».

Вернулся в Токио.

Позвонили от профессора Софу Тесигахара. Это великий японский художник, «живой классик», автор новой школы «икебана» – аранжировки цветов. Умение из двух цветков сделать чудо, использовав керамический сосуд или несколько камней, – это и есть японская икебана.

Об этой поразительной школе профессор Тесигахара рассказал мне так:

– Бесспорно, икебана – продукт буддистской мысли. Ее создали и распространяли на островах священнослужители. В тринадцатом веке икебана была воспринята военной кастой, которая использовала ее для декоративных целей, поскольку икебана символизирует эстетическую красоту. Занят-

но: самураям было запрещено трудиться, заниматься «низкой работой», поэтому весь свой досуг они посвящали искусству, а икебана – это ли не высшая степень искусства?! Икебана выставлялась в специально отведенном месте, так называемой «токонома», и до сих пор токонома является важным архитектурным украшением любого японского дома.

После реформы Мейдзи в 1868 году начался период индустриализации Японии. В страну проникла западная идеология. Но мы, японцы, сохранили многие свои традиции, в том числе и японское искусство икебана. Мне скоро будет семьдесят. А когда мне было семь лет, отец, один из лучших мастеров икебана, начал учить меня основам искусства аранжировки цветов. Я работал с отцом до двадцати пяти лет – помогал ему придумывать новые композиции и преподавать. Когда мне исполнилось двадцать шесть, я создал свою школу – «согецу», – которую называют новой. Название состоит из иероглифов, которые означают «трава» и «луна». С моей точки зрения, лишь сочетание этих двух понятий выражает истинное и широкое ощущение вселенной.

Я начал применять новую технику в рамках традиционных материалов. Я позволил себе вместе с цветами использовать голые сучья, а подле ветки цветущей вишни я посчитал уместным камень, обточенный морским прибоем. Сейчас школа согецу имеет миллион последователей в Японии. Говорят, что у нас есть поклонники во всем мире.

Профессор замолчал, закурил. Больше он ничего о себе не рассказывал, но сказать о нем стоит. Он известен не только как мастер икебана, он также великолепный скульптор. Его работы демонстрировались в Париже, в Линкольновском центре в Нью-Йорке. В Турине он был награжден лавровым венком Международного центра эстетических исследований, а в 1961 году ему были присуждены французский орден искусства и литературы и орден Почетного легиона. В 1962 году японское правительство присудило ему премию министра просвещения, как знак высокой оценки его вклада в осуществление программы содействия развитию искусства.

Помимо этого, профессор Тесигахара, как представитель министерства иностранных дел Японии, часто совершает поездки за рубеж. Был он и у нас, в Советском Союзе.

Профессор пригласил меня в солнечный огромный зал, где он проводит образцово-показательные уроки икебана для преподавателей, съезжающихся сюда со всей Японии. Сегодня здесь было около семидесяти женщин и только один мужчина – молодой еще, высокий, сильный, с ранней сединой. Он делал интересную композицию из цветов и неотрывно смотрел на маленькую, великолепно сложенную, очень красивую японку. Женщина только один раз ответила на его взгляд. И стало ясно, почему сюда пришел этот мужчина и почему он делает такую великолепную композицию из цветов и камней. За этим – трагедия, за этим – любовь, горе, но, наверное, и счастье...

Профессор Тесигахара шел по залу, сняв пиджак, без галстука, он шел сквозь почтение, любовь и затаенное ожидание – «вдруг он отметит именно мою работу?» – по громадному холлу, заставленному столиками. На семидесяти столиках вазы, камни, цветы, вода. Каждый выбирает в огромной прихожей цветы и вазы по своему вкусу, каждый углублен в свою композицию, никто не видит работы соседа.

Профессор небольшого роста, очень подвижный, напористо-резкий в суждениях. Но при этом он излучает доброжелательность. Он идет среди композиций своих учеников, как заинтересованное дитя, впервые в жизни увидавшее чудо.

Он останавливается возле одной из своих учениц, долго рассматривает блюдо из голубого стекла, синий цветок. Одинокий, обреченный. И три камня вокруг. И ничего больше. В голубой воде отражается синева цветка, а белые камни становятся похожими на хлопья снега.

– Это искусство, – говорит Софу. – Поздравляю.

У следующего столика:

– Вы поклонница Советского Союза? Исповедуете красный цвет? Это хорошо. Наш советский друг должен поаплодировать вам. Прошу вас, Семенов-сан.

Я аплодирую, Тесигахара поддерживает меня, начинает аплодировать весь зал.

– Назовите вашу композицию, — советует профессор, – «Красные гвоздики сорок пятого года»... Он переходит к следующему столику, усмехается:

– Вы – розовая? Я против розового цвета, он неконкретен. Красное, черное, белое. Полутона оставьте детям. И потом, в

композиции есть лишние штрихи. Вы позволите? – спрашивает он ученицу, которая смотрит на него с благоговением.

Тесигахара берет ножницы, срезает несколько веток. И вдруг – получается искусство, великолепная икебана.

– Раскрепостите себя, – советует он. – Искусство – это свобода. Помните только о пропорции объема, высоты и глубины. Все остальное забудьте.

Он переходит к следующему столику. Там композиция из трех ваз. Вода – синяя, желтая и розовая. Софу Тесигахара закуривает, щурится.

– Ну что же, – говорит он, – капля воды может быть морем, а здесь достаточно воды для того, чтобы вы увидели тенистый пруд, иву и почувствовали, что скоро зацветет сакура...

Возле икебана, которую составил мужчина, единственный мужчина в зале, Тесигахара стоял долго.

– Вы назвали это композицию «Одиночество»? – спросил наконец он.

– Нет, – тихо ответил мужчина, – я хочу назвать эту композицию «Ожидание»...

– Тогда дерзайте, – отчего-то рассердившись, сказал профессор и повторил: – Дерзайте же!

Потом он спустился вниз – в огромный зрительный зал, поднялся на сцену, где валялись самые обыкновенные сучья, и подождал, пока ученики расположатся вокруг сцены. Сегодня Тесигахара показывает свою работу. Сегодня он делает икебана без цветов – одни лишь сучья. Он берет несколько голых сучьев, неторопливо рассматривает их. Потом просит ассистентов принести гвозди. Он сколачивает сучья, и я не вижу в этом никакой задумки, мне непонятно, что может родиться из этих беззащитных, голых сучьев. И вдруг рождается чудо. Видимо, художники чувствуют цвет и форму там, где смертным этого не дано. Тесигахара подсветил голые сучья красным и синим цветом, и зал, поднявшись, зааплодировал: на сцене воистину было чудо – диковинный лес, хитросплетение законченных форм, ожидание света после тени; моря после хвойного леса; ясного неба во время ночи...

Профессор хмыкнул.

– Перестаньте, это все просто. Это может каждый, только нужно захотеть и нужно поверить в себя. Тогда вы станете ху-

дожником. В противном случае не занимайтесь икебана. Если вы чувствуете в себе раба, вы не имеете права прикасаться к мысли о прекрасном.

Идем к нему в кабинет. Надписывая мне свою книгу «Композиция», Тесигахара продолжает:

– Икебана – это любой человек, умеющий оживлять свои чувства. Япония – страна цветов в любой сезон. Цветы принадлежат в равной мере и бедным и богатым. Почему я добился успеха? Вероятно, потому, что я понял самое главное – соотношение цвета и пространства. Я это понял, когда мне было двадцать лет. Но в течение шести лет я скрывал это от отца, потому что он был сторонником классической икебана. Я отделился в свою школу, когда понял, что икебана – это не просто любовь к цветам и умение составлять букеты, а искусство высшей гармонии. Моим вторым учителем в икебана стала живопись.

Я спросил профессора, как соотнести современные скорости с классикой икебана.

– По-моему, – ответил он, – скорость не мешает икебана. Я, как вы могли заметить, оживляю посредством скоростных форм классическую школу, опошленную поздним средневековьем, когда нужно было только следовать лучшим образцам. А я беру голые сучья, которые прежней икебана были чужды, в середине века такая икебана подверглась бы остракизму. Я считаю, что все окружающее нас есть предмет для оживления в икебана. Если вам захочется подготовиться к новой книге, – закончил он, – отойти от суеты, сделать «шаг в сторону» – займитесь икебана, и вы почувствуете счастье перед началом новой вашей работы... А моя книга, быть может, вам хоть чуть-чуть да поможет.

...Встретился в государственном телевидении «Эн Эйч Кэй» с господином Иде. Известный писатель, он заключил договор с ТВ на серию двадцатиминутных спектаклей, которые передаются каждый день. Называется эта программа «Набуку и ее бабушка». Программа очень популярна. Это история девушки Набуку, которая приехала в Токио с острова Кюсю и не попала в университет. Она живет у бабушки; появляются новые друзья; на каждом шагу девушку подстерегают соблазны.

Я спросил писателя:

– Конец будет трагичным?

– Нет, — усмехнулся он. — Нашу программу смотрит более семи миллионов женщин, они мне этого не простят. Некая «вилка» существует между тем, что хочет видеть на экране ТВ молодое поколение и чего не желает видеть поколение старшее, в руках которого – власть. Я могу лишь поднимать вопросы, прикасаться к проблеме, но я не вправе давать рецепты «действием», кроме традиционного повторения азбучных истин: «Послушание, честность, уважение к старшим». Но ничего... Получив деньги на ТВ, — а здесь хорошо платят, - я смогу сесть за книгу. Там я хозяин самому себе.

Познакомился с продюсером Итисима. Он говорил о трудностях: его группа, осуществляющая постановку «Набуку», не имеет отпуска в течение года; «каждую пятницу мы трепещем: Иде делает свои драмы ежемесячно, и мы не вправе торопить его, ибо бытовую драму только тогда будут смотреть, если в ней – новости этого месяца. Впрочем, пока Иде работает, как хронометр. Я веду переговоры с администрацией по поводу отпусков. Если откажут, придется пойти на забастовку...»

– Вы сами выбрали для постановки эту бытовую драму?

Он подвел меня к окнам «Эй Эйч Кэй». Открылся великолепный вид на Олимпийский стадион.

– Здесь, — сказал он, — во время войны был военный плац. Когда я сейчас смотрю на то, что мы смогли построить, я понимаю, что значит для моей родины мир. Может быть, программа Иде традиционна, но зато она вся пронизана идеей мира.

...Позвонили из ведущего токийского театра Мингэй: «Труппа приглашает советского писателя на дружескую встречу». Приехал в театр, там репетировали пьесу Киити Асахи «Знак Зеро» – о бомбежке Хиросимы. Это история главного врача госпиталя и его коллег-врачей. Через их руки проходят обреченные; врачи бессильны, они лишь фиксируют начало смерти. В пьесе чувствуется присутствие Брехта. Драматург Ахаси, впрочем, так мне и сказал:

– Я нахожусь под влиянием Брехта, считаю его великим художником нашего века и не мыслю без него японскую сцену.

В пьесе есть сильные эпизоды. Конец войны (действие происходит в августе 1945 года). Умирают солдаты. Они тревожатся не о себе, а о своих военачальниках – традиция милитаристской Японии. Когда кто-то говорит в палате, что армия нанесла ответный удар по американскому побережью, умирающие солдаты начинают плакать от счастья и аплодировать. Люди слепы и наивны в своей вере. Когда молодой врач, который должен избавить их от мучений в последние дни перед смертью, пытается говорить им правду, они восстают против него, они готовы его убить.

Интересна сцена беседы обреченных солдат, попавших под действие радиации, с Уилфредом Барчетом. Этот прогрессивный журналист выведен в пьесе под своей фамилией. Он рассказывает несчастным, зачем он сюда приехал. Он хочет бороться против атомной угрозы. Он обходит людей с рукопожатием. И только один человек, которые потерял в Хиросиме всех своих близких, отворачивается от него. Интересно, что сидевшие рядом со мной актеры, их друзья, рабочие сцены, явно были не согласны с этим несчастным, который отказался пожать руку честному англичанину лишь потому, что он – белый.

Занятна актерская трактовка образа Барчета: сухая деловитость, напористость, раскованность в позе и в манере говорить. Всякое иное поведение европейца или американца кажется японцам неестественным.

(Видимо, это отношение к американцам очень точно понял Грэм Грин, когда свой роман назвал «Тихий американец». Вероятно, именно «тихие американцы» кажутся людям Востока подозрительными, поскольку они не укладываются в привычные, сложившиеся рамки восприятия. На шумного американца или европейца здесь смотрят доброжелательней, чем на тихого. Если тихий, значит, что-то у него на уме хитрое.)

Занятна манера вести репетицию. Режиссер не вмешивается и не прерывает актеров во время прогона спектакля. Только после окончания репетиции он выходит на площадку и разбирает с актером жест, интонацию, особенно жест. Интонация вторична, потому что интонации у японцев в чем-то однозначны и стереотипны. (Я вспоминал китайские и вьетнамские театры: даже «молчаливое» появление актера вызывало громкую реакцию зала, потому что грим состоит из сим-

волов: злодея сразу же заявляют злодеем, добряка – добряком. Что бы герой ни говорил со сцены, зрителям заранее ясно – лжет он, хитрит или предельно правдив. Грим – визитная карточка персонажа вьетнамского, китайского театра и традиционного японского Кабуки. В других японских театрах функцию грима несет жест. По тому, как актер движется, зрители понимают, что он играет – добро или зло.)

У театра Мингэй, популярнейшего в Японии коллектива, нет своего помещения. Труппа все время гастролирует. На телевидение со спектаклями, подобными «Знаку Зеро», театр не пускают, на радио тоже. Однако сборы у театра битковые.

– В Токио, — рассказал Хаякава, – кроме Кабуки и еще двух старых театров, нет стационарных площадок, где можно было бы постоянно работать. У нас, в одиннадцатимиллионном Токио, всего лишь одна шестая тех театров, которые есть в Москве.

...Иида-сан переводит в Японии мои книги. Поехали с ним в издательство «Хаякава». Они издали «Петровку, 38». Познакомился с папой Хаякава (Хаякав в Японии, как у нас Петровых), президентом издательства, с сыном Хаякавой, вице-президентом, и с главным редактором Токива. Они показали мне свой план – скоро выпустят братьев Стругацких. Готовят переиздание Ле Каре, Ена Флеминга, Агаты Кристи. (Великолепную книгу Ле Каре «В одном маленьком немецком городе» здесь, как и повсюду на Западе, замалчивают из-за ее открытой тенденции: «Внимание, люди, в ФРГ неонацисты поднимают голову!» Переводят здесь лишь те романы Ле Каре, в которых он наскакивал на ГДР.)

Хироси Хаякава – вице-президент компании «Хаякава паблишинг хауз» — рассказал об организации издательского дела в стране.

– Книгоиздательство, — говорил он, – это азартная игра. Я не связан непосредственно ни с читателем, ни с писателем, ни с книготорговлей. Все решает посредник. Он в первую очередь формирует читательское общественное мнение. Я, издатель, фактически не имею никакой гарантии, я не знаю, пройдет книга на рынке или нет.

Хироси Хаякава окончил аспирантуру Колумбийского университета, великолепно знает социологию, историю.

– Для того чтобы как-то подстраховать себя, — продолжает он, — приходится выпускать серию Джеймса Бонда. Я понимаю, что это дурная литература, пошлятина, но что делать? Бонд – надежная страховка. Я жалею молодых писателей. Они сердитые, им тяжело. Если ко мне придет гений, но гений непризнанный, у которого нет паблисити, он и уйдет непризнанным гением, я его не издам, я не могу рисковать. Если только приходит посредник и я знаю, что это серьезный человек, и что у него отлажены контакты с книгопродавцами, и что он имеет свои ходы в журналы и в газеты, только тогда я иду на риск, потому что значительную долю ответственности за неуспех он принимает на себя.

Говорит он об этом сухо, деловито, а в глазах затаенная боль.

– Где же выход? Его у нас нет. Невозможно поломать сложившуюся систему отношений: писатель – посредник – издатель – продавец. Кроме писателя, все заинтересованы в сохранении этой системы. Я понимаю, что это ужасно, что это мешает появлению новых имен в литературе. Я пытаюсь себя успокаивать лишь одним: истинный талант – одержим, он должен пробить стену, если ему есть что сказать людям.

Заехал в «Асахи». Интересные новости. Президент Токийского университета Исиро Като собирается подать в отставку – студенты продолжают бастовать. Като считает целесообразным провести выборы президента университета, ибо сейчас, с его точки зрения, студенческая проблема упирается в выборность руководства.

Политический обозреватель «Асахи» сказал, что министерство образования отводит от себя страсти, предоставляя молодым самим сталкиваться лбами.

– Это, — сказал он мне, — первая попытка власть предержащих решить студенческую проблему руками студентов.

Из «Асахи» зашел в сингапурское посольство. Оно расположено на 32-м этаже небоскреба Касумигасеки. Вы входите в это великолепное здание и попадаете в царство музыки. Она звучит здесь всюду. Едете в лифте – музыка; выходите из лифта – музыка. Это здание – вызов природе, ибо землетрясения – бич Японии. Касумигасеки призвано доказать, что люди теперь сильнее необузданных сил стихии.

...Посольский атташе – милый парень мистер Сун. Он попросил меня выяснить номер рейса и точную дату вылета.

Пообещал дать сингапурскую визу сразу же, как только я сообщу ему эти данные.

Поинтересовался:

– На какие средства живет семья во время ваших поездок?

– На деньги, которые я зарабатываю книгами.

– А сколько вы им отсюда посылаете?

– Не до жиру, быть бы живу, – посмеялся я.

Спускался в лифте, битком набитом служащими. Люди быстро и точно пристраивались друг к другу, никто никого не толкал. Это типично для японцев – уметь «организовать» себя в малом пространстве.

Зашел перекусить в маленький кабачок. Во всех без исключения кабачках, помимо обязательных цветов и аквариума со странными рыбами, стоит цветной телевизор. Во время обеденного перерыва и вечером, после работы, сюда приходят люди не только перекусить, но и посмотреть новости, фильм, спорт.

Восхищает здешняя церемония встреч и прощаний. Целый ритуал: серия поклонов, обязательные улыбки, – это нежно и прекрасно. Однако молодежь, которая чем дальше, тем больше начинает экономить время, от этой традиции отказывается. Действительно, целесообразнее на прощание сказать: «Сиа» (то есть «Си ю агейн» – «Увидимся снова» – парафраз нашего «до свидания»), чем три минуты раскланиваться. (В свое время некий президент США, просмотрев подготовленный помощником документ, написал на уголке две буквы: «О.К.». Президент был не в ладах с грамотой, писать следовало: «А.С.», то есть «All correct» – «все правильно». Но ошибку президента канонизировали. И с тех пор американцы вместо «эй си», то есть «А.С.», говорят «о'кей» — О.К.».)

Когда я вернулся в отель, портье передал «месседж»: звонили из Центрального комитета партии «Комейто» – меня могут принять. По поручению ЦК принимать меня будут депутат парламента Ватанабе и главный редактор «Сейкиопресс» (это объединение газет, журналов и издательств «Комейто» и религиозной огранизации «Сока Гаккай») господин Эйносико Акия.

Рано утром ко мне приехали Ватанабе-сан, Акия-сан и Икеда-сан, главный редатор большого и очень популярного журнала «Усио» («Прилив»). Это идеологический флагшток партии «Комейто». Каждому из них нет еще сорока. Тем не менее это серьезные, сформировавшиеся политики. Они пригласили меня не в ЦК, а в храм «Дайсе кидзи», у подножия горы Фудзи. Огромный храм этот, состоящий из многих зданий, построен недавно на добровольные пожертвования членов «Сока Гаккай». За очень короткий период было собрано 35 миллиардов иен. Храм производит совершенно поразительное впечатление радиофицированными молельными пагодами. Стариков здесь мало, в основном молодежь. Когда Ватанабе рассказал мне о том, с чего начинали партия «Комейто» и религиозная секта «Сока Гаккай», я лишний раз убедился, что к этой силе следует относиться сугубо серьезно. В 1945 году в стране было всего двадцать тысяч семей – членов «Сока Гаккай». Было запланировано к 1970 году привлечь к себе шесть миллионов семей, но уже в 1968 году «Сока Гаккай» объединяла, по словам Ватанабе, семь миллионов семей. (Эта религиозная община считает число своих членов по семьям.)

Ватанабе подчеркнул, что до 1964 года «Сока Гаккай» не хотела иметь партии, не хотела никакой политической борьбы, рассчитывая на бескровную победу идеи «гармонии нации». «Сока Гаккай» была уверена, что учение охватит большинство японцев, а потом – естественно – и правительство. Однако и традиционный буддизм, и целый ряд космополитических промышленных концернов были испуганы ростом «Сока Гаккай», начались гонения. Поэтому возникла политическая партия «Комейто» и «Сока Гаккай».

– Мы разные организации. Члены нашей партии всего лишь исповедуют доктрину «Сока Гаккай». Именно эта доктрина приведет нас к власти.

– Вы убеждены, что придете к власти?

– Убеждены.

– На чем строится эта убежденность?

– На том, что мы вобрали в себя самые великие учения мира: буддизм, марксизм-ленинизм, традиционный японский дух и элементы учения Гегеля. Мы материализовали религию, понятную всем людям. Наша главная цель – показать миру путь

развития страны без войны. «Сока Гаккай» преследовалась за мирные устремления. Мы не отступили от своих мирных устремленностей. Мы верим в них. Мы считаем мир божьей идеей.

В чем порок христианства, иудаизма, мусульманства? В том, что эти религии разошлись с прогрессом, утверждая наличие непознаваемого чуда. То, что эти религии не могут объяснить, они называют ересью или чудом. А это неверно. Теперешний уровень развития знания отвергает концепцию Христа, Иеговы и Мухаммеда. Мы взяли у Будды теорию причинных связей; мы взяли у Маркса теорию труда и капитала. Это наши отправные, краеугольные камни, и, опершись на них, мы занимаемся сейчас внутренним миром человека.

Сидящий впереди, рядом с шофером, редактор журнала «Усио» Икеда-сан улыбнулся.

– В подтверждение слов моего друга я расскажу вам две маленькие притчи. Вы тогда поймете, вокруг чего мы сейчас ходим – в плане моральном... Вы, наверное, знаете, что кисти для иероглифов делаются из шерсти барсука. Это большое искусство – делать кисти для иероглифов. Сейчас в Японии осталось всего несколько семидесятилетних старцев, которым знакомо это искусство. А учеников у них нет. Есть у нас три самых древних старика, которые умеют делать кисти не только из барсука, но и – это самые дорогие кисти – из шерсти мышей и крыс. Найти такую мышь, из которой можно сделать кисть, крайне трудно. Необходима мышь, которая не лазает в норы, – иначе у нее стирается шкурка. Эти три старика ездят в Кобе, на суда, которые возят зерно, и там ловят крыс, которые не имеют нор, так как они живут на кораблях – в трюмах. За год старики делают десять кистей. Их кисти ценятся, ими умиляются, этими кистями работают каллиграфически, их используют в лаковой живописи. А никто из молодежи учиться этому искусству не хочет. Умрут старики – умрет идея, умрет традиция. Я знаю архитектора, преподавателя университета, который любит и умеет строить национальные японские дома. Не подделки на потребу туристам, а истинные японские дома. У архитектора есть бригада плотников – два человека, настоящие умельцы. Однажды плотники заболели, у архитектора кончался срок подряда, и он был вынужден пригласить других плотников. Вместо стариков, которые «ра-

ботают» дерево руками, после каждого движения стамески ощупывают «материал», пришли два молодых человека в американских галстуках, с электрорубанками. Они все добротно сделали. А старичок архитектор расстроился и слег, потому что в работе плотников не было искусства.

Я сказал г-ну Икеда, что притчи занятны, в них много справедливого и горького. Когда у стариков никто не учится, это, естественно, плохо. Но что плохого в электрорубанке? Рабочий получает экономию времени. Он выгадывает часы для чтения.

Ватанабе, человек резкий, смешливый и быстрый, сказал:

– Так вы заберетесь в схоластические дебри. Давайте продолжать беседу по существу. Про кисточки потом... Итак, мы стоим в оппозиции к правительству Сато. Мы будем поддерживать на выборах не только своих кандидатов. Мы будем поддерживать «личность». Для нас главный вопрос: кто есть кто? О нас говорят сейчас как об истинных демократических социалистах. Вопрос слияния с социал-демократами? Что ж, я не отвергаю такой возможности. Вы знаете, что мы обещаем народу? Я перечислю по пунктам. Первое – освобождение от налогов лиц, которые получают меньше миллиона иен в год. Я имею в виду, – пояснил он, – семью, состоящую из пяти человек. Второе – мы настаиваем на том, чтобы была заморожена плата за коммунальные услуги на год. Третье – мы обещаем, если мы будем победителями на выборах в парламент, добиться твердых мер по безопасности транспорта. Мы, «Комейто», говорим о себе: «Партия чистой политики».

Я спросил:

– Как журналисты пишут о вашей партии?

Он засмеялся:

– Ну, журналисты о нашей партии пишут не очень много, они боятся бойкота тех газет, с которыми мы связаны. А мы имеем серьезный вес в Токио, Иокогаме, в Нагое, Осака, в Киото. Обратите внимание еще вот на что. У нас практически нет священников, а мы растем – и численно и качественно – из года в год. В чем дело? А в том, что сами верующие распространяют веру. После капитуляции японцев учили, что их миссия в будущем – это строительство нового, демократического строя. Но это строительство шло с нищетой, с болезня-

ми, с тяжелыми жилищными условиями, с низкой заработной платой. Отсюда в Японии так сильна тяга к духовной опоре.

Мы против всякого рода титулов и знаков отличия. Когда наши активисты гордятся своими титулами, поверьте, это идет от чистого сердца. И титулы у нас не очень-то звучные, совсем не самурайские: «руководитель ячейки», «руководитель группы», «начальник отдела», «лектор», «профессор», «начальник штаба».

– Какой титул у вас?

– Высший. Начальник штаба.

– Вы должны отметить, что по всей стране у нас сейчас работают «консультационные пункты». Там наши депутаты парламента и активисты выслушивают жалобы людей, причем не формально – мы дорожим престижем. Мы действительно стараемся помочь. Мы сидим в консультационых пунктах не для того, чтобы завоевать дешевый авторитет перед выборами, а чтобы помочь людям...

Вы спрашиваете, – продолжал он, – что я думаю о будущем нашей партии? Я убежден, что в течение ближайших десяти лет мы достигнем серьезных успехов на выборах. Мы станем самой сильной оппозиционной партией, и, я думаю, в течение десяти лет мы завоюем политическую власть в стране. (Власти «Комейто», как утверждал Ватанабе, не получила, но действительно сделалась весьма серьезной организацией, с которой нельзя нынче не считаться.)

Я спросил Ватанабе:

– Скажите, Толстой оказал влияние на ваши идейные концепции?

Ватанабе ответил сразу же:

– Нет.

Директор издательского концерна «Комейто» Акия не согласился:

– Толстой в чем-то, бесспорно, оказал на нас влияние. Но я бы уточнил: на нас влияла его проза. Учение Толстого идеалистично, оно не дает ключа к решению главных проблем. И потом – оно рождено христианством, а потому неверно. Возьмите его теорию непротивления злу насилием. Если этого не делают государства, то почему это должны делать люди? Средства коммуникации стали массовыми. Люди видят, как

себя ведут государства. А ведь государства – это большие люди. И, увы, маленькие люди подражают этим махинам.

– Нам трудно, — продолжал Ватанабе, – ибо мы ищем пути к сердцам людей. Ватикан пестует веру в Христа около двух тысяч лет, и это – со всеми моральными издержками христианства: с инквизицией, морами, войнами. Тем не менее две тысячи лет – это не шутка.

– Ваше кредо в международных делах?

– Мы выступаем против агрессии американского империализма во Вьетнаме; мы настаиваем на мирном объединении и Вьетнама и Кореи; мы против американского империализма; мы выступаем за мир во всем мире... Мы верим в то, что вы – нация, стремящаяся к миру. Смешно в это не верить – вы пережили такую страшную войну против фашизма. Мы видим в вашей стране много хорошего. Мы тоже хотим национализации, мы тоже хотим демократического социализма в Японии.

Ватанабе продолжал:

– Вы говорите о необходимости отлаживания серьезных контактов между нашими странами. Верно. Мы тоже об этом говорим. Ну, а почему бы вам, к примеру, не купить у нас автомобили?

– Выгода должна быть двусторонняя. Мы строим свои автомобильные заводы.

– Хорошо. Вы предлагаете развивать торговлю. У нас на побережье двенадцать великолепных портов, а у вас только один. Если вы думаете о перспективном налаживании торговых отношений с нами, то, наверное, стоило бы вам начать строительство портов. Это было бы надежной гарантией для наших торговцев. Мы тогда могли бы – в определенной мере – повлиять на целый ряд промышленных концернов.

Внезапно Ватанабе рассмеялся:

– Хотите, признаюсь, почему я так радею о наших отношениях? У меня была русская няня. Она эмигрировала еще до революции. Я ее очень любил и, когда был маленьким, хорошо говорил по-русски. Но я, – он снова улыбнулся, – не буржуй. Няня была членом нашей семьи. Отец был рабочим, квалифицированным рабочим, он погиб на фронте... Знаете, почему я еще так уверен в нашей конечной победе? Либерально-

демократическая партия опирается на крестьянство, всячески заигрывает с крестьянством. Но ЛДП – правящая партия, следовательно, она напрямую связана с политикой. А определить политику Японии нельзя без контактов с монополиями. А тем, в свою очередь, нужны рабочие руки. Отсюда – постепенная пауперизация японского крестьянства, неустроенность людей, попавших в город, множество личных трагедий. Отсюда рост влияния «Сока Гаккай». Мы не делаем ставку ни на крестьянина, ни на рабочего, ни на студента. Мы ставим на семью. Крестьяне, которые выпадают из привычных сельских условий, разочаровываются в либерально-демократической партии. А поскольку «Экономическому чуду» в Японии будет требоваться все большее количество рабочих рук на заводах, то крестьянство будет продолжать разоряться. Таким образом исчезнет политическая база либерально-демократической партии. Помяните мое слово – чем дальше, тем труднее будет ЛДП удерживать власть в своих руках.

– Интеллигенция нас тоже понимает, – заметил Эйносико Акия, — потому что технический прогресс техническим прогрессом, но ведь в Токио нет постоянных национальных выставок живописи, нет серьезного национального музейного богатства. Все это бедно, убого и отдано на откуп тем фирмам, которые не очень-то понимают в искусстве. Это богатые фирмы, поэтому они взяли в свои руки культуру. А наша партия озабочена самовыражением японцев в национальном, культурном, политическом плане. Поэтому не думайте, что мы делаем ставку только на нищих и сирых. Нет, мы ищем базу в самых широких слоях нашего общества.

...Вечером – встреча в университете.

– Главное, что определит будущее Японии, – задумчиво говорит мой собеседник, профессор социологии, – это выявление и использование талантов. До сегодняшнего дня наше общество (я имею в виду промышленность и науку) прогрессировало благодаря борьбе «сильных личностей». Следующая фаза развития, к которой мы вот-вот подойдем, будет определяться степенью использования наиболее талантливых.

Однако если попробовать развить соображение моего собеседника, то родится множество проблем, далеких от решения.

Талант – это всегда меньшинство. А общество не может уповать на лотерею. Вытащил красную фишку – обнаружил в десятом классе школы гениального физика, которого собираются исключать за неуспеваемость по словесности. Достал белую фишку – обнаружил в лаборатории скромного паренька, затюканного сослуживцами, который написал прекрасную повесть.

А сколько нераскрытых талантов по сей день гибнет в беднейших слоях общества капитала, среди тех, кто не может купить будущему Бетховену – рояль, Королеву – «конструктор», а Менделееву – набор «юного химика»?!

Отличить талант может лишь то общество, где полностью развиваются такие качества человека, как независимость мышления, правдивость, неприятие административной авторитарности, где поощряется поиск.

Завтракал с Дэйвом Конде. Беседовали о «Сока Гаккай».

– Что вы хотите, у них огромная питательная среда,- говорил Дэйв. — Обнищавшие крестьянские массы, которые пришли в услужение к городу; отрыв детей, уехавших на заработки или учебу, от родителей; нарушение всех традиций. А Япония – это прежде всего традиции семьи. Когда человек вырван из семьи и перемалывается молохом города, он обязательно будет искать веру. Учтите – правые были до недавнего времени очень сильны в деревне, их пропагандистская машина работала против профсоюзов, против «красных». А «Сока Гаккай» — традиционнее и поэтому ближе обездоленным: они «собеседники» в вере, а не борцы за веру... Борьба за веру у них предполагает внутреннее, статичное самосовершенствование, в то время как красные зовут к действию, к классовым сражениям за атеистическую веру Маркса.

Резервы «Сока Гаккай», бесспорно, значительны, и чем дальше станет развиваться научно-техническая революция в Японии, тем важнее будет трансформация отправных позиций партии «Комейто» во всех сферах социальной жизни страны...

Поехал вместе с Дэйвом Конде к австралийцам. По-прежнему «держат» визу. Если не дадут, громыхну от души «по свободе передвижений» для писателя.

Пока ехали в посольство, Дэйв Конде жаловался, что Япония самая дорогая страна для иностранцев. Продолжая наш

разговор о «Комейто», он отметил, что настойчивость просьб руководителей партии не смешивать их с «Сока Гаккай» продиктована, вероятно, тем, чтобы оставить у партии большую свободу маневров в политических коллизиях.

Беседовал с профсоюзными функционерами. В Японии самый высокий класс строительства и самая высокая квартплата, говорили мне собеседники. Древнее искусство – и отсутствие необходимого числа театров; самые совершенные телевизоры – и самое незначительное число телевизионных шедевров; самые совершенные медицинские приборы – и самая дорогая плата за медицинское обслуживание. Чтобы вылечить зуб, нужно уплатить двадцать тысяч иен, а это чуть ли не месячная зарплата квалифицированного рабочего.

– Вы обратили внимание, как много громадных реклам на махоньких лачужках в старых районах Токио? – продолжали собеседники. — У нас любят писать: «Самое лучшее в Японии молоко вы можете купить в нашем магазине». А магазин – три квадратных метра. Или: «Самое лучшее в мире стекло вы можете заказать в нашей мастерской». А мастерская – это муж, жена и сын. И гонка за «самым лучшим в мире стеклом» выматывает их, не оставляет времени на раздумья, на то, чтобы, как вы говорите, приобщаться к скоростям нашего века. Вечерние программы телевидения лишь фиксируют события, они никак не подталкивают человека к размышлениям. Мы сейчас начинаем терять традиции. Но в то же время мы живем в период рождения новой, динамической японской нации – нации, которая, сознавая свои достижения, жалеет, что она теряет самое себя. Нас волнуют не столько международные проблемы и связи, хотя контакты японских профсоюзов со всем миром очень широки. Сейчас главное для Японии не на международной арене, а внутри (угроза со стороны ультралевых и милитаристов). Это происходящее у нас, во многом еще непонятное, будет потом определять и международный курс. «Сначала – здесь, потом – там» – таков наш лозунг, – продолжали мои собеседники. – Политика стала наукой, а не забавой узурпаторов. Узурпатор сейчас смотрит на личного пилота совсем не так, как его предшественник смотрел на своего конюха. Скорость – это опасность. Особенно внутри государ-

ства, внутри, а не вовне. Поэтому нас так беспокоит все происходящее дома.

...Я предвижу небывалое промышленное развитие Японии в ближайшие годы. Тем важнее стоит вопрос, как будет формироваться «моральное лицо» страны, кто будет к кому прислушиваться: бизнесмены и парламентарии к прогрессивным ученым, писателям, художникам или будет выстроен самодовольный курс навязывания «собственного опыта» рабочему и интеллектуальному цвету нации? Или – верх возьмут технократы? Но ведь технократия немыслима без рабочих и без гуманитариев. Страна роботов, слава богу, не может существовать в нашем мире.

Те силы, которые сейчас правят Японией, пытаются сохранить устойчивое «статус кво». На определенном этапе это правомочно. А в будущем?

По мнению моих собеседников, сложность состоит также в том, что рабочий класс Японии имеет ряд особенностей, которые подчас мешают более активной борьбе с хозяевами. Рабочий класс разделен, организован в виде пирамиды. На ее вершине – так называемые «постоянные работники» крупных промышленных предприятий. Вторая ступень, к которой принадлежит большая часть рабочего класса, – труженики мелких предприятий, где, как правило, занято не более ста человек. Затем – «временные рабочие», пришедшие с полей, куда они возвращаются в период промышленного спада. Четвертая ступень – это «вспомогательные рабочие», те, которые сочетают низкую заработную плату в сельском хозяйстве с доходами от любой временной работы. (Это трагедия деревни, где живет более пяти с половиной миллионов крестьянских семей, из которых лишь один миллион получает достаточный доход от землевладения).

Размеры заработной платы в Японии зависят от числа лет, проработанных на данном предприятии.

– В принципе крупный японский бизнес, бесспорно, преуспел в последние годы, – говорили мои собеседники, – ибо были учтены национальные традиции Японии: отношение к старшим, отношение к более ученым и уважаемым. А это, согласитесь, не очень-то вяжется с нормами классовой борьбы, хотя роль профсоюзов в стране растет день от дня и страну сотрясает забастовочное движение.

Проплутав по махоньким улочкам, встретился в помещении «Синари-Кайкан», в Саньо-Роджи, с выдающимся кинорежиссером Иман.

Поразительна разница между европейским и современным японским театральным и – особенно – кинематографическим искусством. У нас сейчас в кинематографе и театре стремятся к раскованной простоте диалога, интонации; у нас стремятся снимать не в декорации, а в бытовом интерьере. Режиссер счастлив, когда открывает актера в «неактере». Порой мы идем к чрезмерному упрощению явления, чтобы обнажить главную проблему, которая тревожит всех. Японца-актера сразу же отличишь по безудержной экзальтированности, по особой манере вести себя. Некоторые актеры, впрочем, поначалу держатся так, словно боятся себя расплескать; только после пяти рюмок саке вы можете увидеть пламень, сокрытый в человеке. Изо всех моих друзей-актеров только Маяма и режиссер Имаи отличались глубокой сдержанностью. Но здесь уже, видимо, вопрос самоощущения, уровня таланта и меры признания, потому что лишь серьезный успех позволяет художнику быть тем, кто он есть на самом деле.

Европейские фильмы, которые дублированы японцами, подчас несут совершенно другие смысловые нагрузки. Из-за этого часто смещается восприятие фильма: там, где европейский или американский актер говорит тихо, дублирующий японец срывается на крик. И, наоборот, там, где у нас актер должен по смыслу кричать, – японец шепчет. Интересная проблема: от того, в какой мере люди научатся точно понимать друг друга, зависит очень многое. Ведь часто мы пугаемся вкрадчивости, излишней, как нам кажется, многозначительности собеседника, который говорит на незнакомом языке, и делаем далеко идущие выводы, основанные лишь на чувстве, рожденном незнанием. Это опасно, сугубо опасно. То, что сейчас у нас в стране открыто огромное количество школ, где дети изучают иностранный язык с первого класса, – великое дело. Надо только, чтобы встречно – и в Японии, и в Америке, и в Англии, и в Китае, и в Египте – так же серьезно отнеслись к изучению русского языка, ибо однозначное стремление к пониманию – это пятьдесят процентов на пути к успеху, если не меньше.

Я убежден, что в недалеком будущем переводчики (я не имею в виду литературный перевод – это искусство) будут уступать свои позиции рабочим, врачам, инженерам, ученым, которые станут «общаться напрямую» со своими коллегами. Уважая «работу» в ее изначальном, высоком смысле, я тем не менее довольно часто испытывал тревогу и разочарование, когда мне приходилось в некоторых странах прибегать к услугам переводчиков. Третье лицо в беседе актеров, художников, режиссеров отнюдь не всегда полезно, ибо понять надо не только смысл слов, но и настрой души...

Чем больше я встречался с японскими художниками (я объединяю в этом понятии литературу, ТВ, живопись, театр), тем больше утверждался в мысли, что они несут на себе печать определенной исключительности, ибо совсем еще недавно лишь лицедеи имели право открыто выражать чувства толпе. А зритель и сейчас – как всякий японец – обязан быть сдержанным. Зритель может про себя плакать, смеяться, кричать от радости или боли, но внешне он обязан лишь чуть усмехаться, его лицо должно быть маской. «Все выражает лишь иероглиф, в котором сокрыт истинный смысл, но никак не чувство».

Я спросил кинематографистов, почему в Японии художники так много пьют – в сравнении со средним чиновничеством и почти совершенно не пьющими рабочими и студентами.

– Дефицит рабочей силы громадный, — ответили мне,- но и резервы тоже неисчерпаемы: деревня. Им пить нельзя – прогонят с работы, а нас гнать некуда.

Вечером пошли с Дэйвом Конде в «Литтл-клаб» на Гинзе. Здесь собираются американцы, прилетевшие на недельный отдых из Вьетнама. Встретил там Джека Рассела на радио и телевидении «Эн-Би-Си». Он теперь сидит в Сайгоне. Я рассказал, как ВВС США безнравственно – иначе не скажешь – бомбят в Лаосе и на севере Вьетнама мирные объекты.

– На войне как на войне, — ответил Рассел. — У нас на юге еще хуже, там стреляют отовсюду.

Молоденькая красивая девочка из «стриптиза Ватанаси», подсев к нам за столик, рассказывала, что ребята из американской морской пехоты очень быстро напиваются, засыпают прямо на стульях, а во сне часто плачут и кричат.

— Война убивает в мужчине мужчину, — сказала она. — Какой идиот сказал, что война — это мужество? Только любовь — это мужество и сила.

Потом мы пошли с Дэйвом пить кофе в «Манос». У входа — фото казачка в расшитой рубахе и лаптях. «Манос» — русский ресторан. Их здесь несколько. Есть, например, «Волга», построенная в форме маленькой церквушки. (Сколько я потом видел этих «русских» ресторанчиков! Лапти, деревянные скамейки, самовар, шелковые рубахи, вышитые полотенца... Материализованные мечты о России, какой бы ее хотели видеть полуграмотные власовские и прочие недобитки. Снисходительно-барское, «привычное» со времен Шкуро и Кутепова отношение к великому народу, поднявшему в космос и спутник и Гагарина; озлобленная неподготовленность к проблемам, которые выдвинули Королев, Ландау, Шостакович... Конечно, повесить лапоть легче, чем понять гениальную мысль Николая Дубинина, Акселя Берга и Петра Капицы...)

Владелец «Маноса» — канадский грек с английскими усиками, постоянно живущий в Токио, работающий, как говорят, на ЦРУ, великолепно говорящий по-японски и по-китайски, — развел руками:

— У меня запись на столики с утра, сейчас все забито. Громадный интерес к «матушке-России». Только у нас угощают гостей кислыми щами и расстегаями.

Поздно вечером зашли в журналистский клуб. Дэйв раскланялся с Чарли — корейцем из Сеула.

— Ничего не поделаешь, — пояснил мне Дэйв, — журналистская солидарность. Я его бью и в статьях и в выступлениях, но мы вынуждены сидеть в одной библиотеке, а это невозможно, если не быть джентльменом.

...Днем за мной заехал художник Токато, и мы провели с ним вместе день, вечер и ночь. Он рассказал мне, что его отец был самураем, а брат, офицер, умер в Тайшете в 1947-м.

— Обижены на нас?

— Нет, я не имею права быть обиженным. Брат — продукт нашей военной машины, он был силой агрессии, как же я могу обижаться на вас?

В маленький кабачок, где мы сидели, вошел парень, который ел мороженое. Токато вдруг усмехнулся.

– Вот примета времени, понятная только японцу. Еще три года назад есть мороженое на улице считалось верхом неприличия. Прогресс, прогресс, во всем прогресс. Но и сейчас, если молодой человек станет есть мороженое на улице, старики и люди среднего возраста будут оглядываться на него с укоризной. Так же, как, например, мы не понимаем вашу приверженность к кефиру. Японцы не употребляют эту пищу. Она кажется нам безвкусной и никчемной. Попробуйте-ка лучше «сио-кара». Она приготовлена из кишечника каракатицы. А самый наш нежный деликатес – пробуйте, пробуйте – это «икура анко» – икра электрического ската. Вкусно?

Это действительно вкусно.

Потом Токато отвез меня в «Мацуи». Здесь угощают разными сортами саке. Есть саке из Киминои (переводится «ваш источник»). Есть саке из префектуры Ивате – она славится тем, что ее пил поэт Исикава. Есть саке «суисен» — «напиток, который поит волшебника».

– Понимаешь, — говорил Токато, — дух самурая – это дух войны. Теперь война не в почете, но дух самурая пытаются сохранить, потому что, с одной стороны, это национальная традиция, а с другой, — громадная идейная сила, которая выгодна власть имущим: ведь идейную силу можно при надобности вооружить. Сейчас в пропаганде проскальзывает такая нотка, что, мол, сегодняшний «самурайский дух» – это дух самообороны, то есть это никак не агрессивно, это направлено только на то, чтобы сохранить Японию. Хотел бы верить, что это так. Но ведь дух самурая может поддержать только старший в семье. А старший в доме помнит о самурае времен 1945 года. И поэтому нельзя сказать, что проблема «самурайского духа» исчезла. Ведь некоторые вспоминают о минувших годах с тоской, ненавидят все новое... Масса людей была воспитана в ненависти к левым, она жила традициями прошлого века. От отца ненависть к новому передается сыну. У нас была мощная армия, ее пронизывал дух реакции. Разве ты думаешь, что все смирились с поражением шовинистической доктрины? Семья – это надежда Японии и одновременно угроза ее будущему. Ведь у нас за телевизор платит не «человек», а «семья». Компания «Эн Эйч Кэй» получает деньги с японских семей, а не с тех, кто покупает телевизор. Купить

может сын, платить будет семья. Женятся у нас не люди, а семьи: «Семья Танако женится на семье Масуда». Вновь создаваемые семьи в пригородах и провинциальных центрах, там, где, например, молодые текстильщицы выходят замуж за париев из деревни, — это новые резервы, как это ни странно, для сохранения «самурайского духа», ибо слабым нужны сильные защитники. В принципе самурай — это одинокий рыцарь, который творит добро, сражаясь один на один с миром зла. Меня, например, некоторые в семье считают потерянным, ибо я шучу над «самурайским духом», хотя какие-то элементы самурайского воспитания — способность сносить лишения, не бояться голода, горя и смерти — помогли мне стать художником, выдержать многолетнюю борьбу за жизнь.

(Маяма-сан, великая и добрая актриса, говорила:

— Когда вам будет плохо и вы не сможете писать, когда вы разлюбите или полюбите, когда ваши дети будут счастливы или будут горевать, запомните, что «кризис» составлен из двух китайских иероглифов: первый означает «опасность», второй — «возможность».)

В пять утра в отель приехал мой старый друг по Институту востоковедения, дипломат Михаил Ефимов. Отправились на рыбный рынок Цукидзи. Ехали по рассветающей, пустой Гинзе. Красота зданий контрастировала с грязью. Перевернутые урны, окурки, обрывки бумаги. Впервые в Японии я воочию видел нечистоплотность. «Гинза — это не Япония, — сказали мне потом друзья, — это космополитический центр Токио, где развлекаются не так, как это у нас принято, и пьют холодное виски вместо горячего саке». Горели голубые фонари — одинокие на фоне пустого мглистого неба. Бездомные собаки бродили среди машин. Было холодно, и ветер был осенний.

Рынок начинается с паркинга машин. Это очень трудно — в пять утра запарковать машину неподалеку от Цукидзи, потому что сюда на рассвете съезжаются со всего Токио. (Сразу поймал себя на слове — мы привыкли утрировать: если бы весь Токио съехался в Цукидзи, то в городе остановилось бы движение на месяц.)

Следом за паркингом начинается крытый рынок. Вы попадаете в сказочное царство моря. Вы проходите сквозь горы

свежих, еще шевелящихся осьминогов, улиток, устриц, морских ежей. Здесь икру продают на пуды. Когда я попросил на рынке попробовать немножечко «икуры» (это красная икра), мне протянули стерильно чистую столовую ложку. Я достал деньги, но юноша продавец лишь покачал головой: «Не надо денег, ложка икры – это сабис». «Сабис» – японское произношение английского «сервис». Я должен попробовать икру, и если удостоверюсь, что она прекрасна, икринка к икринке, – икры будет продано больше. На здоровье пробуйте, не надо мелочиться в серьезном деле: раз люди останавливаются около прилавка, – значит, именно там надо покупать!

Огромное количество огненно-красных спрутов; икра здесь тоже всех цветов – розовая, темно-красная, серая... Рыбы – фиолетовые, красные, синие, серебряные.

Мы прошли сквозь рынок. Все было готово к торговле. «Дары моря» еще шевелились, поскрипывали, издавали какие-то странные, тревожные, глубинные звуки.

Вышли на набережную. Здесь – рыбный порт, «Площадь аукциона». Триста метров в длину, сто в ширину. Вся эта площадь была выложена тунцами. На боку каждой рыбины вес и номер. Хвост отрублен, брюхо вспорото.

Начался аукцион оптовиков, которые затем эту рыбу будут продавать в розничную торговлю.

Оптовик звонит в колокольчик – это значит: готов продать свою партию тунца. Со всех сторон к нему бегут десятки розничных торговцев. Они бегут, ловко перепрыгивая через тунцов, никто не споткнется, никто не упадет. Оптовик выкрикивает пронзительнейшим голосом:

– Продается партия товара номер двадцать два!

И называют первую цену.

Торговцы молчат. Здесь друг друга все равно не перекричишь. Они выбрасывают над головой пальцы – свою цену. Есть символы цен: соединенный большой с указательным, указательный с безымянным – десятки комбинаций. Оптовик за десять секунд, не больше, подсчитывает, кто из тридцати человек предложит ему лучшую цену. Оптовик протягивает палец по направлению к человеку в толпе, и все остальные японцы – без ссор и галдежа – сразу понимают, кто из них стал обладателем товара.

Фантастическая емкость жестикуляции!

...Забыл получить деньги в банке. Ночевать негде. (Надо бы наших туристов отправлять за рубеж не так заботливо, как это делает сейчас «Интурист». Четыреста долларов в зубы – и езжай себе. Тогда бы наши туристы узнали, почем фунт лиха: что значит заболеть, съездить в другой город, пообедать в ресторане типа «Москва» или «Метрополь», сходить в театр, снять номер в приличной гостинице.)

Позвонил друзьям, сказал, что нашел маленький «традиционный отель», где комната стоит три доллара, а не десять, как всюду. Оставил на всякий случай номер телефона: если понадоблюсь – ищите.

Когда я приехал в «традиционный отель», портье протянул мне бумажку: номер с обслуживанием стоит тридцать долларов! Я похолодел. В кармане у меня оставалось всего девять долларов, рассчитанных до цента: три – за номер, три – позавтракать и поужинать (обед – излишество, если можно устроить поздний завтрак), доллар – метро, два доллара – музеи и кинотеатры в воскресный день.

– Но мне сказали, что номер стоит три доллара!

Портье достал японо-американский разговорник, долго листал его, наконец ткнул пальцем в какую-то фразу и протянул мне книжечку.

– «Никто так не обслужит мужчину, как женщина».

Портье томно закрыл глаза, изображая девицу, и поцеловал себя в ладонь, изображая страстного мужчину.

– А без «обслуживания» можно?

Портье долго переговаривался со старухой в кимоно и гета, потом вздохнул и сказал:

– Нежелательно, но можно. Пять долларов.

Я рассвирепел, — искать другой отель пришлось бы еще часа два, и на это бы ушел доллар, отложенный на музей и кино.

– Два! – сказал я и для верности показал на пальцах.

– Три, – сказал портье миролюбиво, – и ни центом меньше.

Комнатку он мне дал крохотную – четыре квадратных метра. Кровати нет, стола нет, в углу матрац, свернутый как солдатский ранец, — ночью он заменяет кровать. За тоненькой бамбуковой стенкой веселились американцы с японочками из «обслуживания».

Пошел бродить по городу. Просто так, без всякой цели. Увидел вывеску: «Русский бар «Кошка»». Это в районе Синдзюку, в тупичке около железной дороги. Там крохотная улица, два метра шириной, – машина не проходит, только мотоцикл. Бары здесь стоят сколоченные из неструганных досок. Это район «нищих баров». Стойка и четыре высоких скрипучих стула. В баре сидели трое молодых японцев с кинжалами на широких ремнях.

Старуха в парике, увидев меня, схватила балалайку и запела: «Выпьем за Танюшу, Танюшу дорогую, а пока не выпьем, не нальем другую».

– Откуда? – спросила она меня по-японски. – Американец?

– Нет, – ответил я, – русский.

Старуха вдруг, без всякого перехода, заплакала:

– Господи, русский, вот счастье-то! Из каких? Австралийский русский или немецкий?

– Советский...

Старуха – опять-таки сразу же, без подготовки, — плакать перестала и решительно вытерла нос платочком.

– Не может быть, — сказала она, — не верю.

– Почему?

– Вам запрещено ходить по одному, а посещать бары – того более.

– Значит, я отступник...

– В России за отступничество головы рубят.

– У меня шея крепкая.

– На продажу ничего нет?

– Не понимаю...

– Золотишка, камней? Устрою, есть связи...

– Не надо...

Старуха плеснула в рюмки «смирновской» водки, — мне она налила двадцать граммов и десять, не больше, плеснула себе.

– Пей до дна, пей до дна, пей до дна! – пропела она. — Пей, большевичок недорезанный... Эх, господи, и зачем вы сюда пришли, только сердце растревожили... Я пятьдесят лет никого оттуда не видала... Из Петрограда – в Читу. Потом – в Дайрен, оттуда – в Шанхай, а после сюда. Графиня, — крикнула она, открыв окошко, ведшее на кухню, — идите сюда, у нас в гостях красный...

«Графиня», женщина лет сорока пяти, густо накрашенная, в нелепой черной мини-юбке, вышла из кухни. Один из волосатых парней вскочил, подошел к ней, взял за руку, привлек к себе, что-то шепнул на ухо. Женщина отрицательно покачала головой, глядя на меня.

– Действительно вы из России? – спросила она.

– Действительно... Из Союза...

Она прикоснулась к моей руке.

– Во плоти, — усмехнулась она. — Бред какой-то.

Японцы допили свое саке и шумно вышли из «Кошки», картинно поправляя свои кинжалы.

– Где ночуете? – спросила «графиня».

– В отеле.

– Далеко отсюда?

– Нет...

– Откуда сами?

– Из Москвы.

Старуха снова заплакала.

– Если будет желание переночевать в русской семье – прошу, — сказала «графиня», вымученно улыбнувшись. — Две комнаты, семь квадратных метров. По здешним условиям это прекрасно. Нянька, — она кивнула головой на старуху, — переночует здесь, на полу...

Я улыбнулся, поглядев на старуху.

– Она уже сказала вам, что княжеского рода? Она такая же княжна, как я графиня. Она – старая б..., я – помоложе...

(В понедельник встретился с директором одной из фирм «Мицубиси». Важный, чопорный господин читал мои книги, просил подписать их, учтиво интересовался, в каком отеле я живу. Настойчиво рекомендовал «Тоси сентер».

– Там великолепные номера, это недорого, всего двадцать долларов...

Знать бы ему, где я ночевал.)

Беседовал с работниками Общества содействия переводам русской литературы. Им трудно. Книг они получают мало. Они, например, совершенно не знакомы с современной грузинской, киргизской, латышской, азербайджанской прозой и поэзией; они только сейчас услыхали о Юрии Бондареве, Василе Быко-

ве, Юхане Смууле. Они ничего не знают о Василии Шукшине, Борисе Васильеве. В университете Васеда, где изучают русский язык, получают только два наших толстых журнала.

– Среди переводчиков, – говорил мне Кано-сан, милейший парень, переводчик и литератор, – удачлив лишь тот, кто может заполучить журнал или книгу. Неважно, в какой мере он знает русский язык и в какой чувствует японский. Важно, что он владелец товара. Сложность еще в том, что те люди, которые могут «выйти» на издательство, обязательно должны иметь рекомендацию профессуры, «столпов русской филологии». А рекомендует профессор в том случае, если человек в течение двух-трех лет работал у него ассистентом. А ведь ассистент – это снова японская традиция – должен быть безымянным вторым «я» профессора, мальчиком на побегушках, автором его работ. Поэтому в ассистенты идут, как правило, люди бездарные, зарабатывающие не знания, а вес в обществе, визитную карточку. (Все в один голос говорят, что единственное исключение – профессор Курода. Я с ним увиделся потом, — улыбчивый, «пергаментный» старик, великолепный «русист».)

...Вечером, когда я возвращался в отель, ко мне подошла женщина. В руке у нее подрагивал маленький фонарик.

– Предсказание судьбы стоит всего триста иен, — сказал она на плохом английском, — я гадаю только правду...

Взяв мою руку, она замерла, низко приблизив свое застывшее лицо к моей ладони.

– У вас прекрасные дети, — сказала она после долгого молчания, — две девочки. У них глаза разного цвета...

Гадалка то включала фонарик, то резко выключала его, и делалось тревожно темно вокруг. Несколько раз она осветила мое лицо, близко заглядывая в глаза.

– У вас в жизни дважды был перелом, трагический перелом. Вы недавно потеряли любимого человека. Отец? Мать? Младшая дочь похожа на вас, а старшая дочь – на жену.

(Откуда она могла знать все это? Она говорила правду.)

– Апрель и май будут для вас трудными месяцами.

(Они действительно оказались трудными – в Сингапуре и Австралии.)

– Будьте активны. Вы устали от своей работы, но не бойтесь этой усталости, без нее вы погибнете.

Она говорила это не так, как обычно говорят японцы, –улыбчиво, оставляя возможность не согласиться с их словами. Она настаивала на своих утверждениях.

– Вы хотите быть жестче, чем вы есть. Зачем? Доброта должна быть сильной без маски. Вы любите любовь. Не скрывайте это от тех, кто вас любит, – это будет плохо и для них и для вас.

...Ночью мы с Кано-сан спустились в «И-го-го-клаб».

– Вам надо посмотреть, как веселятся те молодые японцы, которые стоят в стороне от общественной жизни.

Протолкались в зал. Джаз ревет. Все пляшут – потные, растерзанные. Где же ты, прелестная японская опрятность?!

«Организованность» танца такая же законченная, как организованность работы. Кажется, что у всех в этом клубе в ушах незаметные приемнички, а у кого-то, невидимого, – микрофон, и он дает команды танцорам, и все синхронно движутся, словно бы здесь не случайные посетители, а слаженный балетный ансамбль.

Я заметил, как один паренек, закуривая, уронил спичку. Я поразился тому, как он испуганно бросился ее затаптывать: «атавизм» прежней «деревянной» Японии – страх перед пожаром.

Этот паренек, — бывает же так, право, – напомнил мне одесского мальчугана, когда я совершал свое первое путешествие по стране; как же давно это было, в середине пятидесятых!

Я шел тогда мимо одесского базара. Я любовался тем, как чумазые малыши, растирая по своим рафаэлевским мордашкам сок, уплетали желто-синие персики. Я смотрел, как рыжие кузнецы, матерясь и вытирая веснушчатые руки о кожаные фартуки, подковывали колхозных лошадей. Я слышал смех женщин, привезших на базар домашнюю кровяную колбасу.

Базар шумел, базар гремел веселым довольством и доброй сытостью. Я не видел здесь картин с лебедями и синими девами, вылезающими из тины пруда. Я не слышал пришептываний барышников. Я видел базар изобилия. Я видел за прилавками не пьяных мужиков, а краснощеких, арбузогрудых кол-

хозяиц. И я радовался этому базару, и никто не посмеет упрекнуть меня за эту мою радость.

Когда я остановился у кузни, ко мне подошел черноволосый черноглазый мальчик в школьной аккуратной форме и спросил:

– Дядя, вы кого-нибудь ищете?

– Да,- ответил я.

– А кого вы ищете, дядя?

Я не смог бы ему точно объяснить, кого я ищу и что я ищу. Поэтому я ответил:

– Я ищу, где здесь продается мороженое.

Лицо мальчика засветилось при слове «мороженое», и он с невыразимым сожалением спросил меня:

– Ну и где же вы ищете? Вы считаете, мороженое есть в кузнице? Так его там нет.

– Ты думаешь?

– Дядя,- сказал мальчик,- когда я говорю, так я уже не думаю. Когда Витька говорит, он знает.

Я потрепал его по африканским жестким кудрям. Он улыбнулся мне ртом, в котором зубы были разбросаны как кукурузные зерна, но только рукой сильно подвыпившего сеятеля.

– Вы не одессит,- сказал Витька, все так же ослепительно улыбаясь,- и вы даже не человек с Украины. О, у меня хороший глаз на приезжих! Может, показать вам наш город? У меня есть немного свободного времени.

– Покажи,- попросил я,- буду тебе благодарен.

– Ах, дядя, мы же не дипломаты, к чему вы так говорите!

Мы гуляли по городу часа три. Мой курчавый гид говорил так:

– Что я вам могу объяснить за дюка Ришелье? А ничего! Зачем говорить за дюка, когда о нем все сказали мушкетеры? И за Пушкина я вам тоже ничего не буду говорить. Я вам только напомню, что уж если кто и любил Одессу, так это Пушкин. И что я расхваливаю Одессу! – вдруг спохватился Витька.- Хорошенькое дело, я расхваливаю Одессу! У вас есть глаза – так смотрите!

Мы стояли на набережной и смотрели на порт, где поворачивали свои цыплячьи, жалкие шеи многотонные портальные

краны. Мы смотрели на корабли, стоявшие на рейде. Мы смотрели на зеленое море, на белые домики и на синее солнце.

– Дядя,- потянул меня Витька за руку,- пойдемте, дядя, я свожу вас в Музей обороны. Там есть пистолеты в стендах.

– Ты думаешь, это очень интересно – пистолеты в стендах?

– Дядя, если вам выпало счастье воевать, так мне этого счастья не выпало.

– Ты убежден, что воевать – это счастье?

– Когда пистолет, тогда всегда счастье,- убежденно сказал Витька, и мы пошли с ним в музей.

Он ходил по холодным залам и завороженно глядел на оружие. Потом мы снова вышли на звенящую, солнечную одесскую улицу, и он спросил:

– Ну, как вам город?

– Прекрасный город.

– Вы рано сказали, что это прекрасный город, дядя. Если вы не посмотрите кино Гриши Поженяна «Жажда», вы ничего не поймете за Одессу, дядя.

И мы пошли смотреть кино Гриши Поженяна «Жажда». Пока мы стояли в очереди за билетами, Витька говорил:

– Я вам скажу честно, дядя, я пока еще нигде не был, кроме Одессы, хотя могу сплавать в Батуми, когда захочу, потому что мой брат работает на «Победе» коком. А я не был в Батуми. Вы спросите: «Почему?» И я отвечу так: «Не хочу уезжать из Одессы даже на день». И если мне говорят, что в Батуми можно купаться в декабре, так, вы думаете, это сообщение делает меня несчастным? Нет. Не делает меня несчастным, хотя я люблю купаться. А вы любите купаться?

– Люблю.

– Вот видите! Все люди любят купаться, когда отдыхают. А когда есть школа, тогда не до купанья, так ведь?

– Да,- согласиля я.- Ты, конечно, прав.

– Дядя,- сказал Витька, когда мы вышли из кинотеатра,- только скажите мне честно: вы советский гражданин?

– Советский. А ты что забеспокоился?

– Пограничный город,- пояснил Витька,- все-таки опасно так откровенничать, как я. Мой дедушка говорит, что пока Эрхард в Западной Германии работает президентом, нельзя

быть очень-то откровенным. А скажите, дядя, вы, случаем, не торговый моряк?

– Нет,- признался я,- к сожалению, нет.

– Ай-яй-яй! – покачал головой Витька.- А мне почему-то показалось, что у вас есть обменные марки.

– И обменных марок у меня нет.

– Я понимаю,- вздохнул Витька,- ну что же, мне пора.

Этот разговор происходил рядом с мороженщицей, и Витька, задавая мне вопросы, то и дело поглядывал в ее сторону.

Я подошел к мороженщице и купил самое большое мороженое, какое только было. Витька вожделенно развернул его и начал аккуратно облизывать шоколад острым языком, сложенным в трубочку.

– Дядя,- сказал он,- я понял, что вы добрый человек, дядя. У вас есть бумага и ручка?

– Нет.

– Тогда подождите меня здесь минут десять, я очень прошу вас.

Витька юркнул в подворотню. Я ждал его минут восемь.

Он вернулся запыхавшийся. В руках он держал пузатый портфель. Он вытащил оттуда ручку и лист бумаги, вырванный из тетради.

– Дядя,- попросил он,- напишите в школу, что я помогал больной старушке добраться до дому.

– Ты пропустил уроки?

– Дядя,- ответил Витька,- мне больно отвечать на ваш вопрос.

Я написал ему записку, и он ушел, напевая что-то веселое.

С утра готовлюсь к отъезду. Сингапурскую визу вице-консул Сун выдал мне, как и обещал, за полчаса. Австралийцы клянутся прислать их визу по телексу в Сингапур. Получил визу в Малайзию; это оказалось несложно – помогли друзья из журналистского клуба.

Позвонили из театра Мингэй. По поручению молодого режиссера Дзюна Утияма меня приглашали на премьеру. Актеры арендовали на этот раз кинотеатр «Кинокуния» в Синдзюку. Кинозал помещается на третьем этаже, на осталь-

ных этажах магазины; превалирующий над остальными – громадный книжный базар. Народу – не протолкнешься. Кано-сан предупредил, что здесь много секретной полиции: студенты воруют книги, потому что книга очень дорога, а жажда к знанию – огромна.

Спектакль – «Записки сумасшедшего» по Гоголю. Постановщик – Дзюн Утияма, ассистент – Итиро Ямамото.

Странное впечатление произвел этот спектакль, решенный в красном цвете, очень нервный, в чем-то истеричный. Построен на диктаторской режиссерской концепции. Великолепный актер – вторичен, все подчинено идее – «лишь одержимость и фанатизм могут разорвать решетки громадного сумасшедшего дома, каким является современный мир».

...Мы сидели с Дзюном после окончания спектакля в темной гримерной. Он нетерпеливо слушал меня; руки его чуть тряслись. Он курил сигарету за сигаретой и, усмехаясь, покачивал головой, вроде бы соглашаясь, когда я говорил, что Гоголь не может быть плакатным, его нельзя решать как гротесковое представление. В последовательности и юмористическом спокойствии сокрыта высшая доказательность трагедии Гоголя. Фанатизм всегда отвратителен, человечество понесло столько потерь, стараясь противопоставить слепой одержимости фанатиков разум. Нельзя делать сумасшедшего героем будущего. Наивно отдавать клиническому безумцу лавры борца, а сумасшедший дом трактовать как нашу планету, – это жестоко по отношению к подвигу Чаадаева, современника Гоголя...

Вдруг Дзюн поднялся и сказал:

– Пойдемте отсюда.

Он увел меня в маленький клуб, полный пьяных гангстеров и проституток.

– Я не хочу играть втемную, – сказал он, выпив. – Я ненавижу Гоголя. В будущем его надо будет уничтожить, ибо, хотите вы того или нет, он представляет буржуазное искусство.

Ямамото, помощник Дзюна, хмыкнул. Дзюн резко обернулся. Ямамото сказал:

– Сейчас пришло время бомбы, пистолета и кинжала. Иначе этот мир не образумишь.

– Наука, книга, искусство?

– Это все химеры, – ответил Дзюн, – это все никчемно. Вы думаете, я не понимаю всей никчемности, когда провожу дни в театре, вместо того чтобы быть на баррикадах? Мы не можем подвигнуть это проклятое, загнивше общество на борьбу. А вообще эта нация – я говорю о японцах – чудовище.

– Как вы можете так говорить о своем народе?

Дзюн еле стоял на ногах. Он очень много пил. То он жалостливо лез ко мне обниматься, то начинал говорить, что этот страшный мир необходимо обречь на гибель, чтобы на его руинах построить новый, чистый и прекрасный.

...Ночевать я поехал к Кано. Мы сняли у входа в дом ботинки, осторожно прошли на кухню, заварили чай. Где-то в таинственной глубине японского дома чуть скрипнула дверь, и на кухню вышла сестра Кано. Она тоже изучала филологию, сейчас специализируется по глагольным формам русского языка. Мы втроем пили чай, шепотом вспоминали Москву, рассказывали анекдоты, дурачились.

Девушка вдруг рассмеялась.

– Знаете, недавно один из переводчиков русской литературы обнаружил в тексте советской повести странное объявление: «Курить и драться запрещается». Мы удивились и спросили его, где он мог это прочесть! Переводчик ответил: «Ну как же, я перевожу новую повесть Семенова, а там написано: «На стене висело объявление: "Курить и драться запрещается"...»

Я остолбенел.

– Этого не может быть. У нас нет таких объявлений, даже шуточных. Это глупо...

Кано расхохотался:

– Конечно, глупо! Но это не от глупости, а от незнания!

Выяснилось, что переводчик таким образом перевел объявление: «Курить и сорить запрещается». «Сорить» он перевел как «драться». Ничего себе уровень перевода!

Уже под утро Кано-сан показал мне своих рыбок. Он разводит их в саду, а наиболее красивых переносит к себе в комнату, в громадный, редкой красоты аквариум. Там у него подведен постоянный кислород, держится особая температура.

Аквариум диковинно подсвечен – словно возле храма Каннон; специальные рыбные лекарства лежат в аккуратных пакетиках.

...Пошел дождь. Я лежал рядом с тихо посапывающим Кано и вспоминал месяц в Японии, в этой замечательной, странной и нежной стране. Потом дождь стал зримым, белым, он рос на глазах; было это странно, но в Японии все возможно, и я не удивлюсь, если узнаю, что это готовятся к празднику весны и засыпают город белыми гвоздиками. Но это были не гвоздики, а снег, и он был еще бóльшим чудом, чем искусственные гвоздики, потому что он лежал на пальмах, на распустившихся цветках и на траве, словно бы подчеркивая свою исключительность и отдельность от Японии...

Токио. Семенов.
Редакция «Правды»
(передано по телефону):

«Весенний снег валил пятый час подряд. Токио снова сделался неузнаваемым. Я сидел в такси, и тоскливое отчаяние владело мною: пробка, в которую мы попали, не двигалась по горлышку-улице, несмотря на то что над нами завис вертолет полиции, организующий в критических местах движение автомобилей.

«Воздушные полицейские» сообщают ситуацию на улицах «полиции движения». Те вооружены мощными радиоустановками и через громкоговорители советуют армии токийских шоферов, какой безопасный от «пробок» маршрут следует выбрать. Полиция советовала нам использовать четырнадцатую дорогу, но мы были затиснуты на нашей узенькой улице и не могли двинуться с места, а меня в Клубе иностранных журналистов, что на Маруноути, неподалеку от Гинзы, ждал ближайший сотрудник бывшего директора ЦРУ Аллена Даллеса мистер Пол С.Блюм. Мне нужно было обязательно увидаться с мистером Блюмом. Я начал искать его два года назад, когда сел за продолжение романов «Пароль не нужен» и «Майор Вихрь» – за «Семнадцать мгновений весны». Я искал его в ФРГ, но бесполезно, все концы обрывались, и никто не мог

помочь мне. Я искал его в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Я нашел его в Токио. И вот сейчас из-за проклятого снега я могу опоздать на встречу с ним...

И все-таки мне повезло, я успел вовремя. Седой, небольшого роста, в элегантнейшем костюме, голубоглазый мистер Блюм поднялся мне навстречу.

– Что будете пить?.. Саке? Я предпочитаю скотч. Мистер Семенов, а почему вы Юлиан? Странная несовместимость имени и фамилии... Ах, мама была историком – Древний Рим и так далее... Понятно.. Знаете, я не люблю нашу американскую манеру обращаться друг к другу по имени. Я знаю шестьдесят семь Робертов, и мне это неинтересно. Мне интересно, если я знаю, что этот Роберт Лопец, а тот, например, Маккензи. Мне тогда ясно, что первый может быть латиноамериканцем или его родители оттуда родом, а Маккензи – это наверняка шотландец; юмор, упрямство и желание все далать по-своему... Итак, что вас привело ко мне?

Он слушает меня очень внимательно, неторопливо отхлебывая свой скотч маленькими глотками. Я прошу его рассказать, был ли он тем самым доверенным Аллена Даллеса, разведчиком, который первым от имени американцев начал сепаратные переговоры с представителем Гиммлера в Швейцарии весной 1945 года.

Он задумчиво смотрит в большое окно – по-прежнему валит снег. Журналисты со всего мира начинают заполнять столики бара, – продрогшие и вымокшие, поэтому шум и гомон нарастают с каждой минутой, и нам с мистером Блюмом приходится говорить очень громко, чтобы слышать друг друга, и к нашему разговору с большим интересом прислушиваются два молодых джентльмена: один – с газетой на коленях, другой – с газетой на столике. Вероятно, оба эти джентльмена-журналиста были когда-то связаны с армией, ибо выправка у них военная, хотя, впрочем, быть может, они связаны с какой-либо другой организацией, исповедующей дисциплину наравне с армией...

– Это была интересная операция Даллеса,- говорит мистер Блюм, – он вообще довольно часто начинал рискованные операции, не согласовывая их с Белым домом... Он посылал им отчет, если операция проходила успешно... Он тогда вызвал меня и сказал, что я должен встретить двух немцев и про-

щупать, стоит ли продолжать с ними контакты. «Пол,- сказал он тогда,- важно выяснить уровень этих немцев, что они значат. Может быть, это несерьезно. Тогда незачем продолжать наши игры...»

Я прошу рассказать историю первой встречи с нацистами. Мистер Блюм смотрит на мои сигареты.

– Это советские, – говорю я. – Хотите попробовать?

– Нет, спасибо. Я бросил курить как раз перед началом переговоров с теми немцами. Я помню, тогда очень завидовал им, когда они курили наши сигареты. Но я сказал себе: «В моем возрасте уже пора бросить курить», – и я бросил... Ну что же... Попробуем вспомнить подробности. Даллес написал мне на двух листочках бумаги фамилии – Парри и Усмияни. Это итальянские партизаны-некоммунисты, друзья Даллеса. Они были в тюрьме СС. И, кроме того, Аллен передал мне тогда досье на обоих «моих» немцев, и я начал готовиться к операции. Мне надо было изучить личные дела этих наци – Дольмана и Циммера, чтобы точно построить с ними беседу. Даллес сказал мне, что Циммер интеллигентный человек, связанный с итальянскими художниками и музыкантами... Даллес знал это, вероятно, потому, что у него были тесные связи с интеллектуалами Италии. Ведь именно он смог устроить первый концерт Артуро Тосканини в «Ла Скала», он был дружен с Тосканини и его дочерью... Очень дружен... Даллес сказал мне тогда: «Если эти немцы смогут освободить двух партизан, моих друзей, то, значит, это серьезные люди».

Я встретился с теми немцами, с Дольманом и Циммлером, в Лугано. Маленький кабачок внизу, а наверху две комнаты – конспиративная квартира швейцарской разведки. Когда я вошел туда, немцы ели и пили пиво. Я заметил, что ели они очень жадно, а один из наших интеллектуалов, Гусман, читал им лекцию о фашизме и о будущем Германии. Они не перебивали его, но старались на него не смотреть и все время продолжали есть, – видно было, что с едой у нацистов плохо. Я тогда, по мнению некоторых моих коллег, допустил ошибку. Когда я вошел, я обменялся с немцами рукопожатием. Но ведь если мы начинаем с ними переговоры, это же серьезнее формального рукопожатия, которое необходимо при встрече воспитанных людей, не так ли?

Мистер Блюм взглянул на меня, я ничего ему не ответил, я просто закурил сигарету: ответь я ему – боюсь, продолжение беседы оказалось бы скомканным.

– Я долго ждал, пока Гусман кончит агитировать их против фашизма, и, воспользовавшись паузой в словоизлияниях Гусмана, начал беседу с немцами. Долман мне не понравился сразу – он был скользким и «закрытым», хотя говорил больше Циммера. Он мне показался тогда дрянным человеком. По-моему, он сейчас жив и опубликовал свои мемуары. Я беседовал с ними больше четырех часов. Мы затрагивали вопросы их отношения к итальянской музыке, французской филологии, к генералу СС Карлу Вольфу, к немецкой кухне, к заговору генералов против Гитлера. Гусман все время старался вступить в разговор, но его тактично сдерживал офицер из швейцарской разведки: он за всю беседу не произнес ни одного слова, но и не пропустил ни одного нашего слова. Швейцарская разведка, видимо, была очень заинтересована в этих беседах. Я разговаривал с ними так долго потому, что досье на немцев было не очень полным и мне надо было свести все детали в одну картину. Не лгут ли они, говоря о своих начальниках? Верно ли отвечают на вопросы о самих себе? Я убедился, что они не врали: все их ответы сходились с данными наших досье. Тогда я протянул им два листочка бумаги с именами Усмияни и Парри. Я сказал, что дальнейшие переговоры будут зависеть от того, смогут ли они освободить этих двух людей. Я запомнил, с каким страхом взглянул Циммер на Дольмана, когда они вместе прочитали две эти итальянские фамилии. Именно тогда Дольман предложил мне непосредственный контакт с Гиммлером. Я, естественно, отказался.

– Значит, вы понимали, что перед вами люди Гиммлера?

– Они были из СС, а Гиммлер был их шефом. Я не считал, что они непосредственные представители Гиммлера. Я считал их людьми генерала Карла Вольфа.

– Значит, тогда вы не знали, что являетесь первым американцем, вступившим в прямой контакт с людьми Гиммлера, именно Гиммлера, искавшего пути для начала сепаратных переговоров с Западом против СССР?

– Нет. Я не знал этого. Я вообще многое узнал об этом деле только после окончания войны, когда была напечатана переписка между Белым домом и Кремлем.

– А Даллес? Он знал, кто эти люди? Он знал, что они от Гиммлера?

– Нет. Я думаю, нет. Пожалуй, что нет...

Я не стал спорить с мистером Блюмом. Документы говорят об обратном. Для меня было важно другое: Даллес начал переговоры, не поставив об этом в известность Белый дом.

Мы помним то время, когда мы были союзниками с американцами в борьбе против общего врага – против фашистов в Германии. Мне очень не хотелось обманываться в той искренности, которой были отмечены отношения между нашими народами в дни войны, пока старший Даллес не провозгласил свою антикоммунистическую доктрину, а младший Даллес не начал плести цепь заговоров против нас и наших союзников. Но история вроде песни, из которой слова не выкинешь.

Вечером я улетал в Сингапур. Самолет был полупустым. Рядом со мной расположились трое рослых американцев: один сзади, другой впереди, а третий напротив. Я был посередине, в поле зрения каждого, сиди я на месте, пойди вперед, за газетами, или назад, в хвост. В тех аэропортах, где садился наш самолет, мои спутники испытывали странную совпадаемость в желаниях. Стоило мне зайти в туалет, как рядом со мной оказывался один из этих трех парней. Решил я зайти в бар – рядом за стойкой немедленно оказывался второй. Это было все очень занятно, как в плохом детективном романе».

Часть вторая

...Тайбэй, столица Тайваня, произвел на меня странное впечатление: огромный, хаотично распланированный город, с мощным центром, окруженный великолепно организованными рисовыми полями – каскадом зеркальных лестниц; махонькими традиционными китайскими домиками, лачугами, лачужками, норами... Огромное количество американских машин. Всюду машины, особенно много списанных из армии – их скупают торговцы фруктами и рыбой.

Когда улетаешь из Японии в другую азиатскую страну, сразу же видишь громадную разницу – во всем. Городские контрасты Японии несут на себе печать особую – здесь нет

лачуг и «бидонвилей», как в других странах Азии. В Японии я не встречал нищих: традиции не позволяют, нельзя унижать себя, – «унижая себя, ты унижаешь страну». Контрасты Японии скрыты, они сотрясают эту великую державу изнутри, но японцы всегда «сохраняют лицо»: и горе и радость надо хранить в себе – «достоинство, прежде всего достоинство». (Я отчего-то часто вспоминаю рассказ Маямы-сан о том, какую позу следует принять самоубийце, чтобы не быть смешным после смерти.) В японцах отсутствует тенденция перекладывать ответственность за собственные невзгоды на других: слишком высоко в них развито чувство личной ответственности за все, и за общественные явления в том числе. Студент, бастующий уже третий месяц, голодный, живущий в холодном общежитии, говорит с вами доказательно, как парламентарий; отстаивая свою точку зрения, он отстаивает точку зрения своих товарищей. Рабочий удивляется, когда вы наблюдаете за его артистичным, изящным трудом: «А как же иначе можно работать?!» Продавцы в магазинах – при всей своей вежливости – никак не унижают себя, они полны чувства собственного достоинства. Они на работе, они должны продать товар, обслужив вас при этом наилучшим образом. Но они никогда не позволят покупателю унизить себя.

...Офицер иммиграции, который выдает вам талон на выход из самолета в аэропорт столицы Тайваня, смотрит на вас подозрительно, но в то же время заискивающе. В Японии же офицеры иммиграции, чиновники таможни полны чувства собственного уважения. Бармен в Японии – ваш собеседник и товарищ, который не только уважительно выслушает шутку в свой адрес, но и пошутит над вами. В Тайбэе, в маленьком портовом кабачке, бармен был зализан, суетлив, испуган, светился рабской почтительностью, смотрел в рот, не зная, чем еще услужить...

...Перелет в Гонконг оказался быстрым. В иллюминаторе – море. Сначала – серое; когда мы начали снижаться – синее, а потом – голубое, прозрачное, с бритвенной строчкой волн. Море, одно море. И вдруг – как в мультипликации – в подбрюшье самолета упираются красные черепичные крыши домов, крыши, крыши, – сколько хватает глаз, крыши. Из воды возникает сказочный остров, город небоскребов, гро-

мадных улиц. И цвета подобраны как для импрессионистов – белые дома, красная черепица, зеленое море вокруг.

Самолет сделал два виража над городом. Нам не давали посадки, потому что самолеты слетаются в Гонконг, как мухи на сладкое, – один за другим. Вместе с нами, словно бы эскортируя огромный «боинг«, летели громадные белые чайки, их черные тени мягко скользили по зеленому океану. Все это было рельефным и странным, словно на хорошей японской гравюре.

...Гонконг «смотрится» по-разному в разных ракурсах: то он белый, то белое исчезает и остаются бурые черепицы; странно лететь на высоте ста метров над базарами, улицами, трамваями; однако жители привыкли, – никто даже головы не поднимает на наш рычащий «боинг».

Но когда вы выходите из самолета, ощущение сказки теряется. Аэродром окружен колючей проволокой; всюду китайские полицейские. Англичан почти не видно. Выйти в город мне запретили. Китайцы посмотрели мой красный паспорт, переглянулись, пожали плечами и сказали:

– Невозможно, сэр, невозможно.

И снова в путь. Пролетели Макао. Я вспомнил занятную корреспонденцию английского журналиста из этой португальской колонии. Он писал:

«Уступки, вырванные у португальцев, побудили обозревателя в Гонконге, находящегося в сорока милях отсюда, высказать предположение, что дни Макао сочтены. Но и после завершения «культурной революции» Макао переживает экономический бум, невероятный для крошечной туристской жемчужины в Китае. Европейцы здесь спят с китаянками. Гонконгские вертолетные станции обслуживают Макао по минутному графику, потому что две тысячи человек приезжают сюда ежедневно. В центре Макао возвысился претенциозный новый отель «Лиссабон». Это наихудшее излишество двух цивилизаций – иберийское рококо и китайский красный лак. Там совмещены архитектура Лас-Вегаса и Всемирная выставка 1939 года. Он контрастирует со всем обликом города, где характерны мягкие контуры португальских вилл и китайских пагод. Теперь в этом отеле проводят свободное время португальские солдаты – их там всего две тысячи, – которые раньше отсиживались в казармах. Сейчас они с девочками гуляют в барах вокруг «Лиссабона».

В этом отеле есть казино, вино, секс, кондиционер, залы массажа, финские бани, кегельбан и даже зал детских игр – на время, когда родители захвачены водоворотом рулетки.»

(Я потом часто вспоминал полет через Гонконг и Макао – и в Лиссабоне, куда прибыл сразу же после свержения кровавой фашистской тирании, и совсем уж недавно, посетив Кантон, неподалеку от которого находится одна из «особых экономических зон» КНР).

Заботливые стюардессы – девушки-малазийки в красивых саронгах, длиннорукие, загорелые, с громадными глазами (не зря мне советовали лететь только на самолетах «МСА» – «Малэйшина – Сингапур айр-лайнс») – принесли газеты и журналы.

Я когда-нибудь соберу воедино ту информацию, которую почерпнул в самолетах, просматривая последние новости. Испытываешь чувство гордости за людей, когда летишь над облаками и, словно соратник величия, натыкаешься на заметку вроде этой:

«По сообщениям ученых, недавний взрыв на Солнце, первый из таких взрывов, который когда-либо удалось сфотографировать, выбросил в космическое пространство огромное, в сорок раз превышающее размеры Земли, облако горючего вещества. Эти облака вырвались из атмосферы Солнца со скоростью триста шестьдесят пять километров в секунду и обладали кинетической энергией, энергетический эквивалент которой мог бы обеспечить потребности США в электроэнергии при существующих нормах потребления в течение более миллиона лет. Такое же количество энергии выделилось бы при взрыве ста миллионов водородных бомб мощностью в двадцать мегатонн.

К счастью для нашей планеты, извержение произошло на обратной стороне Солнца. Если бы эти облака были выброшены непосредственно в сторону Земли, они вызвали бы магнитные бури, временное прекращение дальней радиосвязи, вывели бы из строя навигационные системы и вызвали яркие сияния. Масса этих облаков – один миллиард тонн – могла бы оказать влияние на период вращения Земли.

Хотя взрывы на Солнце не были непосредственно направлены в сторону Земли, некоторые заряженные частицы обогнули Солнце и через три с половиной дня очутились в

непосредственной близости от Земли. Их появление было зарегистрировано наземными обсерваториями в Австралии, Советском Союзе и на Филиппинских островах».

А это:

«Американец, доктор Кепчен, из университета штата Вирджиния, открыл лекарство против рака – мейтанзин. Он представляет собой обладающее противоопухолевой активностью химическое вещество, полученное из кустарника, произрастающего в Эфиопии и Кении. Испытания на мышах показали, что мейтанзин в два раза удлиняет продолжительность жизни мышей, пораженных лейкемией.

Мейтанзин содержится в растениях в очень малых количествах: одна часть на пять миллионов частей сухого кустарника. Его противораковая активность варьируется в широких пределах. Сейчас исследователи стремятся получить одну десятую унции (около трех граммов) мейтанзина и приготовиться к клиническим испытаниям.

Доктор Кепчен обнаружил в растениях около ста веществ, обладающих противоопухолевой активностью».

А потом был полет через Южный Вьетнам. Пилот объявил об этом через микрофончик. Голос его был тихим и каким-то траурным.

И страшно делается от сознания собственного бессилия: только что, казалось бы, поражался логике и дерзости человеческого гения, несущего добро людям, а под тобой Южный Вьетнам, горе и кровь, и наука служит уничтожительной агрессии, и сверхмощные самолеты – чудо XX века – несут гибель, и яды, которыми уничтожают паразитов, губят детей...

Вспомнил моего вьетнамского друга Хоана: мы с ним возвращались в Ханой от партизан Лаоса. Ехали только по ночам: днем нельзя – бомбят. Когда мы устраивались утром на ночлег, Хоан сказал мне грустно и задумчиво:

– Лишь безумие имеет границы, разум безграничен. Только поэтому я верю в победу.

Облака здесь, возле экватора, уже не «плыли» и не «лежали» – они громоздились, как скалы, и летчики вели самолет, лавируя между этими снежными, заряженными электричест-

вом махинами, осторожно, словно опасаясь зацепить их крылом. («Если тучи громоздятся вроде башен или скал, надо бури опасаться, налетит жестокий шквал», – этой морской присказке меня научил капитан Лыгин, когда мы искали рыбу возле Фарерских островов десять лет назад...)

Самолет начал снижаться. Огромные каучуковые плантации, джунгли Малайзии; деревья здесь растут не рощами, а кругами, они цикличны по форме; даже глядя сверху, ощущаешь, как там жарко, чувствуешь запахи джунглей (во сто раз усиленная концентрация кинзы и укропа!).

Потом берег Малайзии оборвался, в иллюминаторы хлынуло море, и сразу же появился Сингапур.

Когда я вышел из самолета, ощущение было такое, словно попал в парную. (Господи, когда же это было?! Привет вам, Сандуны!) Температура градусов сорок выше нуля (не Сандуны, конечно, но все ж таки!). Пассажиры ринулись к аэродрому. Вытирая испарину, побежал и я, недоумевая, зачем галопировать по такой жарище. Потом понял: почти во всех больших зданиях в тропиках работают кондиционеры. Если человек бежит по улице Сингапура, и его шатает, и лицо белое, и на висках мучительная предсмертная испарина, не думайте, что он безумец, получивший тепловой удар. Не вздумайте остановить его. Он бежит в дом, где есть кондиционер. Там он придет в себя. Вот если вы его задержите, тогда он может «сковырнуться».

...Полицейский внимательно посмотрел мой паспорт.

– Где будете жить, сэр? – Голос учтив, но требователен.

– Не знаю.

– Извольте узнать и напишите в анкете.

Я попросил справочную книгу, обзвонил несколько отелей, выяснил стоимость номеров и решил остановиться в отеле «Орчард» – комнаты, судя по рекламе, пристойные, и цена сносная.

– В каком номере, – продолжал допрашивать полицейский, – вы будете жить?

– Не знаю.

– Узнайте, пожалуйста.

Я снова позвонил в «Орчард-отель» и выяснил, что номер

мне зарезервирован тридцать первый – с кондиционером и душем, но без телевизора.

– Цель приезда?

– Путешествую.

– Цель путешествия? – Щелочки глаз прищурены, хитрый дока, этот китайский полисмен. («Не говорите, что вы работаете на газету, – посоветовал мне в Токио сингапурский журналист, – мы еще не избавились от мании подозрительности».)

– Пишу книгу.

– О чем?

– Поживем – увидим.

– Большая?

– Не знаю...

– Интересная?

– Постараюсь.

– Тогда о'кэй, – усмехнулся полицейский, – добро пожаловать в нашу республику – ю ар велком! Зайдите в таможню, пусть вас досмотрят...

Таможенник оказался славным громадноусым индийцем.

– Наркотики везете?

– Нет.

– Порнографические фильмы?

– Нет.

– Динамит?

– Нет.

– Что-нибудь пропагандистское?

– Нет.

Таможенник вздохнул и простукал своим штемпелем по чемодану, даже не заглянув в него.

– Ю ар велком! Добро пожаловать!

Я пошел во второй зал – гигантский, бело-синий, прохладный, затененный...

– Э, сэр!

Оборачиваюсь. Индус-таможенник с ленивой надеждой спрашивает:

– А личное оружие у вас есть?

Я показал ему свое вечное перо.

– Однозарядное?

– Это ручка.

– Газовая?

– Просто ручка...

Индусу стало скучно, и он отвернулся.

Красивая, улыбчивая китаянка протянула мне орхидею, сделанную из тонкого розового пластика. Очень красиво. Спасибо. Повсюду на столах великолепно напечатанные справочники, бесплатные – для всех.

Никто из наших меня не встречал. А я просил тассовцев в Токио послать сюда телеграмму. Они послали телеграмму, однако утром, за несколько часов перед моим приездом, специальный корреспондент ТАСС Азаров разбился на машине. Надо же такому случиться! А, кроме него, в Сингапуре нет ни одного советского газетчика.

Дорога с аэродрома в город идет среди гигантских пальм. В машине нужно плотно закрыть все окна – только тогда можно включить кондиционер. Открытые окна (как у нас летом) от зноя не спасают – наоборот. Ветер обжигает, он здесь сухой, и делается еще жарче, чем на улице. Я посоветовался с шофером, где мне лучше всего остановиться. В конце концов, указание отеля в полицейской анкете не есть клятвенное обязательство жить именно в отеле «Орчард». А вдруг «Орчард» похож на тот «традиционный» японский, с «обслуживанием»?

Меня потрясло произношение шофера; потом я убедился, что произношение у всех сингапурцев одинаково мелодичное – они словно бы заученно поют целые фразы.

– Один из лучших, причем не очень дорогой, – пропел шофер, – «Океан-парк-отель». Там есть прекрасный бассейн, это в пригороде, недалеко отсюда, – по Исткост роуд. Но если у вас нет машины, это неудобно: автобус ходит туда лишь пять раз в день, причем автобус без кондиционера. Очень неплох «Лайонсити-отель»: там «Китайский Емпориум» – специальный магазин, где продают прекрасные вещи, произведенные на «главной родине» (мэйнлэнд), в Пекине. Это неподалеку от аэродрома. Если хотите, можем заглянуть.

– Автобус? – спросил я.

– Нет, автобуса нет, нужно брать такси.

– Как дорого такси?

Шофер вдруг рассмеялся, обернувшись.

– Когда я вас довезу, увидите. Дорого, – добавил он, – дорого. Все дорого.

– А «Орчард»? Пристойный отель?

– Отель да. А в ресторан лучше не ходите.

– Почему?

Шофер оглянулся, быстро осмотрел меня.

– Любите экзотику?

– Люблю.

– Тогда ходите – не страшно...

...Позвонил в бюро «Юнайтед пресс интернейшнл» – Ал.Кафф, шеф Азиатского бюро ЮПИ, пообещал, что ответ филиппинцев придет сюда, в Сингапур. Кафф оказался обязательным человеком. Министерство иностранных дел Филиппин сообщило свое решение президенту Маркосу, однако каково это решение, неизвестно, и до тех пор, пока президент Маркос не утвердит решение МИДа, официального ответа консульский аппарат дать мне не может. А поскольку президент улетел вчера в Нью-Йорк на месяц, ответ поступит не ранее чем через сорок дней.

Я прожил в Сингапуре, Малайзии и в Австралии месяц, но ответа из филиппинского посольства так и не получил.

После ледяной ванны я почувствовал себя вновь рожденным и вышел в город. Несмотря на то что был уже поздний вечер, здания были раскалены, от них исходило душное, тугое тепло. Поехал на набережную. Мне говорили, что порт – это сердце Сингапура, четвертый по величине в мире (здесь утверждают – второй). Порт поразителен. Более ста судов стояли на рейде – далекие и близкие, каждое со своей прекрасной, таинственной романтической жизнью. Огромное количество маленьких катеров сновало между портом и кораблями. Это – агенты-шипшандеры. («Ваши одесситы и наши шипшандеры, – сказали мне потом, – это одно и то же. И те, и другие слишком привержены бизнесу».)

С набережной открылся вид на деловую часть Сингапура, на центр города – площадь Рафлз. Гигантские здания компаний, магазинов, банков. Вспомнил, как стюардесса, объявляя о том, что мы приземляемся в Сингапуре, улыбчиво добавила: «Это – сердце экваториальной Европы».

Здесь, на набережной, оглушает, потрясает человеческая разноплеменность. Длинный седой англичанин в коротких белых брючках, белой рубашечке и белом пробковом шлеме, в черных шерстяных носках и толстых бутсах; сикх в высоком, причудливо закрученном тюрбане; индус с нафабренными усами, малайцы, китайцы (китайцы составляют 93 процента населения Сингапура), японцы, арабы, афганцы, персы, евреи. Царствует английский язык. Акцент, правда, у каждого народа особый: большинство китайцев произносят резко все буквы, малайцы «певучи», индусы говорят медленно и мягко, как на молитве, – ко всем надо приноравливаться.

Все это так разнилось от однозначно говорящей, черно-белой – в кинематографическом смысле – Японии, от англо-китайского красночерепичного Гонконга, от нищего американо-китайского Тайбэя, что глаза у меня в этот первый вечер разбегались.

Бананово-лимонности в Сингапуре нет и в помине. И не было. Александр Вертинский сочинил ее. Это прекрасно, что он сочинил такой символ, в который все мы так верили. Прощание с символом и узнавание истины всегда полезнее, чем заученное следование привычному.

В витринах магазинов, на стенах домов – всюду изображение льва. Это не просто герб и не просто символ Сингапура. На санскрите «синг-пура» значит: «город льва».

В сквере – гигантский обелиск, памятник жертвам японских оккупантов во второй мировой войне.

Японцы прорвались через джунгли Малайзии, атаковали Сингапур, гарнизон сдался. Здесь было сильное подполье, много героев Сингапура погибло. Поэтому и по сей день отношение к японцам у народа, как я потом заметил, довольно сдержанное и осторожное. (Хотя памятник жертвам японского террора построен японцами же, на деньги, собранные в Японии!)

Отойдя от набережной в сторону китайского квартала, где расположены огромный грязный крытый рынок и гостиницы для моряков, я увидел махонькую речушку, сплошь заставленную джонками. На джонках живут, готовят еду, спят вповалку. Паруса убраны, носы раскрашены – скалятся красноликие, белоглазые драконы...

Я бродил по этому диковинному городу почти всю ночь. Я переходил из китайского квартала в малайский, из малайского в индийский. Это было заметно сразу: индусы возлежат в своих необъятных белых штанах возле товара, разложенного на тряпочке прямо на асфальте; китайцы товар раскладывают на ящичке, задрапированном под стол; какую-то часть асфальта рядом с этим ящиком-столом они умудряются задрапировать тремя кусками материи – это дом или «оффис» (по продаже семи булавок и трех шариковых авторучек – неважно, главное – торговать); малайцы на улице не живут, они, как правило, «собственники» двух профессий – шоферы такси и полицейские. Впрочем, много среди них и чиновников... А индусы монополизировали профессию аптекаря: кроме нескольких европейских аптек, всеми остальными лекарствами торгуют индусы.

Это мне объяснил в тот вечер старик Чандра – громадный, черноусый (необыкновенно похож на композитора Яна Френкеля). Я хотел купить в его уличной аптеке пирамидон – голова после десятичасового перелета раскалывалась.

– Пирамидон? – Он брезгливо усмехнулся. – Какая гадость! Я этого не держу. Мои предки, познавшие мудрость Гималаев, оставили мне великолепный рецепт от головной боли, возникающей после длительного полета. Вот – порошок под язык. Это травы и ветер, зеленый ветер с белых снежных вершин. Через час у вас просветлеет в голове. Но если вы хотите гарантированного фармацевтического шаманства, обратитесь по адресу Рафлз плейс, один,- там вам продадут какую-нибудь безделицу в красивой упаковке. Я торгую здоровьем, мне упаковка не важна.

Когда я, проплутав больше часа по узеньким улицам, – вечером на улицы выходят все обитатели домов, и даже велосипедисты не могут проехать из-за огромного скопища народу, – выбрался наконец из «Чайна-тауна» на Орчард-роуд, громадную магистраль, ведущую от порта к джунглям, которые начинаются сразу возле моего отеля, то и здесь была дешевая распродажа – рынок, выплеснувшийся с тротуаров на широчайшую дорогу. Господи, сколько же здесь народу! Тысячи и тысячи изнывающих от душного зноя людей заполнили улицу, продавая, и покупая, и снова продавая по бросовым ценам старые фотоаппараты, грампластинки, костюмы, мо-

педы, ситец, новые диктофоны, веера, каблуки для босоножек, шелк, лекарства от импотенции, кинжалы, пилюли против зачатия, ракушки, монеты времен Людовика, пилюли, стимулирующие зачатие...

Я остановился на границе этого диковинного ночного базара, потому что не было никакой возможности протолкаться сквозь жаркую толпу. Время около двенадцати. Я наивно думал, что базар вот-вот закончится и я смогу пройти к себе в отель и вытянуть ноги в холодной ванне. («Плоть» вошла в конфликтную ситуацию с «духом» – голова мечтала бродить по этому диковинному городу всю ночь, а ноги не могли шагать – «гудели».) Я огляделся: где бы присесть? Неподалеку, тоже на улице, под открытым небом, горели гирлянды фонариков, были расставлены сотни колченогих столиков и стульев. Я отправился туда. Оказывается, это «ночной народный ресторан». Около каждого столика – синие угли в жаровне: на ваших глазах из корзин берут живых крабов, ракушки, мясо трепангов, моллюсков, готовят их в масле, бросают в солдатскую алюминиевую миску и дают вам в придачу вилку.

Рядом за ящиком-столом сидел длинный рыжий парнишка. Посмотрев на меня, он спросил, не из Штатов ли. Ответил, что из Советского Союза. Как это всегда бывает, рыжий поахал, покряхтел, поудивлялся, потом спросил, давно ли я здесь? Я ответил, что прилетел пять часов назад. Тогда он, достав из заднего кармана своих драных джинсов плоскую фляжку виски, отхлебнул глоток и передал бутылку мне – «за прилет». Я тоже выпил; он, спрятав виски, тихо сказал:

– Ужас...

– Почему?

– Я только что из лачуги «последнего часа».

– Что это?

– Это домишки в китайском квартале, куда родственники привозят умирать стариков. Грязная койка, никакой медицинской помощи, питаются эти несчастные перед смертью лишь подаянием...

– Где это?

– Недалеко. Если хотите, покажу.

(Моего спутника звали Билл Стэн. Он адвокат из Иллинойса, совершает свое первое кругосветное путешествие.)

Он повел меня через черные, зловонные проходные дворы в самую глубину «Чайна-тауна». Сумасшедшеглазые, накурившиеся марихуаны проститутки зазывали к себе; вертлявые сутенеры предлагали маленьких девочек. Следом за нами увязались три подозрительных типа. Сначала они шли молча, и я подумал: не «волочит» ли меня куда этот рыжий, не «тихий» ли он американец?.. Но уж больно славное и открытое было у него лицо, больно чисто и искренне он удивлялся: «Вы первый советский в моей жизни, это – к счастью». Не может он быть «тихим». (Как-то сейчас в Токио мой дорогой «громкий американец» – Дэйв?) Три типа, улучив момент, когда мы зашли в темный, совершенно не освещенный проулок, начали что-то быстро говорить нам.

– Это не китайцы, – сказал Билл, – скорее всего полукровки. Я немножко изучал китайскую разговорную речь. (Вспомнил, как в Пекине – давно это было – я видел на вокзале смешную сценку: «разговор» двух китайцев из разных провинций. Разговор был немым. Сначала один рисовал пальцем иероглиф на протянутой собеседником ладони, потом – второй. После пяти минут молчаливого рисования иероглифов они засмеялись, бросились в объятия – поняли наконец друг друга.)

– Вы их понимаете? – спросил я.

– По-моему, спрашивают, нет ли у нас марихуаны. Наши сукины дети привозят сюда марихуану из Сайгона.

– Надо сказать им, что марихуаны нет.

– Зачем? – Билл пожал плечами. – Не надо. Они – надежная охрана. Каждого, кто связан с наркотиками, боятся и грабители, и жулики. – Билл обернулся к парням: – Потом поговорим. Пока молчите, с собой товара нет.

Трое замолчали, продолжая топать за нами.

– Это здесь, – сказал Билл. – Вот эти лачуги.

Мы стояли около страшной «лачуги смерти». Старики (их было четверо в маленькой душной комнатке) лежали на кроватях тихо и смирно. Два китайца, проходя мимо, положили на приступок «лачуги близкой смерти» две пампушки. Один из стариков подобрал пампушки, разделил их трясущимися руками на четыре дольки, обнес остальных – те уже не могли двигаться, – благодарственно поклонился в темный проем

двери... Напротив, в лавках, освещенных тусклым светом керосиновых ламп, продавались бумажные цветы, белые тапочки и гробы: старики все время видят, что их ждет через неделю...

Мы повернули обратно. Три типа шли теперь совсем рядом, едва не наступая на пятки. Когда мы оказались на чуть более освещенной улице, где был народ, Билл обернулся:

– Товар прибудет через неделю, встретимся на этом же месте в полночь.

Наши преследователи растворились, исчезли, словно бы их и не было.

– Любят торговлю и таинственность, – усмехнулся Билл. – А скандалить с ними не надо.

– Когда вы все это успели изучить?

– Я в Гонконге прожил месяц, в Макао – неделю, на Тайбэе – пять дней.

– Вы юрист или востоковед?

– Я не востоковед, а юрист, и моя сфера – это бизнес.

Вернулся в отель около двух часов ночи. Сингапур все еще продолжал шуметь, кричать, торговаться; базар дешевой распродажи не только не «свернулся», но стал еще жарче и больше.

Под моей комнатой расположен «Орчард-бар», музыка там гремела до пяти утра, так что уснуть было трудно. И лишь когда все стихло, и занялся осторожный рассвет, и в комнате у меня стало совсем холодно, потому что кондиционер я не выключал, я уснул, как провалился в темноту...

С утра состоялась беседа с генеральным директором радио и телевидения Сингапура мистером Цу Цзе-квангом (одновременно он постоянный секретарь министерства культуры). Мистер Цу показал мне новый радиотелевизионный центр.

– Мы с радостью пользовались бы и вашей телевизионной информацией, но, во-первых, у нас здесь аппаратура британская – как в Малайзии и Австралии. В Бирме, например, и на Таиланде американская аппаратура, они могут прокатывать ваши ролики, а британская аппаратура сконструирована иначе – только «под» свою пленку. Да и потом, увы,

телевизионные новости из СССР будут опаздывать, даже несмотря на прямую линию «Аэрофлота» Москва – Сингапур. Самолет-то будет летать лишь один раз в неделю. Однако нас интересуют русские телевизионные фильмы, особенно связанные с музыкой, наукой, живописью.

Я спросил:

– Вас интересуют живопись, танцы, природа каких-либо советских республик?

– Нет, – ответил г-н Цу, – мы не делим вашу страну на республики. Мы принимаем вас как единое целое.

Телевизионный центр здесь новый, построенный в очень красивом месте на окраине Сингапура. Впрочем, здесь трудно говорить «окраина». Страна-город, 250 квадратных километров, расположенный на первой широте и на сто третьей долготе, с минимальной температурой 34 градуса выше нуля, с двумя миллионами жителей и десятью религиями, окраин не имеет...

...Телевидение вещает только на Сингапур. Есть две программы. Сейчас заканчивают оборудование еще для двух программ.

– На нас, – говорит мистер Цу, – больше всего вещает Пекин, «Голос Америки» и «Би-Би-Си». Однако мы думаем – чем дальше, тем больше – заинтересовывать народ своими телепередачами. У нас уже есть четыре зала.

Действительно, залы громадные, великолепно оборудованные. Два из них – самые крупные в Юго-Восточной Азии. На первом месте – Япония, на втором – Сингапур.

– Кого бы мы просили прислать к нам из Советского Союза, – заметил мистер Цу, – так это преподавателя балета. Мы слышали, что ваше балетное искусство создало в Токио новую японскую школу. Мы тоже заинтересованы в создании своего балета. Для этого мы собираемся построить самый большой зал для балетного училища.

– Скоро?

– Дайте полтора миллиона, – посмеялся мистер Цу. – Я прошу у правительства четыре с половиной миллиона сингапурских долларов, но получить их довольно трудно. Я сам в прошлом работник министерства финансов и знаю, как тяжело изыскивать деньги в государственном бюджете.

Наиболее квалифицированные люди в сингапурском телевидении – это англичане, которые работают здесь консультантами.

Мистер Цу пообещал свести меня с ведущими режиссерами телевидения, которые помогут организовать для меня все дальнейшие встречи – с актерами, писателями, музыкантами.

От мистера Цу поехал в центр. Здесь, среди громадин банков и крупнейших фирм на Робинсон-роуд, построено великолепное здание «Эм-Эс-Эй» – «Малэйшиа – Сингапур айрлайнс». Одна из наиболее сильных авиационных компаний в Азии. MSA славится не только великолепными пилотами, но и самыми красивыми бортпроводницами.

Молодой клерк целый час мучился со мной, организовывая билет на Кота-Кинабалу (это остров Калимантан), потом через Бруней и Кучинг в Сингапур, а уже отсюда через Джакарту – в Австралию. (Дело пахнет керосином, – если я все же полечу в Австралию, то на билет оттуда денег мне хватит лишь до Сингапура. Вероятно, придется рисковать: возвращаться в Сингапур, а здесь дожидаться либо открытия нашей авиационной линии – ребята, наверное, выручат, – либо плыть домой на нашем пароходе. А парохода-то такого, между прочим, еще нужно дождаться, потому что не все отсюда возвращаются домой, многие зафрахтованы и обслуживают иностранные порты).

Литература, театр, живопись не дадут ключа к пониманию проблемы, если поначалу не ознакомиться с широким кругом вопросов, стоящих перед государством. Анализ одного явления, изолированного от других, непременно отомстит односторонностью. Поэтому три дня прошли в деловых встречах с сотрудниками министерства образования и культуры, финансов, министерства иностранных дел.

Встретился с профессором Лионг Юнг Пеном, известным сингапурским композитором. (Спасибо мистеру Цу!)

– Впервые оркестр был создан в Сингапуре всего лишь год назад, – рассказывает профессор Лионг. – Раньше ни одного оркестра здесь не было. Мы начали с тридцати человек, сейчас у нас пятьдесят. Работать трудно. Молодежь увлечена поп-музыкой, джазом. Бах – это религия музыки, но кто за-

нимается с детьми в школах? У нас в школах вообще нет уроков музыки, не хватает педагогов. Тем не менее наш девиз: «Делать все, что можешь, – до конца». Мы поставили, и я продирижировал оперой Сметаны на китайском языке. Помогли ассоциация «Метро филермоник сосайэти» и, особенно, – Лионг усмехнулся, – президент этого общества, то есть я. Наша трагедия заключается в том, что нет нот. Мы во всем зависим от иностранных публикаций. Американское агентство ЮСИА продает первый и второй концерт Прокофьева за пятнадцать долларов. Бела Барток стоит двадцать долларов. Для нас это невозможно дорого. Когда я возвращался из Европы, я специально залетал в ГДР, где и купил эти ноты – они там стоят в семь раз дешевле. Между прочим, когда я там был, выступал Леонид Коган. Я побывал на трех его концертах. Сейчас мы разучиваем симфонии Моцарта, Россини, Вивальди и Бетховена. Будем ставить концерт для оркестра со скрипкой, который написал Джейн Кха из Шанхайской консерватории. Где он сейчас, к сожалению, я не знаю, время сложное, боюсь, что он пострадал во время «культурной революции». Нам сейчас нужно триста долларов, чтобы купить ноты для всего оркестра, а это огромная сумма. Что делать, не знаем. Пока что пользуемся библиотекой; ноты переписывает для себя каждый музыкант. Но в общем не приходится гневить бога, прогресс очевиден: мы все-таки создали первый симфонический оркестр в Сингапуре.

...Рядом с Лионгом сидел Альфонсо Антони, первая скрипка оркестра. Он евразиец, у него в жилах и европейская и малайская кровь. Он рассказывает, как они втроем, скопив и одолжив по крохам деньги, вылетели в Лондон, чтобы посмотреть советский «большой балет».

– Мы отправились со своими сандвичами, – улыбается он. – Действительно, мы сделали кучу бутербродов, потому что денег на гостиницу не было и мы жили на улице весь тот день, пока стояли в очереди, чтобы купить билет, и следующий день, пока дожидались представления. Мы возвратились потрясенными...

– Было немного грустно потом смотреть на наш бедный, маленький оркестр, – вздохнул Лионг. – До полета в Лондон он казался нам таким мощным...

– У нас в доме, – продолжает Альфонсо, – было пианино. В три года я попросил у отца скрипку. «Ты еще маленький», – сказал он и подарил мне игрушечную скрипку. Потом началась война, мы бежали в Индию, а скрипку я спрятал, и она была со мною многие годы. В двенадцать лет отец купил мне чехословацкую скрипку, копию Страдивариуса. Учитель жил на другом конце города. Отец поменял квартиру поближе к учителю, чтобы мне не тратить три часа на дорогу. С пятнадцати лет я занимаюсь музыкой, и больше мне ничего не надо. Моим богом был Моцарт, теперь – Брамс.

Лионг заметил:

– А мой бог – Шопен... И цирк.

Альфонсо в тон ему ответил:

– Только поэтому мы и работаем с тобой вместе столько лет...

Была встреча с президентом пароходной компании, мистером Ши. Он жаловался на пиратов, которые грабят маленькие суда купцов и рыбаков.

– Впрочем, – добавил он, – грабят и большие корабли. Особенно мы боимся эту таинственную женщину, вождя местных пиратов. Она живет под псевдонимом. Мне кажется, ее поддерживают те, кто осуществляет торговлю наркотиками.

Если хотите, – продолжал мистер Ши, – я могу устроить вам место в китайском общежитии для моряков в районе порта. Это для вас будет интересно. Там нет, правда, «айр кондишн», только пропеллеры под потолком, но зато комната стоит всего десять местных долларов – это в три раза дешевле, чем у вас в «Орчард». Вы сможете понять, послушав наших моряков – они говорят по-английски, – как они боятся пиратов. Восемнадцатый век в веке двадцатом! Вы не тревожьтесь – это общежитие организовано нами, китайскими христианами, так что можете не бояться этих людей.

– Я не боюсь китайцев. Я был в Китае, я люблю китайцев. Великая, трагичная нация.

Мистер Ши чуть улыбнулся.

– «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись».

– Мы зачитывались «Маугли», – ответил я, – но философскую концепцию Редьярда Киплинга не принимаем.

– Вы – это вы, а мы – это мы. Мы этих слов Киплинга никогда не сможем забыть.

...В баре, где гремела музыка и было особенно много расфранченно одетых, томных молодых людей, – встречу там назначил Ю – режиссер ТВ, который все дни на съемках, а по вечерам в монтажной, и свободен он только ночью, – я узнал, что «Орчард-бар» – центр сингапурских гомосексуалистов. Повезло же мне с баром! (Я вспомнил первого шофера такси, с которым я ехал с аэродрома. То-то он интересовался, не любитель ли я «экзотики».)

Узнав, что я собираюсь на остров Калимантан, режиссер Ю, пощелкав языком, соболезнующе покачал головой:

– Недавно я был у полицейского комиссара Саравака мистера Ричи, и тот сказал, что на днях убили пятнадцать партизан, которые готовили взрывы бомб в Кучинге. Полиция каждый день арестовывает сочувствующих. Много саравакских юношей переходят границу, скрываются в индонезийских джунглях и там проводят тренировку в партизанских отрядах. Только что из Манилы выслан известный мультимиллионер Эрнесто Тинг. Ему купили авиационный билет в один конец – в Тайбэй. Он был уличен в подпольной деятельности. Он, например, поддерживает националистов в штатах Сабах и Саравак, куда вы собираетесь лететь, настраивает их против правительства Малайзии, зовет к восстанию. Естественно, он это делает не напрямую, а через подставных лиц. Не ищите в этом противоречий – ультралевые революционеры и миллионеры действуют заодно. И в Сабахе и в Сараваке есть каучук, кобальт, нефть. Интересы миллионера Тинга, который хочет взять под свой контроль эти богатства, смыкаются с интересами левых ультра, которые намереваются свалить правительство Малайзии. Сейчас, правда, ожидают изменений. Назначен новый губернатор Саравака. Это семидесятилетний сенатор Тан Шри Туанку Буджанг Бин Туанку Хаджи Отман. Он сам из Саравака, из тамошней аристократии; он служил там в течение двадцати лет как полицейский. Потом ушел в военно-морские силы и сейчас возвращается для того, чтобы навести порядок: блокировать побережье и провести реформу в джунглях, чтобы повысить условия жизни местного населения и оттеснить иностранных купцов.

Только вышел из ванны, только надел шорты, как вдруг дверь с грохотом распахнулась и на пороге появился кряжистый мужчина в белой рубашке, заштопанной на плечах, но тщательно отутюженной, в белых шортах и босоножках. Рядом с ним стояла высокая, голубоглазая, беловолосая женщина.

Я сначала растерялся: так резко и неожиданно, без всякого предупреждения, – обычно звонят от портье, спрашивают, можно ли зайти, – ворвались ко мне эти два человека.

– Профессор Вильям Виллет, директор Института искусств Сингапурского университета, – представился мужчина в белом. – Миссис Джо, моя помощница и по совместительству жена британского советника по культуре... Как это было у Маяковского, – продолжал Виллет. – «Ты звал меня? Гони чайи, гони, поэт, варенье».

– Простите, но я не звал вас.

– Ложь! Вы звонили в университет, и вам обещали помощь наши идиоты, и вот я – олицетворение этой помощи во плоти!

Он был резок и пьян – до того предела, когда каждая последующая рюмка грозит повалить человека навзничь. «Чаем» оказалась бутылка «Столичной», торчавшая из его кармана. «Варенье» заменила холодная вода из-под крана.

– Не верьте, когда вам будут говорить, что в тропиках вреден алкоголь, – говорил Виллет. – Наоборот. Здесь вы не знаете «синдрома похмелья» – водка выходит с потом, вы «вымокаете» из себя сивушную дрянь. Я пробовал было отказаться от моей нежной подружки – бутылки, но жизнь показалась мне столь омерзительной, а люди такими букашками, что я срочно вернулся на стезю пьянства. Лейте больше, не поддавайтесь буржуазному влиянию, я же знаю, что вы глушите водку стаканами...

– А заедаем ложками икры, – добавил я.

– И, слушая цыган, топите персидских княгинь в водах матушки-Волги, – заключил профессор и, лихо выпив стакан, «задышал» его – чисто по-русски – «мануфактуркой», даже воды пить не стал. И, как истый интеллигент, сразу же заговорил о литературе:

– Я не читал ваших книг, Джулиан, я вообще не верю беллетристике. Я стою в оппозиции ко всем каноническим точкам зрения. У меня есть на все свой взгляд. Очень сожалею. Я,

например, убежден, что Сомерсет Моэм – первый писатель из второклассных; «Дама с собачкой» – второклассная новелла из первосортных, ибо Чехов прежде всего гениальный драматург. Не знаю, быть может, его новеллы плохо переведены – все может быть. Все привычные мнения опрокинула середина двадцатого века. Сейчас выгодно быть нигилистом, чтобы не оказаться доверчивым болваном, сейчас выгодно отвергать устоявшиеся истины. Я завидую американцам – их дикости и обворожительной детской наивности. Американцы при встрече сразу же тянут руку, называют себя по имени и начинают задавать идиотские вопросы обо всем. Молодая нация, смешение всех стилей. Что вас интересует здесь? Политика, проституция, вложение капиталов или ультралевое подполье? Что? Перестаньте, Джулиан, искусство здесь сейчас несерьезно. Лишь смерть выверит все меры ценностей, искусства в том числе. Приезжайте лучше ко мне в музей – у меня выставка работ Родена. Как вы сами понимаете, эту выставку патронирует и организует табачный концерн «Стайвезант»! «Посмотрев Родена, вы убедитесь, что надо курить только наши сигареты!» Ложь, кругом ложь! Искусство, правда, истина! – снова фыркнул профессор. – Не сердитесь. Это с отчаяния. Большая ложь кругом, большая ложь. Только нигилизм, только отрицание всех догм даст человеку свободу. И хорошая доля пива. Пойдемте пить пиво. Вы, русские, наивно полагаете, что пиво пьют немцы. Ничего подобного! Пиво выдумали англичане и пьют его в значительно бóльших количествах, чем немцы. Я проехал Россию на поезде – из Москвы до Владивостока. Когда я заказывал пиво в вашем вагоне-ресторане, меня спрашивали: «Вы немец?» Когда я отвечал, что я англичанин, официанты мне не верили: «Ведь англичане пьют виски». Наивное заблуждение. Виски – это дорого для английского профессора, виски хлещут американцы. Мы пьем пиво, это значительно дешевле, а напиться можно так же.

Профессор снял трубку, попросил соединить его с баром.

– Принесите сюда пива... Что? Подождите! Что?! – Хмыкнул, бросил трубку; телефон жалобно дзенькнул. – У них перерыв! Сейчас я сам принесу пиво, – сказал он, – и докажу, что не все англичане толстозадые консервативные тори! Я люблю революционеров и поэтому сам схожу за пивом!

Джо улыбнулась.

– Не сердитесь, – сказала она. – Вильям очень славный, умный и несчастный человек. Он одинок, доверчив и добр. Вы подружитесь, уверяю вас. Он хороший товарищ. Чем я могу быть вам полезной?

Эта женщина действительно потом очень мне помогала и как гид, и как шофер, и как человек, который пытается понять правду, не надевая на себя очки черного, белого или желтого цвета. (Именно она стала прототипом Джейн, одной из героинь моего романа «Бомба для председателя».)

Встретился с ведущим режиссером телевидения Сингапура г-ном Лим Тхенг То. Когда ему было девять лет, его родители развелись. Трех сестер оставили матери, его отдали отцу. Но отец женился, и мальчик скитался по людям – то жил у деда, то в общежитии рабочих, то на улице, то у бармена, который работал в ресторане отца.

– Все свободное время я проводил на море, с рыбаками. Приходил из школы, кидал книги в угол, бежал на море, потом на улицу, а перед сном «играл» для себя прожитый день. Я был свободен, никто не смотрел за мной, – я стал курить, полюбил карты; торговцы научили меня работе на базаре, но учеба давалась мне легко, я был отличником, примерный мальчик в школе днем, игрок и курильщик ночью. Потом я поступил в «Чунг Чинь хай скул» – это нечто среднее между университетом и техникумом. Тогда в Сингапур хлынул поток гангстерских фильмов, и мы, естественно, начали играть в бандитов. Если мне не давали главную роль в школьном кружке, я вообще отказывался играть...- Лим усмехнулся. – Видимо, тогда во мне родился режиссер, зачаточное проявление культа силы в искусстве. А потом я пришел во взрослый самодеятельный театр. Там мне давали роль на выходах. Этот щелчок по носу полезен, для режиссерского честолюбия – особенно. У нас были гастроли – мы выступали в других школах. Мы очень любили гастроли из-за того, что это очень «взрослое» слово. В самодеятельном театре я понял, какая великая тайна Станиславский. Мне объяснял это «хобби-режиссер» Тан. Что такое «хобби-режиссер»? Мистер Тан бизнесмен, но все свободное время он отдавал театру, таких у нас

большинство. Потом я учительствовал. А когда организовалось радио Сингапура, меня пригласили писать программы по школьному образованию. А уже потом я ушел в режиссуру, потому что был единственным режиссером на ТВ, кто знал классический китайский язык – его называют «мандаринским». Когда я ставлю на мандаринском языке Чехова или Ибсена, я прежде всего обращаюсь к актеру с вопросом: «Почему?» Я против традиции мандаринского театра: актер – это кукла режиссера. Искусство театра – это искусство коллектива. Музыка? Что ж... Самые любимые мои композиторы – Бетховен, Лист, Шопен, Чайковский, Сметана.

...Лим Тхенг То интересный собеседник. Он рассказывал, что жить здесь литературным трудом или музыкой невозможно, нужно обязательно работать: или в банке, или на телевидении, или в издательстве, или в газете, или в оффисе.

Познакомился с коллегами Лим Тхенг То – режиссерами ТВ Чандра Мохэном и Махмудом Зэйном.

– Пьесы о колониализме? – переспросил Чандра. – Еще рано об этом. Слишком все это близко, слишком в сердце у каждого. Толстой не торопился писать «Войну и мир». Лучше подождать, чем быть освистанным.

– Самая любимая форма передачи? – Махмуд Зэйн задумался на мгновение. – История семьи – из вечера в вечер. Да, верно, я был в Японии, и мне их передачи кажутся очень интересными. Это, естественно, не мешает мне ставить Шекспира и Мопассана на малайском языке... За пять лет я поставил триста передач и, говоря откровенно, доволен ими.

...Заехал в музей искусств университета, к Вильяму и Джо. Посмотрел выставку будд. Это фантастично – скульптура буддизма. Джо реставрирует будду пятого века из Малайзии. Я был совершенно потрясен буддой, найденным в Афганистане, – хохочущий, веселый парень, вроде японского Энку. Совершенно иные будды из индийских сект. Другие лица, другие характеры: задумчивость, скорбь, неторопливость мысли.

А потом Вильям и Джо привели меня в зал Родена. Они стали очень торжественными, вводя меня в пустой зал. В день – не более пяти-шести посетителей (я вспомнил очереди в наш Музей изящных искусств). Потрясают работы Роде-

на «Руки», «Гимнасты». О выставке в газетах писали лишь то, что она застрахована на полтора миллиона долларов. Ни рассказа о скульптурах, ни разбора творчества Родена – ничего. Только величина страховки и приблизительная стоимость каждой скульптуры.

Совершенно изумительны «Страдающая женщина», «Портрет мужчины», «Крик». Особенно интересен «Портрет мужчины». Он статичен, в отличие от остальных работ Родена, исполненных действия и открыто выраженной экспрессии.

...Вечер провел вместе с профессором университета, поэтом Денисом Энрайтом и его женой, художницей Мадлен. У них старинный колониальный дом – большой, двухэтажный. Стены в доме беленые, как в украинской хате. Полы из красного дерева. Трое молчаливых босых слуг – старик китаец и две китаянки.

Рядом – громадный, трехэтажный дом китайского торговца, обнесен колючей проволокой, сквозь которую пропущен электрический ток. Лают три злющие немецкие овчарки.

– Здесь, – сказал Энрайт, – сейчас очень популярен «киднапинг» – воруют детей почем зря. В последнее время начали, правда, воровать стариков и старух из богатых семей, они доверчивей, чем дети, те уже стали бояться... Насмотрелись наших фильмов, вот и подражают...

Мадлен – художница, работы ее тревожны, интересны.

– Я ненавижу наци, – сказала она, показывая мне свою живопись, – но я не умею выражать ненависть в творчестве. Я считаю, что в искусстве надо выражать лишь любовь.

– А как быть с поэзией? – усмехнулся Энрайт. Высокий, неряшливо одетый, с иденовской трубкой, постоянно зажатой в зубах, он не только профессор филологии и поэт, известный и здесь и в Лондоне, он также консультант правительства по вопросам Юго-Восточной Азии.

Я считаю, что поэзия вправе чураться политики в дни мира. Поэт не вправе молчать, лишь когда говорят пушки.

Энрайты пригласили меня в маленький ресторанчик китайской кухни – там нас ждали американский профессор Дин Джонс с женой-англичанкой и профессор теологии Дэвид из Лондона. Он тоже работает в Сингапурском университете.

– Ну как, поп, – сказал Энрайт, когда мы поздоровались, – ты приготовился к обращению заблудшего Джулиана в лоно святой церкви?

– Лучше удержите меня от обращения в религию большевизма, – улыбнувшись, ответил Дэвид. – Вы все так грешите, что скоро церковь станет под знамена Москвы...

Все, как один, мои новые знакомые высказывались против агрессии во Вьетнаме, все считали, что в этом громадном и маленьком мире сейчас нельзя жить изолированно и что взаимное узнавание – одна из гарантий от уничтожительной войны. Если каждая из сторон будет настаивать на своей непогрешимости – мир кончится.

Потом к нам присоединился профессор университета индус Ратам с женой Маргарет и ассистенткой, милой девушкой Чао Ченг-чи. Ратам – популярный человек в Сингапуре, он специализируется по вопросам политики.

Я удивился:

– Политическая экономия? Международные отношения? Политика -это слишком уж всеобъемлюще.

– Именно так, – ответил он. – Я изучаю политику как данность. Я не привлекаю материалы ни из экономики, ни из военных теорий... Я изучаю политику как политику. Схоластично? Может быть, но схоласты не были полными идиотами.

– Схоласты были надменными кретинами, – сказал Дин Джонс. – Я утверждаю это, несмотря на традиционный страх американских интеллигентов перед английской аристократией и римским правом.

– Доказательства! – потребовал Ратам.

Мадлен, жена Энрайта, шепнула мне:

– Пускай мужчины продолжают спорить о политике, а мы зайдем на десять минут к моему другу, художнику Со Пенгу.

Со Пенг – художник поразительный. Он работает в металле и в масле, комбинирует чеканку, графику и акварель. Это – новая живопись, новая по форме, но реалистичная по содержанию.

Со Пенг грустно сказал:

– Один торговец, который смотрел мою живопись, рассердился: «Вы просите сто долларов за картину, а я в прошлом году купил две картины такого же размера и цвета за семьдесят пять!»

Со Пенг работает в маленькой двухкомнатной квартирке – уборная во дворе, кондиционера нет, кухня заставлена полотнами, – и, чтобы приготовить чай, приходится минут десять снимать картины с электрической плиты.

Сегодня был прием, устроенный Национальным театральным обществом Сингапура. Принимал гостей президент общества, писатель Го По Сенг. Он прислал мне приглашение в отель с личным письмом: «Я был занят все эти дни и не мог с вами увидеться. Жду на вечере. Это будет наше очное знакомство». Я приехал на прием с Джо и чувствовал себя как камень, который обтекают волны. Китайские и британские банкиры и промышленники, приехавшие в смокингах и фраках, обходили меня стороной, а несколько человек, разбежавшихся было, чтобы поздороваться с Джо, женой британского советника, узнав, кто я, чуть не выдергивали свою руку из моей и быстро ретировались. Джо посмотрела на меня с болью.

– Это не страшно, – сказал я, – это даже прекрасно. Сейчас вы можете воочию убедиться в том, сколь однозначна ваша пропаганда. Я приехал без атомной бомбы, без кинжала и без шифрованных радиопередач для агентурной сети. Я приехал как писатель и журналист. А почему все вокруг боятся меня? Только потому, что я – советский? Ей-богу, у нас дома этого нет, у нас люди не боятся говорить с иностранцем, даже если не согласны с доктриной, которой следует его страна. (За день до этого Джо говорила мне, что мы слишком тенденциозны и опасливы, что мы не хотим выслушать противную сторону и что «мы, Джулиан, значительно более широки и объективны по отношению к вам».)

Джо демонстративно взяла меня под руку и стала водить от одного человека к другому – это были генералы, послы, министры – и представляла им «советского писателя», жестко наблюдая за тем, чтобы все те, кому она меня представляла, исполнили весь церемониал знакомства – не только рукопожатие, но и обязательный, ничего не значащий разговор и взаимное получоканье стаканами виски со льдом.

– Англичанки хороши лишь тем, – сказала она, – что быстро признают свою неправоту. Конечно, я была дурой, когда говорила о нашей широте.

Потом был концерт. Потрясло выступление самодеятельного симфонического оркестра и – главное – дирижера Ченг Си-сама. Его семью – у них было пятнадцать детей – во время «культурной революции» начали преследовать за буржуазность, поскольку отец – учитель, а его брат до 1949 года владел книжным магазином. Ченг Си-сам бежал из Китая. Сейчас ему двадцать пять лет. Он бродил по Гонконгу, потом поехал на Тайвань.

– Но там невозможно жить и работать, – говорил он мне. – Тайвань – это страшно, это полное пренебрежение к искусству, к музыке. Сейчас я здесь, и, видимо, надолго. На Тайване меня потрясло то, что там совершенно не признают европейской музыки. Китайский народ в высшей степени музыкальный, но он принимает европейскую музыку лишь в очень талантливом исполнении, а талантливых исполнителей на Тайване практически нет. Каждый китаец может петь и может играть на флейте, он привык к своей напевности. «Чужое» должно быть очень уж интересно трактовано, тогда лишь оно станет «своим» для китайца. Вообще я считаю, что без Бетховена, Баха и Чайковского современной музыки нет. Каждый должен знать музыку этих титанов, потому что Бах и Чайковский – отцы культуры.

Несмотря на жару, Ченг то и дело зябко поеживался, сильно затягиваясь дешевой сигаретой.

– Я мечтаю, – задумчиво продолжал Ченг, – поработать для кинематографа, потому что фильм дает громадный выход музыке, особенно в таких странах, где еще мало концертных залов. Но если серьезно относиться к кинематографической музыке, рассчитывая при этом на Китай, то нужно точно знать, для какого района пишешь, ибо каждый район Китая имеет свою музыкальную традицию, свои обычаи. Для китайского кино необходимы определенные инструменты, и употреблять их следует в определенных ситуациях, ибо музыка, костюм и цвет играют одну и ту же роль – они лишь помогают драматургии. Главная сложность – унисон традиционной музыки. Каждый инструмент играет «самого себя». У наших национальных инструментов пять тонов, и поэтому надо очень точно оркестровать, но как бы точно ты ни оркестровал, все равно есть лимит возможностей.

Он показал мне свои инструменты.

– Китайская музыка – это моя ностальгия, – сказал он. – «Пи-па», «арху», «чинг«, «самтьен», «юэт», «туин» – вы слышите, сколько таинственной музыки в самих названиях инструментов?

Ченг Си-сам отошел к роялю и заиграл Хачатуряна, а потом, резко оборвав мелодию, стал играть «Петю и волка». Я поразился тому, как он резко переключается – это словно моментальное перевоплощение гениального мима.

– Заметьте, в «Пете и волке» Прокофьева, – задумчиво сказал он, – есть нечто от китайской вкрадчивости. Переходы осторожные, они вытекают один из другого, хотя часто противоречат друг другу.

Потом Ченг Си-сам взял маленькую арху и заиграл поразительную по напевности мелодию.

– Это ноктюрн о конских скачках, – пояснил он, прервав игру. – Я однажды видел, как на горном плато гоняли коней, и сочинил эту мелодию.

(И я увидел бескрайние забайкальские степи, и кобылиц, окруженных жеребятами, и синие горы вдали, и голубое небо – совсем близко, и солнце кругом...)

Потом Ченг заиграл на пи-па.

– Это про женщину из Кантона, – сказал он, – мужа которой бросили в концентрационный лагерь.

И лицо Ченг Си-сама стало строгим, а глаза громадными. Он изредка внимательно взглядывал на меня, а потом, вдруг прервав горькую мелодию, заиграл: «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам бог любимой быть другим». Он пропел это на ломаном русском языке, а потом, смутившись, замолчал. Я поцеловал его. Мы долго стояли молча, обнявшись; руки его были холодны, а глаза добры и печальны.

Провел весь день в университетском клубе профессоров Сингапурского университета. Тут собираются англичане, малайцы, американцы, индусы. Собираются с пяти часов вечера и проводят свой досуг до одиннадцати. («Попав на необитаемый остров, – пошутил Энрайт, – англичанин сначала строит тот клуб, куда он не будет ходить...»)

Обслуживает профессоров мистер Ли, молодой, великолепно говорящий по-английски парень с жестокими глазами

и постоянной улыбкой на лице. Профессор Вильям Виллет подшучивает над ним. Я видел, как холодеют глаза у мистера Ли, когда Вильям вежливо, но многократно просит его поменять пиво, потому что в нем слишком много теплой пены. Они словно бы испытывают друг друга: один – словом, другой – молчанием.

– Чего вы добиваетесь вашей ехидностью, Вильям? – спросил его американский профессор.

Раскурив трубку, Виллет ответил:

– Я хочу понять, как долго они могут терпеть.

– Хотите заранее купить билет на последний самолет?

– Зачем? Может быть, я выйду приветствовать их с красным флагом.

Сингапур. Семенов.
Редакция «Правды».
(передано по телефону):

«Я встретился с ним в Сингапурском клубе пловцов. Он был одет в старенький, подштопанный, но выкрахмаленный и наутюженный колониальный костюм – белая рубашка, белые шорты, толстые шерстяные носки и тупоносые коричневые ботинки. Он сидел в тени, смотрел, как в изумрудной воде загорелые люди играли в мяч, вытирал со лба пот и медленно потягивал пиво.

– Отчего вы не плаваете? – спросил я его.

– Не умею. Я родился в семье британского рабочего, мы не имели ни прав, ни возможностей посещать такие клубы.

Ученый, занимающийся древним Востоком, он презрителен ко всему сегодняшнему.

– Мир суетлив и опустошен. А я не умею плавать. И поэтому мне скучно, – усмехнулся он, – и ясны мне все начала, а концы – тем более.

Мы закурили. Солнце было бесцветным, оно словно бы растворилось в расплавленном, алюминиевом, сорокаградусном небе.

– Спрашивайте про начала, – продолжая усмехаться, говорил он, – это пойдет на пользу вашей идеологической кон-

цепции. Я расскажу вам про то, как наш великий колониализм, сохраняя китайскую керамику четырнадцатого века и индийскую скульптуру тринадцатого века, уничтожал побеги того дерева, без которого нет развития, – он уничтожил сегодняшнюю культуру колониального Востока. И мне скучно, потому что мне ясны концы – придет сюда, в эти освободившиеся от нас, проклятых англосаксов, страны, новый Хам, или Мессия, или черт те кто, и некому будет противоборствовать, ибо противостоять вандализму может только культура – она сильнее пушек и морской пехоты.

...Я прожил в Сингапуре три недели – каждый день я занимался тем, что отыскивал людей, посвятивших себя служению новому национальному искусству молодой республики. Мой знакомый – назовем его Джоном – сказал тогда, в клубе пловцов: «Зря вы это затеяли. Мы вытравили всех, кто мог бы стать талантом. Здесь культурное безлюдье».

То, что британский колониализм всячески мешал развитию культуры в колониальных странах, – с этим спорить нечего, сие правда. А вот то, что он уничтожил все побеги на древе здешней культуры, – с этим поспорить стоит.

Мистер Лим Хенг То – режиссер телевидения. Мы сидим в темном зале, жужжит эркондишен, на маленьком экране мелькают белые штрихи – сейчас начнется фильм. Из темноты – до слез неожиданно – возникает портрет Чехова, и тихий голос по-китайски говорит о «народном писателе Чехове, который принадлежит не только России, но всему миру». И начинается фильм, снятый Лимом, – «Медведь». Красавица китаянка Го Хуа-пек – русская вдова в черном трауре, разухабистый китайский Семенов – Эн Чи Хоа в поддевке; изысканность и строгость черно-белых декораций, старинная русская музыка – далеким фоном, и вся эта китайская интерпретация Чехова, сделанная профессиональным режиссером и самодеятельными актерами, оборачивается чудом и прелестью, огромной уважительностью к культуре нашей страны.

Едем в маленьком «фиатике» Лима в Наньянгскую академию живописи. Академия создана тридцать лет назад, во времена колониализма, ютилась в крохотном домике на пожертвования богатых китайских торговцев.

– Это было тяжкое время, – рассказывает ректор академии Лим Ю Кванг, – никто не помогал нам, наоборот, мешали всячески. А потом была оккупация, японцы расстреливали патриотов, царил террор.

Одна из его картин так и называется «Незабываемый террор». Картина эта трагична и достоверна: художник запечатлел тот момент, когда арестовали его брата, казненного позже в тюрьме милитаристами..

Живопись Кванга поразительна. Он ищет солнце в своей живописи. В каждой его картине солнце скрыто низкими облаками, но оно угадывается и в бликах на воде океана, и в ярости зеленых пальм, и в высвете холщовых парусов джонок на сингапурском рейде.

В академии двести студентов. Подавляющее большинство – на первом курсе. Провозглашенная независимость усилила тягу народа к культуре. Пока еще трудно и с помещениями, и с профессурой, но главное – заинтересованность молодежи в изобразительном искусстве очевидна.

Президент Ассоциации художников Е Чи Вай летом с группой своих коллег уезжает в Таиланд, Индонезию или Саравак, и там они пишут свои картины. Живопись Вая выполнена в иной манере – это некий сплав позднего французского импрессионизма и местного колорита. Потрясла меня его картина «Материнство». Столько в этой картине нежности, доброты, боли за племя даяков, испытавшее на себе многовековое иго колониализма, столько в эту картину вложено личного художником из Сингапура!

– У вас много детей? – спросил я художника.

– Восемь, – ответил он. – И еще примерно тысяча...

Е Чи Вай преподает в школе живопись – жить на свое искусство пока еще в Сингапуре невозможно.

...Доктору Го По Сенгу тридцать два года. Он популярный врач и не менее популярный писатель, человек, отдающий все свое время пропаганде культуры. Он президент Национальной театральной компании, вице-председатель Сингапурского общества культуры.

– Во время колониализма здесь никто не интересовался литературой и не занимался ею. Здесь не было ни одного журнала, ни одной театральной труппы. Когда пять лет назад

я написал первую драму, у нас не было даже самодеятельного театра. Посещение спектакля сводилось к смене туалета – фрак, манишка, лакированные туфли, ярмарка тщеславия. То же с литературой – покупали заокеанские полупорнографические журналы с цветными обложками, администрацию не интересовало, что читает и смотрит народ. Мы создали «группу 65» – это было четыре года назад, – объединили художников, писателей, поэтов, актеров. Мы начали издавать журнал «Поэтический Сингапур», мы устроили первый в нашей истории поэтический вечер – пришло всего триста человек.

Это было начало. Сейчас в республике около двухсот центров культуры. У нас пока еще нет художественной галереи, для этого надо собрать триста тысяч долларов – мы их соберем. Пока мы устраиваем выставки под открытым небом по субботам – раньше это было немыслимо. Мы построили театр, там выступают наш оркестр, наш балет, наша труппа. Пока это все полупрофессионально. Но ведь нам всего пять лет. Колониализм лишал нас культуры, а развиваться нельзя, не обогащая народ духовной пищей – Данте, Толстым, Флобером, Шоу...

Один из виднейших поэтов Сингапура, Эдвин Тамбу, говорил мне:

– Для бонз и бизнесменов вопрос культуры – это корешки книг в холле, которые никогда не читаны, и новая картина на стене, которую не понимают, но хвастают ценой. Для народа, который стал свободным, вопрос культуры – это вопрос будущего.

Многие деятели культуры Сингапура, с которыми, я беседовал, подчеркивали одну и ту же мысль:

– Создать сингапурскую нацию, состоящую из китайцев, малайцев, индусов, невозможно без создания общей культуры. Языковой барьер по-прежнему велик в республике. «Разделяй и властвуй» – термин колонизаторов – до сих пор дает себя знать: индус не понимает китайца, тот не в состоянии объясниться с малайцем. Языковой барьер дает возможность всякого рода авантюристам – и западного и азиатского толка – «ловить рыбу» в этой мутной воде, оставшейся в наследие от колониализма.

Беседую с организаторами театральной студии Сингапура миссис Го Ле Кван и мистером Ко Пао Куном. Они молоды, в

искусство пришли после трудовой жизни – они работали на строительстве дорог в Австралии.

– Без балета нет движения, без движения нет драматургии – говорит Кун. – Мы начинали, когда у нас было двадцать учеников, теперь – сто.

Здесь у них в маленьком домике на Соммервиль роуд каждый день собираются патриоты высокого искусства. Им пока еще трудно – только два профессионала на всю студию. Но они уже показали и «Кавказский меловой круг« Брехта, и «Седую девушку», и Чехова, готовят сейчас вечер, посвященный Горькому. Они подарили сингапурскому зрителю – в первую очередь рабочему, трудовой интеллигенции – новые пьесы прогрессивных американских писателей, австралийцев, великих китайских гуманистов.

«Здесь нет искусства», — вспомнил я слова моего британского собеседника.

Снобизм умного человека – опасная штука. Я отправился в английский клуб пловцов, чтобы доспорить с Джоном («здесь нет талантов»), но его там не было, а у меня кончалось время, потому что пора было улетать дальше, и улетел я в самом хорошем настроении, потому что встреча с людьми высокого искусства надолго заряжает радостью».

Утром позвонил в австралийское посольство.

– Да, мистер Семенов, виза вам пришла... Какие районы Австралии вы можете посетить? Любые... Когда получить визу? Хоть сейчас...

Визу выдали быстро. За мной заехала Джо, отвезла в аэропорт. Улетаю на Борнео, который называется ныне Калимантан, в столицу малайзийского штата Сабах – в Кота-Кинабалу.

С одиннадцати вылет перенесли на два часа из-за неисправности самолета.

– Лучше поменять билет, – сказала Джо, – это плохая примета.

– Все англичанки верят в приметы?

– Умные – да, – улыбнулась Джо. – А дуры во всем мире одинаковы.

– Англичанки скромные женщины?

– Умные – да.

– Это демократично – хвалить себя? Нет?

– Я воспитывалась в семье тори. О моих подругах, когда я училась в третьем классе, мама спрашивала: «Они настоящие леди?» Так что я теперь отыгрываюсь за мое консервативное воспитание и демократично хвалю себя... — Она грустно улыбнулась. – Сама не похвалишь – кто похвалит?

Когда жара стала невыносимой, пригласили в «Комету». Рядом со мной в кресле сидел мистер Ку Тоу-чун – смешливый, очень резкий, чем-то похожий на японца. Он сказал мне, что его брат заместитель премьер-министра штата Саравак, а он сам владелец крупнейших малайзийских компаний «Сабах ойл», «Малэйшиа трактор энд экуипмент» и еще нескольких – не менее мощных.

– Запишите мой телефон, – сказал он, – Сандакан, Сабах, Малайзия... У меня есть маленький островок, неплохой домишко, комнат тридцать, две маленькие шлюпочки, каждая берет человек по пятьдесят, с каютишками, которые отделаны красным деревом. Можем хорошо половить маленькую рыбешку, которую называют тунец...

Мистер Ку рассказал мне свою историю. Начал он с нуля, торговал на улицах. Помогла китайская община. Сейчас ездит по всему свету, представляя и брата тоже, ибо тот его совладелец.

– Брат английского не знает, он настоящий китаец, – улыбнулся Ку, – и, как истинный старый китаец, постоянно сидит дома.

Он достал две сигары.

– Кубинские. Хотите?

– Спасибо.

– Мне хочется быть похожим на Кастро, – хохотнул он, – жаль, что нет бороды. Вы давно носите бороду?

– С рождения, – пошутил я.

Мистер Ку заколыхался от смеха – сразу видно воспитанного человека.

– У нас тысяча двести рабочих, – говорил он. – Мы с братом считаем, что профсоюз необходим. У нас есть профсоюз, и он соответствующим образом регулирует наши отношения.

Впрочем, мои рабочие – китайцы, и отношения работодателя и рабочего у нас тоже особые. Мы все: одни – скрывая, другие – афишируя, верим в Будду, в изначалие добра и силы, в предначертанность бытия. Я ненавижу только одну нацию на земле – американцев. Они следят за мной, когда я бываю в Нью-Йорке. Однажды они привезли меня в полицию, чтобы взять отпечатки пальцев, – они выяснили, что я рожден в Китае. Как будто не понятно по моему лицу, что я рожден не в Даллассе! А я их нарочно пугаю: захожу в коммунистические посольства в Вашингтоне. Захожу, листаю литературу, спрашиваю, можно ли мне получить визу, а когда мне предлагают: «Дайте ваши документы», я отвечаю: «Хорошо, дам» – и выхожу с очень важным и серьезным видом. Бедные шпики сходят с ума, наблюдая за мной все то время, пока я живу в Штатах.

Кота-Кинабалу. Семенов.
Редакция «Правды»
(передано по телефону):

«И облака здесь были совсем иные: они громоздились в прозрачной голубизне неба белыми снежными пиками. Вершины были освещены багровым солнцем, а стальные основания, казалось, вросли в густую зелень моря.

В динамиках нашей «Кометы» зашипело, затрещало, и низкий бас объявил:

– Добрый день, леди и джентльмены! Говорит командир вашего воздушного корабля. Через восемь минут мы приземлимся в аэропорту Кота-Кинабалу, столице Сабаха. Прошу надеть привязные ремни и воздержаться от курения.

Протащив акулье брюхо самолета над бело-песчаными пляжами, над пенной кромкой моря, над каучуковыми плантациями, турбины взревели в последний раз, теперь помогая гасить скорость, и колеса коснулись земли Калимантана.

Жара была неописуемой – пострашнее сорокапятиградусной сингапурской. Аэропорт маленький, эркондишен здесь еще нет, и, когда вас обступает с десяток гостиничных агентов, становится совсем уж невыносимо жарко; каждый кра-

сочно, настойчиво и ужасно громко рекламирует свой отель. Старичок, стоявший чуть поодаль, держал, как и остальные, в руках буклетик своего отеля, но не кричал и активности проявлять никакой, как видно, не намеревался.

– Что у вас? – спросил я. Порой в рекламе лучшая реклама – молчание: оно как золото.

– У меня «Борнео», — ответил он гордо. – На берегу океана. С кондишен и тишиной. От города четыре мили. Дорога на такси шесть местных долларов. Ничего иного, кроме хорошего отдыха, гарантировать не можем.

...Темнеет на Борнео быстро: только что раскаленный шар солнца катился по вороненой океанской стали, только что листья кокосовых пальм жирно блестели в его тугих, мощных лучах, как вдруг светило нырнуло в воду, сделалось сумеречно, и диковинных расцветок птицы стали черными, и розовые малыши-крабы, носившиеся по громадному белому пляжу, превратились в страшненьких паучков, и белая лошадь, на которой лихо проехала юная англичанка, вовсе исчезла в темноте, по-тропически густой и непроглядной, и костер, разведенный на берегу, под пальмами, еще десять минут назад казавшийся бесцветным, стал черно-красным, и даже было слышно, как шипят и выстреливают фейерверковыми искрами маленькие поленца какого-то диковинного, как и все здесь, деревца.

От костра отделились две фигурки: мужчина нес что-то под мышкой, а рядом с ним, подпрыгивая на одной ноге, бежала маленькая девчушка. Камбакао, человек из народности кадазан, с дочкой Марианной подошел к берегу моря, сбросил тапочки и исчез в густо-фиолетовой бездне моря.

Камбакао говорит по-английски. После получения Малайзией независимости он начал работать помощником врача – так здесь называются санитары. Со мной он говорит по-английски, а с десятилетней дочкой Марианной – на своем родном колокольчатском языке. Марианна скачет на одной ноге в море, плавать она пока еще не умеет, но ловка и в воду забирается до тех пор, пока можно подпрыгивать, захватывать воздух, опускаться на теплое, ровное песчаное дно и снова подпрыгивать, держа в руках шест: на нем Камбакао закрепит белую капроновую сеть – он ловит рыбу. У Камбакао зуб

не попадает на зуб: вода, по его словам, холодная – «всего» тридцать градусов.

– Хорошо, что нет луны, – говорит он шепотом, – значит, у нас будет рыба.

Шепотом он говорит потому, что рожден в джунглях. Там знают повадку рыбы и нрав зверя. Настоящие ловцы, охотники и рыболовы всегда говорят тихо: они боятся спугнуть зверя.

Лишь после того, как Малайзия стала независимой, Камбакао переехал в город.

– Я и сейчас езжу отдыхать в джунгли. Там в реках большие рыбы. А в джунглях много кабанов. Я уж разучился бить их копьём: не могу метнуть копье дальше чем на тридцать метров, позор какой, а? Обезьян мой отец до сих пор бьет стрелами, которые надо выдувать из деревянного ствола. Я тоже бью их так, – улыбается он, – отравленными стрелами. Мы подкрадываемся к ним, как в вашем «большом балете» крадутся по сцене актеры, играющие роль злодеев, – я смотрел этот фильм в нашем кинотеатре... Ужасно холодная вода, – повторил он, – неужели вы не мерзнете? Хотя нам рассказывали, что вся ваша страна покрыта снегом.

– Ну уж не вся, – ответил я, обидевшись за наш Крым и Кавказ, – у нас тоже есть теплое море.

– Теплее нашего?

– Теплее вашего моря нет нигде.

– Вот видите, – горделиво сказал Камбакао.

Марианна нырнула, и ее долго не было, а потом она, отдуваясь, поднялась со дна и протянула мне диковинную белую ракушку. Она сказала, как говорит моя Дунечка, – так, наверное, говорят все дети мира, когда хотят сделать приятное:

– На!

Ее громадные глаза на загорелом лице сверкнули улыбкой, и я увидел эту улыбку, потому что зубы Марианны ослепительны, они, словно фонарики, высвечивают ее лицо, курносое, очаровательное, ломко-красивое.

– В ее годы, – говорит Камбакао, – я не мог так говорить с белым. Я не имел права называть белого по имени, я называл его «сэр» и при этом, не смев поднять глаза, смотрел себе под ноги...

Рыбы было много. Марианна складывала длинных белых рыб в мешочек, показывая мне каждую, – луна взошла, и стало светло, и рыбу было хорошо видно.

– Очень красивые рыбы, – сказал я.

Камбакао перевел Марианне. Она протянула мне самую длинную, зубастую, голубую и сказала:

– На!

Потом мы лежали у костра и молча курили. Море изредка накатывалось на прибрежный песок, и только этот осторожный звук нарушал таинственную тишину ночи. Задумчиво глядя в огонь, Камбакао спросил:

– Скажите, Джулиан, а с какого возраста в вашей стране разрешено обращаться друг к другу со словом «товарищ»?

...Ах, какое же фантастическое было то утро! Многокилометровый пляж пуст, ни единого человека. На песке, возле самой кромки прибоя, лежали кораллы, огромные перламутровые ракушки, похожие на блюдо, невиданных форм камни, загадочные морские растения. Я сразу вспомнил нашу «охотницу за камнями» Мариэтту Шагинян: ей бы здесь много было работы – на целую книгу. Я долго шел по берегу, и было вокруг тихо, и ни единой души не было окрест. Я оглянулся, когда услышал веселые детские голоса, – три девчушки, рожденные, словно по ранжиру, с разницей, видимо, в год, бежали наперегонки по песку, а следом за ними вышагивал отец – долговязый, весело смеющийся, счастливый. Девочки – Джей, Мэри и Сьюзен – окружили меня: улов моих ракушек был воистину богат.

– А это что такое? А как называется вон та, с рогами? А где вы нашли вон ту?

Их отец улыбнулся:

– Они вас замучают.

– У меня две такие же.

– Они здесь?

– Дома.

– Вы откуда?

– Сейчас – из Сингапура. А вы?

– Из Сайгона. Они, – он кивнул головой на девчушек, – прилетели сюда с женой на неделю: у меня отпуск... — он усмехнулся, – за боевые заслуги...

– Как в Сайгоне?

– Плохо.

– Почему?

– Потому, что Север знает, чего он хочет. Я сам северянин, а мы воевали против Юга, когда он был рабовладельческим. Эти, в Сайгоне, хотят делать свой бизнес за нашими спинами. Между нами говоря, это не война, а скотство.

– И много вас так думает?

– Те, кто может думать, думают, как я. Обидно, знаете ли, погибать, когда трое таких вот карапузов ждут тебя дома. Надо мной смеются в Сайгоне: «Ты пацифист и плохой патриот, потому что рожаешь девочек: сейчас Америке нужны солдаты».

Мой собеседник замолчал и растянулся на песке.

– Вот блаженство, – тихо сказал он, – лежать – и ничего не бояться, и только ненавидеть время, которое несется, как конь на скачках...

– А если вы туда не вернетесь?

Он пожал плечами:

– Дезертировать? Тюрьма... Кто их тогда будет кормить?

Он поднялся, закурил. Долго с тоскливой нежностью смотрел он на своих девочек. Девочки играли в песочек – так играют все дети мира...

На пляж вышла женщина с мальчиком. Она ждала ребенка, на ней был широкий халат. Она увидела моего собеседника, улыбнулась ему и помахала рукой, а мальчуган бросился к девчушкам.

– Она тоже ждет мужа, – сказал американец. – Я знал его по Сайгону... Он погиб три дня назад, и я не могу сказать ей об этом и вру, что он вот-вот прилетит.

Он поднялся и, слишком широко улыбаясь, пошел навстречу женщине, которая еще не знала, что теперь она вдова.

...Директор информационного департамента правительства штата Том Билли был рожден в джунглях, он тоже из народности кадазан.

– Вот эти центральные улицы, – говорит он мне, – построены пять лет назад. Раньше здесь было море.

Нарядные пяти — и шестиэтажные дома образуют четыре красивые улицы. Действительно, раньше здесь было море. При колониализме здесь был только один двухэтажный ка-

менный дом – там помещался суд. Во время войны Кота-Кинабалу был разбит – сначала японцами, потом союзной авиацией. Городским строительством британцы не интересовались: их волновали каучук и нефть Борнео. За все годы колониального господства Англия не удосужилась создать библиотеки в Сабахе. Только после получения независимости организована первая библиотека. Сьюзен Чжоу, молоденькая директриса, показала мне книжные стеллажи.

– У нас теперь сорок тысяч книг и семь тысяч постоянных читателей. Ну, и у обменного фонда – в других поселениях и в джунглях – еще семь тысяч. Из русских писателей у нас есть Толстой и Достоевский, изданные в Лондоне. Советская литература? Есть две книжки.

И она показала мне «Аленку» – сборник рассказов Сергея Антонова и «Детство Никиты» Толстого. Оба книги изданы на русском языке, прочесть их в Сабахе, где нет ни одного человека, знающего русский, практически некому.

Том Билли повел меня на берег; громадные горы кораллов лежали на набережной – продолжалось наступление на море, кораллами здесь мостят дороги.

Наиболее интересные здания в «Кэй-Кэй» (так сокращенно называют столицу Сабаха) – церкви: Римской католической миссии, американских францисканцев, «святого Мэтью». Римская католическая миссия, например, имеет здесь семнадцать школ: церковь старается заново завоевать позиции, проигранные алчным британским колониализмом. Но молодежь ставит такие вопросы пастырям, на которые ответить правдиво и исчерпывающе отнюдь не просто. Святые францисканцы организуют свою работу по-новому: все учителя в церковных школах – молодые американцы, люди не старше тридцати лет, которые не только изучают со школьниками «гуманизм свободного мира» и «вандализм» коммунистов-безбожников, но и танцуют с ними хали-гали, а по вечерам вместе гоняют в футбол. Однако в дни каникул школьные дворы пусты, а в библиотеке не протолкнешься: молодежь хочет серьезных знаний.

...Рядом с новым центром города, выросшим из моря, как в сказке, стоит деревня на сваях. Есть там старые лачуги, есть новые дома. Место это подлежит реконструкции в ближай-

шем будущем. Но подобные же поселения в джунглях, где свирепствуют малярия и туберкулез, где тысячи кадазанов умирают от эпидемий, пока еще существуют. Правительство пыталось неоднократно вывести кадазанов из джунглей на берег моря, в обжитые районы, но старики не хотят покидать насиженные места, да и китайские купцы, в руках которых сосредоточена почти вся торговля в малайзийском Борнео, всячески срывают попытки правительства приобщить аборигенов к цивилизации: купцу выгоден темный человек, ему можно всучить старый товар за высокую цену.

Здесь, в городке на сваях, я подрядил паренька с длинной долбленой лодкой, и мы пошли в море. Вода тугая, зеленая, прозрачная, и в этой странной воде видны коралловые острова, и кажутся эти острова нереальными и сказочными – так диковинны они и фантастичны. Острова, где живут рыбаки, – маленькие скалы, поросшие каучуковыми деревьями и кокосовыми пальмами, – словно отрезаны от моря тонким ножом; они будто бы висят в тяжелом зное неба. И красота кругом поразительная, и тишина, и ощущение громадного одиночества.

...Поздно вечером я шел по Принс Филипп драйв. На втором этаже «Веннер-отеля» гремел джаз. Я поднялся туда. Свет был выключен, и на маленькой эстраде стояли музыканты. Зал молча и сосредоточенно танцевал шейк.

На эстраду вышла певица. Она была молода и красива. Малайка, ее звали по-европейски – Мадален. Она начала петь, и я поразился ее голосу, низкому, сильному и такому же таинственному, как эта ночь, и как эти джунгли вокруг, и как далекая гора Кинабалу, самая высокая в Борнео, и как тихое, теплое море, полное кораллов и диковинных длинных рыб. Я думал, что зал замрет, что все остановится и станет тихо. Но никто не принимал всерьез Мадален с ее песней, которая называлась «Вчера». «Вчерашнее горе – это не горе, – пела Мадален, – единственное горе – завтрашнее».

– Почему вы здесь поете? – спросил я ее, когда она вернулась за свой столик. – Вам надо петь в театре, где много людей, где свет и где нет пьяных...

Она долго смотрела на меня, а потом ответила:

– Я сегодня не могу, я сегодня занята на ночь...

Пьяный иностранец упал со стула, и ему кто-то зааплодировал. Мадален вдруг засмеялась, а потом засвистела – пронзительно, как свистят наши голубятники. Она обернулась ко мне и сказала:

– Если бы вы только знали, как я вас всех ненавижу...

– За то, что мы мужчины?

– Нет. За то, что вы белые. Мой дядя голландец, он жив, он живет в вашей проклятой Европе. Я хотела поехать к нему, а он прислал мне денег – только чтобы я к нему не ездила. Что вы делаете в наших храмах? Вы там отыскиваете, с кем бы переспать. И всегда сначала говорите про то, что мне надо петь в больших театрах.

К ней подошел здоровенный верзила, тоже из путешествующих или, может быть, отдыхающих здесь после Вьетнама.

– Пошли, – сказал он, – пора.

– Мой бог, – сказала Мадален, – да не торопись ты так: у меня еще один номер. И уплати сначала деньги – я вам не верю...

Она пошла на освещенный «пятак» сцены и запела песню о Париже, в котором никогда не была, но который она «любит и в зиму и в лето, который она любит всегда...».

Я вернулся к себе в «Борнео» и пошел на пляж. Луна была окаянно высокой, и была видна тропинка, что вела через большой газон и заросли к морю, к тому месту, где горел костер. По газону ходил долговязый американец из Сайгона и что-то тихо говорил плачущей женщине, которая теперь, видимо, узнала, что три дня назад стала вдовой.

Возле костра сидел Камбакао вместе с Марианной. У них был хороший улов.

– Ну что, будем ставить сети? – спросил Камбакао. – Я специально ждал вас.

– Спасибо.

– На, – сказала Марианна, протягивая мне целлофановый пакет.

Я развернул пакет – там были ракушки всех форм и расцветок. Я поцеловал ее в лоб. Она засмеялась и побежала к морю.

Камбакао собрал свою белую капроновую сеть и сказал:

– Пошли?

И мы пошли к морю.

Вдруг он остановился и спросил:

– Как вы думаете, мои дети будут счастливее меня? Ну хоть ненамного? Или нет?

Мы поставили сети и вернулись к костру. Марианны не было, я только слышал ее смех где-то вдали, на громадном черном пляже. Возле костра лежал паренек и читал книгу.

– Это Вильям, – сказал Камбакао, – он недавно пришел из джунглей и сейчас строит здесь дорогу и учится...

– Хэлло, – сказал я.

– Хэлло, – ответил Вильям и снова уткнулся в книгу.

– Что вы читаете? – спросил я.

Он молча показал мне корешок – «Максим Горький». Мы переглянулись с Камбакао и улыбнулись.

– Дети будут счастливее нас, – сказал я, вспомнив замечательные слова Горького, – и жить им будет лучше.

...Элегантный, сухопарый, как спринтер, Говард Яп – директор строительной компании – один из наиболее могущественных людей и в Кота-Кинабалу, и в штате Сабах. Он отвечает за выполнение правительственной программы по строительству домов для переселенцев-кадазанов из джунглей. Их пытаются вырвать из дикости и поселить в благоустроенных поселках в окрестностях Кота-Кинабалу.

Говард Яп на своем кондиционированном «мерседесе» повез меня в джунгли, на каучуковые плантации, показал новые магазины, которые построило правительство, – до недавнего времени абсолютно вся торговля в Сабахе была сосредоточена в руках местных китайских купцов.

Потом под обжигающим солнцем, по желтой, тугой, пыльной дороге объехали новые жилые районы в пригороде «Кэй-Кэй» – Кампонг Луенг, Санни Гарден, Тем Хуанг Вилла, Ликус-парк. Двухэтажные домики, вполне милые маленькие квартирки – все это для аборигенов-кадазанов. Поскольку купить дом рабочему практически невозможно – жилье повсюду архидорого, – впервые в Сабахе эти квартирки сдают в аренду за умеренную плату.

– Оборот моей фирмы, – говорит Яп, – сто миллионов местных долларов. О том, что наше жилищное строительство се-

рьезное и перспективное дело, свидетельствуют сто миллионов американских долларов (они в три раза дороже наших), вложенных нашей «сестринской» компанией в Куалу-Лумпур.

Заехали к Япу домой.

– Жена и дети уехали в горы, там прохладней, – сказал он, – так что не взыщите за холостяцкий беспорядок. Если бы мой отец, традиционно воспитанный старый китаец, увидел этот бедлам, мне бы пришлось туго.

Не успели мы выпить ледяной колы из холодильника, как затрещал телефон. Он звонил беспрерывно. Яп говорил то по-английски, то по-китайски, то на малайском языке. Утерев пот со лба, он усмехнулся:

– Бежим отсюда. Нам еще есть что посмотреть.

В машине, включив кондиционер, он сказал:

– Ненавижу говорить по телефону, особенно с соплеменниками, – эти обязательные тягучие церемонии: «Как вы себя чувствуете? Как здоровье жены и детей? Как долго я вас не видел...» И на все надо отвечать. А я чувствую, как время уходит. Словно песок сквозь пальцы.

Ко мне в отель приехал профессор Саймон Ю, ведущий художник Кота-Кинабалу, этнограф и поэт. Он привез в большом «додже» свои акварели.

– Абстракционисты забывают, что у женщин есть глаза, – говорил этот подвижной улыбчивый старик, расставляя живопись на подоконнике. – Мои ученики любят масло, оно дает им больше свободы. Акварель, которую люблю я, требует правды, а правда, с моей точки зрения, выше свободы и неволи. Она выше всего. Я не люблю обилия цвета в живописи. Три-четыре краски должны дать ощущение глубины н пространства. Я отправил трех моих учеников в Европу, в Италию. Я считаю, что без европейской живописи, без изучения великих итальянцев, французов, русских современная живопись в Азии невозможна.

Старик поднялся и быстро пошел по холлу. Мальчишка-бой, поклонившись, сказал:

– Мистер Ю, ресторан закрыт.

Мальчишка сказал это стыдливо – здешние китайцы стыдятся, когда им приходится отказывать старшему в чем бы то ни было...

Саймон Ю не обратил на слова мальчика внимания и распахнул дверь ногой. В ресторане было сумрачно, стулья стояли на столах – натирали пол, – и резкие полоски ослепительно белого света подчеркивали темноту, пробиваясь сквозь алюминиевые жалюзи. На стене, затиснутая безвкусными линогравюрами – упитанные лошади и изящные дамы в амазонках, – висела тонкая и нежная акварель: рисовое поле у подножия горы Кинабалу.

– Вот, – сказал он, – это мое.

Акварель была действительно хороша. Я долго стоял около нее, и, видимо, Саймон почувствовал, что эта картина близка мне и понятна. Он прочитал стихи:

Я бродил вокруг Кинабалу,
Я спал у ее подножий,
Но не мог я одолеть ее вершины,
И тогда я поднялся над ней на самолете
(Это было дерзко, я понимаю).
Но зато теперь я смею говорить:
«Моя Кинабалу».

Мы вышли с ним на берег моря. Несколько девушек из племени кадазан в длинных черных юбках стыдливо купались в зеленом прозрачном море. Они вышли из воды, грациозные, словно нимфы. Мокрые платья подчеркивали стройность их тел. А потом случилось зло, рожденное солнцем: платья, высыхая, в мгновение становились бесформенными хитонами, уродуя прекрасные тела женщин. Девушки возвратились на лужок возле нашего отеля и продолжали подстригать траву. (Англичане отсюда ушли навсегда, но газоны все равно обязаны быть пострижены по-английски: должно сохраняться впечатление толстого, зеленого, мягкого ковра.) Прекрасно, когда газон делает умная машина. Горько, когда красивые, ломкие женщины рубят траву кривыми, острыми кинжалами, и лица их блестят от пота, и дыхание тяжело и прерывисто.

Я думал, что места более знойного, чем Сингапур, нет на свете. Я ошибался: здесь, на Борнео, куда жарче. Я рассчитывал вернуться в Сингапур утренним прямым рейсом на «Ко-

мете», когда еще не так тяжко и можно из прохладного аэропорта Кота-Кинабалу, административного центра Сабаха, нырнуть в кондиционированную атмосферу самолета, а оттуда вынырнуть в кондиционированный и красивый сингапурский аэропорт. Однако по известному закону бутерброда, падающего всегда намазанной стороной вниз, у меня все пошло кувырком. Билета на утренний рейс не оказалось, и даже мой могучий приятель Том Билли, «правительственный шеф информации» из Куалу-Лумпура, не смог помочь мне. Поэтому возвращаться в Сингапур пришлось на следующий день маленьким затрепанным винтомоторным самолетом с тремя посадками – в Брунее, Сибе и Кучинге.

Итак, жара была за сорок. Впрочем, в самолете было около пятидесяти. Летчик запустил моторы. Вместе со мной летели молодые францисканцы – миссионеры из США, преподающие в здешних католических школах, молодые британцы – тоже миссионеры, яростно бранящие «старый» английский колониализм и приветствующие культуртрегерство Альбиона в нынешнем его выражении. Мой сосед, молодой францисканец из Америки, узнав, что я москвич, никак не мог поверить, вертел мой паспорт, сравнивал фото с оригиналом, а потом долго хлопал меня по плечу и говорил, что нет для него более любимого писателя, чем Достоевский, и композитора, чем Прокофьев.

В Кучинге я взял такси и двинулся в город – он расположен довольно далеко от аэродрома. Получить столик в ресторане «Аврора» было невозможно: все забито американцами, англичанами и австралийцами. Особенно много американцев, и не откуда-нибудь, а из Сайгона.

Голодным я отправился в этнографический музей. Искусство даяков резкое, сильное; ясно прочитывается изначалие – наскальная живопись. Зашел в газету, поговорил с коллегами.

Вот именно здесь, возле редакции, я и встретил того человека. Он спросил меня:

– Вы случаем не на аэродром?

– Именно туда.

– Не позволите подъехать с вами?

– Садитесь.

Мы ехали мимо ультрасовременных церквей и таких же мечетей; мимо кинотеатров, где крутят американские и гонконгские фильмы; мимо теннисных кортов, забитых европейцами, американцами и местной китайской буржуазией; мимо военных казарм – город на осадном положении, – и мой сосед, посасывая пустой мундштук, говорил:

– Там было еще одно такси, но в нем ехали две макаки... Я не хотел ехать с макаками...

– Какие макаки?

Он лениво посмотрел на меня:

– Вы что, из демократов? Тогда простите, я имел в виду здешних обезьян.

– Если наш шофер даст вам пощечину, он будет прав.

– Если он даст мне пощечину, я его пристрелю. Но он не даст мне пощечину, потому что не знает нашего с вами языка.

Он был здоровым парнем. У него были очень длинные руки, короткая стрижка бобриком и много мелких шрамов на лице.

– Вы откуда? – спросил я его.

– Из Сайгона.

– По делам здесь?

– Нет. Мы тут отдыхаем. Я летчик. Хочу встретить своих ребят, они должны сегодня прилететь ко мне на пять дней. Здесь можно дешево отдохнуть, а инструкторы сюда еще не добрались.

– Какие инструкторы?

Он засмеялся.

– Наставники. Инструктируют нас, когда мы отдыхаем в Сиднее, Сингапуре, Токио или Бангкоке. Ну, чтобы мы расплачивались с девками, а не прогоняли их утром из номеров, чтобы носили штатское и не болтали, откуда мы, чтобы не дрались в кабаках и всюду ходили по трое, опасаясь провокаций.

– Скоро, видимо, вам придется сматывать удочки из Сайгона?

Он засмеялся.

– Начитались речей конгрессменов? Вы слушайте военных, а не политиков. Мы бомбили «чарли», бомбим и будем бомбить до тех пор, пока они не выберут свободу, такую же, как на Юге.

Он назвал вьетнамцев «чарли» – так американские ультра узнают друг друга: это их пароль – называть народ обидным словечком. Так они называют негра – «нигер», так он назвал даяков «макаками».

– Они никогда не выберут такую «свободу», какая есть в Сайгоне, а вот сайгонцы рано или поздно выберут свободу, какая существует в Ханое.

– Вы что, из этих, левых?

– Я из России. И довольно долго пробыл с солдатами Вьетнама.

Шофер резко затормозил машину возле аэропорта. Я расплатился и вышел. До рейса еще оставалось время, и я пошел в открытый бар – выпить кока-кола со льдом. За столиком рядом со мной появился мой попутчик: он медленно тянул виски. Лицо его до странности изменилось за эти минуты – оно было неподвижным, но временами странная судорога, изображавшая улыбку, растягивала губы, и обнажались желтые неровные зубы.

– Я тоже родом из России, — сказал наконец он.

– Тогда можем говорить по-русски.

– Я по-русски умел только допрашивать. Я умею говорить по-немецки, потому что я родом из Калининграда. Слыхали о таком городе?

– Ну как же... Хороший город.

– Он был значительно лучше, когда назывался Кенигсбергом...

– Это кому как.

– Он еще станет Кенигсбергом.

– Он никогда не станет Кенигсбергом.

– Погодите, мы сделаем здесь свое дело и займемся Европой.

– Кто это «мы»?

– Мы – это те американцы, которым дорога свобода.

– Вы немец, а не американец.

– Это неважно. Я воевал за свободу в Корее, я уже четыре года воюю здесь, скоро нас попросят о помощи в Лаосе, и я стану воевать там, а потом нас попросит о помощи Европа, и мы поможем Европе освободиться от вас...

– А за что вы воевали у нас в сорок первом?

Он вдруг засмеялся, допил свое виски и крикнул девушке, стоявшей за баром:

– Пст! Повторить!

Девушка принесла ему виски, и он, глядя на меня своими маленькими стальными глазками, медленно ответил :

– У вас я воевал против вас.

– За вашу «свободу»?

– Нет, против вашего варварства.

– И для этого вешали детей, расстреливали заложников, сгоняли людей в гетто и взрывали города? Культуртрегер со свастикой?

– Бросьте вы жонглировать свастикой. Я не был в СС, но мы стреляли заложников в Великих Луках и в Барановичах, потому что закон войны диктовал нам это. Сотня тысяч заложников стоит победы.

Он так и сказал – «сотня тысяч заложников», этот борец за «свободу», который убивал в России и в Белоруссии, в Корее и во Вьетнаме, собирается убивать в Лаосе, а потом убивать в Европе, сражаясь за «свободу». (Нацизм – это всегда антисоветизм, который остро чует, где в мире вырастает «гребень» антикоммунизма.)

...Я вспомнил Голливуд. Там как-то под вечер я пошел в район хиппи – «добровольных отверженных Америки». Они спали на тротуарах, подстелив под себя газеты. Я пытался понять причину их «отверженности». Я начал говорить с ними. Мы спорили, смеялись, ругались, соглашались. И я не заметном, как за моей спиной выросла сухопарая фигура женщины. Она легонько ударяла себя сумочкой по бедру, прислушиваясь к нашему спору. А потом сказала:

– И здесь эти красные пользуются свободой, которую им гарантирует наша демократия.

А потом она стала истерично кричать, и акцент ее сделался заметен даже для меня, иностранца. Она кричала с явным немецким акцентом. Мои хиппи притихли: они боятся шума. Подошли два пожилых дяди и молча слушали вопли дамы. А потом подошел безрукий седой человек и сказал:

– Шат ап!

И она замолчала и быстро пошла к автобусной остановке. Безрукий подмигнул мне и сказал:

– Мы их так побили в сорок пятом, что до сих пор очухаться не могут, проклятые наци... Она приехала оттуда в сорок пятом, я ее знаю, эту скотину, не обращай внимания, парень. В случае чего мы им и тут скрутим шею.

– Я один, – продолжал между тем фашист, что сидел напротив меня. – Я не хотел заводить семью, я хотел быть свободным, чтобы мстить вам, чтобы сражаться против вас, где только можно. Наши толстозадые политики возомнили, что мы подчинимся им, если они надумают уйти из Вьетнама. Мы, армия, решим все.

– А когда вы были у Гитлера, за что вы воевали с вашей нынешней родиной – с Америкой?

– Я воевал за того, в кого верил. Я помню – они забыли. Это все прошлое, я живу будущим. Я жду, когда на вас нападут, – это будет день моего торжества.

– Пойдете добровольцем?

– Обязательно.

– Вас мы побили помните как? Всех, кто полезет, побьем. Больно побьем...

– Ладно, – сказал он, – мы еще посмотрим, чья возьмет.

– Посмотрим, – согласился я, – посмотрим.

Его пальцы сжали стакан. Я взял в правую руку большую бутылку из-под кока-колы. Мы сидели друг против друга, напрягшись, и было пусто в этом маленьком баре.

– Хэлло! – услышал я за спиной.

Мне нельзя было оглянуться: пьяный, багровый фашист из Сайгона по-прежнему сжимал в руке стакан. Стул рядом со мной взлетел в воздух, потом с грохотом опустился на пол, а верхом на стуле оказался здоровенный учитель-францисканец из Штатов, что летел со мной вместе из Сабаха.

– Как дела? – спросил он.

– Спасибо, – ответил я, – хорошо.

– Это красный, – сказал фашист американцу. – Он из России.

– Мы знакомы, – засмеялся францисканец, – мы вместе летели. А вы откуда? Из Германии?

Американцы сразу определяют иностранца: у них хорошо тренированный слух.

– Я теперь офицер ВВС США, – ответил фашист, – я из Сайгона. А это красный.

– Тейк ит изи, – тихо сказал миссионер, – полегче, офицер ВВС США из Сайгона.

– Ты что, тоже из красных?

– Я из белых, – ответил францисканец, – но я всегда очень не любил нацистов...

– Из-за таких белых, как ты, погибнет Америка! Там, где надо стрелять в лоб, вы разводите антимонии...

Францисканец медленно поднялся из-за стола. А фашист сидел, и пальцы его побелели, сдавливая стакан. А потом и он поднялся. Мы расходились, не сводя глаз друг с друга. А потом он затерялся в толпе: приехали пять такси с пассажирами, – диктор объявил, что отправляется самолет в Гонконг...

...Францисканец пошел пить пиво, а я остался один, дожидаясь своего рейса, – как и обычно, самолеты здесь либо опаздывают, либо прибывают раньше времени.

В Сингапуре сразу же позвонил редактору поэтического журнала, единственного в республике, профессору Эдвину Тамбу. Пошли с ним в новый, великолепный отель «Малайзия». В холодном кондиционированном зале, попивая зеленый чай, Эдвин читал мне свои стихи. Я рискнул сделать перевод.

Я видел сильных мира сего,
Которые живут в двух ипостасях:
Одна – для друзей,
Другая – для видимости могущества.
(Они похожи на тень
Государственной машины.)
Несчастные люди – эти «сильные мира сего»,
Ибо тень и есть тень.
Ода меняется вместе с той объективностью,
Которая отражена
На воде, на жарком асфальте
И на холоде тюремной стены.
Я понимаю это, и я стараюсь помочь
Бедным сильным мира сего -

Сохранить в себе как можно дольше баланс:
Дружелюбия и официального могущества.
Но, видимо, нельзя пройти Сциллу и Харибду.
А я поэт, и у меня нет канатов,
Чтобы привязать их к мачте.
Да и откуда у меня мачта?
А если б она и была у меня -
Сильные мира сего отнюдь не Одиссеи,
Увы, не Одиссеи.
Бедные сильные мира сего!
Они лишены прекрасной
И недоступной для них возможности:
Терять вещи,
Ненужные вещи,
А может быть, нужные вещи.
Но ведь взамен утерянного
Они получат богатство и могущество,
Истинное могущество,
Ибо они получат дружбу,
Пусть дружбу слабых,
Но это сильнее, чем их нынешнее -
видимое могущество.

Потом он прочитал стихотворение, которое называется «Брат»:

Африканец может быть мне братом
До тех пор, пока он остается самим собой.
Но некоторые, выучив мини-смех и макси-манеры,
Важничают перед тем, как протянуть руку,
Или меряют меня надменным взглядом,
Встретившись в холодном баре.
Или, наоборот, чрезмерно экзальтированы, подвижны,
А в этом проглядывает рабство
И желание спрятать это рабство -
Не убить его и не отринуть,
Но именно спрятать.
Нет, эти африканцы лишь играют в африканцев,
И они не братья мне.

...В моем городе жил клерк,
Который так заботливо готовил себе одежду для смерти,
Что потерял самого себя при жизни.

Мы долго сидели с Эдвином.

– Понимаешь, сейчас появилась тенденция превратить Сингапур в экваториальный Китай, – говорил он. – Я против, когда Сингапур называют «экваториальной Европой». Но я не хочу стать подданным «экваториального Китая». Я за то, чтобы мы были просто Сингапуром, республикой, прекрасным, благословенным островом. Да, действительно, подавляющее большинство населения китайское. Да, нас, малайцев, здесь сто пятьдесят тысяч. Но я считаю: если мы хотим быть независимыми, если мы хотим быть республикой, мы не должны быть слепком – ни Пекина, ни Лондона, ни Тайбэя.

Часть третья

Когда наш громадный «боинг« стало трясти, как лист, а он все летел и летел, несмотря на грозу, я подумал, что демократизм революционного технического мышления ярче всего выражается в вибрирующей мягкости креплений турбин и крыльев. Жесткость в сочленениях единого целого, подчиненного скорости, крепка только на первый взгляд.

Боже мой, как же обманчивы, географические карты! И как чувствуется в них надменность европейцев! Путь из Лондона в Афины – если промерить по карте – кажется более длинным, чем дорога из Сингапура в Австралию. Если на глазок – часа два лёту, не более. А лететь надо семь часов – над океаном. До Перта. Там нужно проходить паспортный контроль. А потом нужно пересекать всю Австралию – это еще шесть часов. Вот тебе и карты с глобусами! Тринадцать часов лёту – через утро и вечер, грозу и туман, солнце и сумрак.

В Перте в наш «боинг«, порядком уставший во время перелета, – грозовой фронт преследовал нас от самого экватора (я вообще отношусь к аэропланам как к живым существам –

у каждого из них своя история), — села японская семья: отец, мать, трое детей. Когда самолет взял курс на Сидней и пассажирам разрешили «закурить, отстегнув привязные ремни», я поразился тому, как слаженно и четко начал работать «механизм» этого маленького японского заоблачного сообщества. Ни суеты, ни громких указаний родителей. Все отлажено: старшая девочка занялась младшими братьями, жена укрыла ноги мужа пледом, а глава семьи углубился в изучение биржевых новостей, набранных петитом на восемнадцатой странице газеты.

Именно тогда я понял, что меня более всего покорило в Японии. Дисциплина чувств и отношений. Я никогда не видел в Японии надутых физиономий. Показывать окружающим обиду считается признаком дурного тона. Человек, который может кричать на других, — либо сумасшедший, либо гений. Толкнуть соседа в метро — повод для трехминутных извинений. Плакать на людях — невозможное для японцев унижение. Ссориться при всех — такого не бывает, такого просто нельзя себе представить! Недосдать сдачу в кафе или в такси? Нет, это невозможно.

Могут возразить: а как же драки в парламенте? Я нашел для себя объяснение этому кажущемуся парадоксу. Политика, вернее — видимые ее проявления (истинная политика свершается в тиши скромных кабинетов руководителей концернов), в Японии стала профессией, «отчужденной» от норм и правил поведения общества. Они, «видимые политики», уподобляются лицедеям; у тех тоже есть сверхзадача — вызывать эмоции у зрителей. Популярность художника определяется тем, как он может влиять на сдержанных, дисциплинированных, собранных, традиционно воспитанных людей! Иной парламентарий пытается достичь этого же.

А семья — это открытая карта; здесь все известно каждому. Отец — бог, мать — его пророк, а дети — их паства. Детям с младенчества объясняют, что мир составлен из разных людей, из разных, далеко не всегда приятных коллизий. Чтобы не разбить лоб в зрелости, надо сызмальства подчинить себя добровольной дисциплине — только тогда обычная неприятность не станет крушением, а встреча с дурным человеком — трагедией...

Самое ужасное – это когда человек, оказавшийся на морозе без варежек, обращает неудовольствие на своего спутника. Если его спутником оказывается жена или отец, они могут простить, да и то прощения такого рода отнюдь не безграничны. А если спутник – чужой человек? Конфликт возможен лишь в том случае, если все мирные пути разрешения противоречий исчерпаны. Впрочем, вряд ли можно считать, что мирные пути исчерпаны, – добро бесконечно, если только к добру стремиться искренне, а не декларативно.

Проблема, стоящая сейчас перед нами, в век возросших человеческих общений (сколько раз на дню мы встречаемся с людьми по работе? с каждым ли мы вежливо поздоровались? не обидели ли мы человека, когда не заметили его приветствия в коридоре редакции?), особенно остро, – и чем дальше, тем больше будет обращать нас к «дисциплине поведения». Японцы к этой проблеме подготовлены достаточно серьезно. Так, во всяком случае, мне показалось, пока я был там.

Я прилетел в Сидней в одиннадцать часов утра, а вылетел из Сингапура накануне вечером. В аэропорту – билет у меня был до Канберры – перелистал все справочники, пытаясь найти хоть одно советское учреждение в Сиднее. Увы, таких учреждений в городе нет. Зато в аэропорту существует постоянная «комната прессы». Великое это дело – коллеги. Я представился. Репортеры, которые дежурят здесь, сказали, что можно связаться с поляками: у них есть консульство в Сиднее.

– Однако, – добавили ребята, – целесообразнее вам позвонить в газету коммунистов, они подскажут, не приехал ли кто-нибудь из советских в Сидней из нашей столицы.

Я позвонил в редакцию газеты компартии «Трибюн». Главный редактор Робертсон прогрохотал в трубку:

– Какая обида! Час назад от меня ушел корреспондент «Правды» Олег Скалкин! Он живет во «Флорида кар мотель», попробуй позвонить туда!

Олег Скалкин – мой товарищ, он тоже из племени востоковедов. Он кончил индийский факультет, я – афганский. Позвонил во «Флорида кар мотель».

– Мистер Скалкин расплатился за номер, он уже уехал в Канберру.

– Давно?

– Минут пятнадцать.

– Может быть, он еще на улице? Грузит багаж?

– У мистера Скалкина никогда не бывает багажа, только маленький портфель. Он уехал, очень сожалею...

На ближайшем же самолете я вылетел в Канберру. Лету до столицы минут тридцать пять. Летел вместе с лондонскими музыкантами из оркестра Барнбойма. Славные ребята; сразу нашли общих знакомых – Светланов, Безродный, Малинин. Престиж советского искусства за рубежом необыкновенно высок.

...Канберра – особая столица, самая особая из всех столиц, которые я видел: маленькие домики в тенистых аллеях, вдоль улиц летают какие-то диковинные птицы, голоса у них неожиданные, то резкие, а то нежные, певучие... Сейчас здесь май – начало осени. Деревья желтые. Небо высокое, грустное, осеннее, а холмы вокруг австралийской столицы похожи на Архипа-Осиповские, кавказские.

Был принят послом, Иваном Ивановичем Тараканoвым; рассказал ему о плане поездки по местам Миклухо-Маклая.

– Будет новая книга?

– Да уж постараюсь.

– Рассказы? Повесть? Сценарий?

– Заранее сказать невозможно. Я давно хожу вокруг темы Миклухо-Маклая.

– Это интересно, очень интересно. И нужно – в плане культурного взаимоузнавания.

Посол пригласил меня вечером на прием, который устраивает в своей резиденции.

– Вы встретитесь с сенаторами и парламентариями, – сказал посол, – они подскажут вам много интересного по Новой Гвинее и Папуа.

Действительно, беседа в резиденции посла с сенаторами О'Бирном и Джордесом от Брисбейна, с членами парламента Джеймсом Бердом и Артуром Коллуэлом от Мельбурна была весьма полезной для понимания ситуации.

– Если мы уйдем сейчас из Папуа и Новой Гвинеи, – говорили мои собеседники, – туда могут сразу же прийти японцы. Япония сильна, ей нужны свои рынки, и они могут быс-

тро завоевать симпатии вождей племен. Японцы могут дать им автомобиль, мотоцикл, рефрижератор и кинокамеру. При этом учтите, что определенные круги в Штатах настойчиво советуют именно Японии занять главенствующее положение в Юго-Восточной Азии. Так что мы, и только мы, должны до конца подготовить папуасов к полной независимости.

(Естественно, с этой точкой зрения я согласиться не мог: не надо «готовить» народ к независимости, надо народу независимость дать.)

Когда речь пошла о том, с кем мне стоит повидаться «в подопечных территориях», австралийские собеседники дали ряд советов:

– В Папуа и Новой Гвинее вам придется привыкать к новому языку, к так называемому «пиджен инглиш», – это ломаный английский с примесями китайского и малайского. «Пиджен» – это производное от понятия «пижон», – пошутил один из собеседников. – Так что будьте пижоном, иначе ничего не поймете. Более всего вам придется, вероятно, общаться с представителями племени моту, чаще их называют «полис моту». Их язык самый распространенный в Новой Гвинее, нечто вроде суахили. Племя малочисленное, но связей у них много, «полис моту» их называют потому, что «моту», как правило, работали полицейскими в порту Моросби. Интересно вам будет встретиться с представителями племени талаи. Великолепные рыболовы, они в свое время учились этой профессии на «Бисмарке», когда он туда заходил. Их лидер – интересный человек, Толеман. Наиболее сильная организация – националисты, руководимые Ioни Валтасом. Интересно вам повидать и спикера Ассамблеи Джона Кайса. Ему пятьдесят лет, мать у него папуаска, а отец француз, причем мистер Кайс считает себя потомком герцога Гиза, сосланного французами на Папуа в конце прошлого века. Вероятно, для того, чтобы составить точное представление о сегодняшней ситуации на островах, не очень-то отличной от времени Маклая, вам целесообразно повстречаться с «плантаторской партией». Она, в противовес националистам, называется «Ол пиплз пати» – «Всенародная партия». Шеф этой партии – австралиец-плантатор Мак Киннон. Черная фигура, скорее даже коричневая. Это правда, и лучше, если вы узнаете эту правду от нас.

– За ваше путешествие! – Рой Ачесон, шеф ТВ Канберры, поднял бокал. – Желаю удачи!

– Спасибо, – ответил я. – По-моему, путешествие уже началось – с вашей помощью.

– Вам может по-настоящему помочь библиотекарь Берг, – продолжались напутствия. – Он известный просветитель на острове, чистый человек. Не бойтесь миссионеров, не относитесь к ним с предубеждением. Их там около трех тысяч, они из Англии, Германии, Австралии. Это лютеране, славные люди. Если вам удастся попасть, – впрочем, я не знаю, – заметил один из моих новых знакомых, – позволит ли это министерство заморских территорий, – на Бугенвил, обязательно посмотрите медные горы возле города Киетта. Подсчитано, что там около миллиарда тонн меди. Разрабатывает медь английская компания. Впервые проведен опыт: восемьдесят процентов администрации составляют англичане, двадцать процентов – папуасы. Крупнейший филиал этой компании находится в Гонконге, а что происходит в Гонконге, всегда покрыто тайной. Ну, а хозяин этой компании мистер Ротшильд.

Утром выехал на машине в Сидней – забронировать место в самолете, идущем в Порт-Моросби; встретиться с редактором «Трибюн» Алеком Робертсоном; найти внука Миклухо-Маклая, который работает в радиотелевизионной компании «АВС»; повстречаться со специалистами «островной проблемы».

Интересна дорога из Канберры в Сидней-прямая, великолепная, широкая, она идет сквозь громадноростые, мачтовые леса, а в этих густо-синих лесах летают розовые попугаи, а над болотами – косяки уток и гусей. Поражает, правда, огромное количество сожженного леса. Лесные пожары – бич Австралии... Сначала эти гигантские синие леса казались мне похожими на наши, русские. Только потом, когда мы остановили машину и сели на обочину, чтобы съесть по бутерброду, я почувствовал какой-то особый аромат.

– Чем это здесь так здорово пахнет? – спросил я моего товарища.

– Лесом. Это же эвкалиптовые леса.

Действительно, лес от Канберры до Сиднея эвкалиптовый. Золото вокруг шоссе, зеленое золото.

Поразительна разница в климате: всего двести миль – в Канберре холодно, а в Сиднее все пляжи полны купающимися. Здесь теплее, чем в столице, на восемь градусов.

В Сиднее я остановился во «Флорида кар мотеле» – прелестная маленькая, недорогая гостиница. Отправился на пароме в Аквариум. Это главная примечательность Сиднея. В громадном аквариуме живут акулы. Можно наблюдать, как к этим страшным гигантским рыбищам спускается человек в акваланге и кормит их из рук.

Пошел на пляж, песчаный, пустынный. Разделся, поплыл. Вода тяжелая, соленая. Плыл я увлекшись, отфыркиваясь, и внезапно захолодел, стукнувшись лбом о железный прут. В ужасе я чуть не выпрыгнул из воды. Огляделся. Оказывается, я уперся в «железный занавес»: пляж здесь отгорожен от океана огромными металлическими прутьями, чтобы акулы не поедали пловцов. Раньше это было здесь довольно часто. Один мой австралийский приятель потом пошутил:

– Мы страна уникальная – только у нас премьеров поедают акулы...

Вечером был у Робертсонов. Небольшая квартирка на окраине Сиднея. Кухня и столовая – вместе. Алек Робертсон и его жена, тоже член ЦК КПА, Мавис готовили скромный ужин на маленькой электрической плите.

– Садись и рассказывай про Москву, – сказал Алек. – Сейчас Мавис дожарит мясо, она всегда запаздывает...

– Когда семья, – сказал я, – состоит сразу из двух членов ЦК, хочется сначала послушать вас.

– Ты счастливый человек, – улыбнулся Алек, – тебя пускают на Новую Гвинею. Никому из наших товарищей туда съездить не удалось – категорический запрет.

Позвонил Рой Ачесон, шеф радио и телевидения в Канберре, попросил дать интервью. Во время пятиминутной программы на ТВ говорили о моей поездке в Папуа и Новую Гвинею, о Миклухо-Маклае.

– Как долго вы намерены пробыть в Новой Гвинее?

– Неделю, дней десять.

– Знают ли в Советском Союзе о Миклухо-Маклае?

– Он один ид самых известных путешественников.

– Вы убеждены, что попадете на Новую Гвинею?

– Странный вопрос, – мне ведь выдана австралийская виза.

– О'кэй, мистер Семенов, желаем вам интересного путешествия!

Один из австралийских друзей рассказал мне занятную историю. Каин, вождь той деревни, где жил Миклухо-Маклай, смог дать своим детям образование. Его внучка написала книгу о Миклухо-Маклае. Она написала, что в их деревне одного из мальчиков обязательно называют Миклухо-Маклай, в знак уважения к памяти великого русского гуманиста. Еще одна интересная деталь: одну из деревень возле Маданга Миклухо-Маклай назвал «Шопенгауэр», другую – «Вагнер». В свое время это пытались приписать немцам, но это сделал Миклухо-Маклай: «Вагнер» – в знак сугубой почтительности к великому немецкому композитору, а «Шопенгауэр» – с юмором, ибо его философию наш великий ученый не принимал.

Интересно также и то, что народ Гвинеи звал Миклухо-Маклая «человеком с луны», ибо он был белым, спокойным и очень добрым.

Беседовал с сиднейскими и мельбурнскими журналистами. Говорили о хиппи – в Сиднее их очень много. Они спят на улицах, едят на улицах, любят друг друга на улицах. Австралийские собеседники выдвинули интересную концепцию: хиппи, которые отрицают всякую организацию, на самом деле уже состоявшаяся всемирная организация. У этой организации нет лидера, но он мог бы появиться, – в нужный момент и в нужном месте.

(На сиднейских пляжах по песку и траве, среди людей ходят голуби и чайки. Чайки берут хлеб из рук – они здесь ручные.)

...После телевизионного интервью ко мне в номер звонили разные люди. Позвонил и внук Миклухо-Маклая – Пол, и профессор Лейкок из университета, и миссис Нестор – милая Мария Михайловна Нестеренко: она живет на окраине Сиднея, на Варвик-стрит, в Станморе. Ее судьба интересна. Семья Нестеренко приехала сюда в 1913 году, потому что брат,

Анатолий Михайлович Степанов, революционер-большевик, бежал из сибирской ссылки в Австралию. Он-то и вызвал сюда семью. Приехали они в Брисбейн. На пристани их встречал высокий красивый мужчина, который представился Томом. Фамилия у Тома была русская – Сергеев. Это был товарищ Артем, замечательный ленинец-революционер. Он встретил перепуганных, голодных эмигрантов из России, сказал родителям, что Анатолий сейчас на железной дороге, занят, поэтому не мог приехать.

– Я сам вас отвезу в «Кенгуру-Пойнт», — сказал Артем.

«Кенгуру-Пойнт» – так называли в то время иммиграционный оффис. (Когда первые европейцы увидели это диковинное животное и спрашивали перепуганных аборигенов: «Что это такое?» – те отвечали: «Кен гуру» – «Не понимаю». С тех пор это животное стало называться «не понимаю» – «кенгуру».)

В «Кенгуру-Пойнт» было много эмигрантов. Два сорта русских эмигрантов приезжали в Австралию: те, которые бежали от царского самодержавия, и те, кто приехал за длинным рублем.

– «Политики», – рассказывает Мария Михайловна – жили особой жизнью. Давали свои концерты: у нас были свои собрания, праздники. Душой «русских австралийцев» был Артем, человек нежный, иначе его и не определишь. Он жил сначала у нас, а потом поселился рядом с нашим домом, вместе с Гордоном Брауном. Гордон тоже рабочий, после стал членом парламента. Они умели и работать, и поднимать рабочих на демонстрацию. Умели они и шутить. Как-то, помню, взяли у нас простыни, сшили из них балахоны и ночью играли в привидения:.. Потом Артем переселился за город. Подруга Тома была немкой, звали ее Минни. У нее была дочка Лили, не совсем здоровая, и Артем был с ней особенно нежен. Артем, работая, умудрялся помогать всем русским в Австралии. Он выступал и как переводчик – ходил с нашими неграмотными старухами и стариками и к врачу, и в полицию; он был настоящим интеллигентом, он никогда не стеснялся помочь неграмотным, растолковать им, объясниться вместо них с гогочущими чиновниками, которые тогда издевательски смотрели на наших людей.

У нас на чердаке Артем оборудовал типографию подпольной газеты «Девятый вал». Я помню, что кроме брата и Артема приходил еще товарищ Иордан. Вышло тогда всего два или три номера газеты. Потом, говорят, эта газета выходила в Брисбейне, там осело особенно много русских.

Артем тогда жил в местечке Купейс-плейн. Это ферма, там маленькой Лили было лучше, чем в городе. У Артема была лошадка, он на ней ездил на станцию. Сначала-то они жили в палатке – он, Минни и дочь, потом построили хижину, мы ему все помогали. Артем был сезонным рабочим на бойне. Тогда была безработица, устроиться на постоянную работу было невозможно. Иногда он приходил к нам переночевать, – если поздно кончал работать и не мог добраться к себе. Я помню, как он организовал манифестацию в 1914 году против войны. Главными организаторами были он, его австралийский друг Джимми Куинтон и Гордон Браун. Я помню, как они себя приковали цепями к дереву, чтобы полиция не могла их прогнать с площади. За это, между прочим, их потом и посадили.

В 1919 году в Австралию приехал Петр Симонов, представитель из Москвы. Он поселился в Монт-Морган, на железной дороге. Вместе с Петром Симоновым приехали Уткин и Зузенко. Зузенко огромный, семи футов роста, басистый. Они приехали, повстречались с нашими людьми, поспрошали, кто хочет возвратиться домой. Многие захотели, но власти им запретили выезд. Тогда люди решили устроить воскресный марш. Полиция разрешила устроить такой марш, но без красного знамени. Вот и пошли – русские впереди, австралийские рабочие сзади. Полиция сопровождала их на лошадях. Зузенко все-таки поднял красный флаг над головой. Разогнала их тогда полиция, крепко людей побили. (Я была взбалмошной девчонкой. Помню, как-то сказала Артему, что не хочу быть большевичкой, хочу быть анархо-синдикалисткой. Артем посмеялся: «Ты сначала школу-то заверши, анархо-синдикалистка!»)

Когда кончился тот марш, мы вернулись домой. Вдруг прибежал Зузенко, закричал: «Закрывайте окна, идет полиция!» Мы закрыли окна, двери. Несколько десятков полицейских пришли в наш район, стали врываться в дома. Раздался выстрел. Кто стрелял, до сих пор неизвестно. Однако назавтра газеты написали, что это стреляли большевики из дома

Степановых. Из-за этого меня лишили права учиться. Арестовали Зузенко, Рязанова и Розенберга. Потом, впрочем, их выслали из Австралии.

Я слыхала, что Зузенко был впоследствии капитаном на пароходе, который курсировал между Ленинградом и Лондоном.

Когда брат Анатолий уехал в Советский Союз (они уехали вместе с Артемом), мы тронулись следом за ними на родину. Мама, правда, осталась в Сиднее, она болела. Приехали мы в Харбин, оттуда через всю Сибирь в Москву. Ехали три месяца. Было лето, поэтому не завшивели – купались во всех речках. Поезд пройдет километров сорок и станет, а мы – купаться. Приехали в понедельник, в тот день в катастрофе погиб брат Анатолий, я осталась одна и вернулась к маме в Австралию.

Мой младший брат Костик видел Ленина. Я не помню сейчас, где это было – то ли в «Метрополе», то ли он был у Артема в Кремле. Вошел Ленин, погладил Костика по голове, пошутил: «Молодой австралиец...» А Костик плакал – он не мог решить арифметическую задачу: «Вы купили в лавке семь фунтов говядины, три отдали соседям, а оставшееся разделили на восемь частей». «Я не понимаю, – плакал Костик, – что такое говядина?»

...Мария Михайловна смотрит на меня с нежностью, угощает домашним печеньем. Домик у нее стереотипный, комнаты маленькие, кухонька крохотная, туалет на улице – туда нужно идти через огородик (совсем как в маленькой деревеньке!). На огороде она сажает редиску, морковь, немножечко картофеля – пенсия-то крохотная. Подрабатывает: приезжают наши делегации – устраивается переводчиком. Когда спрашивает о Москве, глаза ее увлажняются, и делается мне мучительно жаль эту одинокую маленькую женщину в такой далекой Австралии, где люди, как я был убежден в детском саду, ходят «вниз головами»...

Завтра утром вылет в Порт-Моросби. Багажа у меня нет, – сумочка с рубашкой, носками, мылом, пленкой и диктофоном. Придется терпеть и на Новой Гвинее «безгалстучного и бородатого, словно Че, красного писателя», как писали здесь в газетах.

Остаток дня провел за городом – укатили в «Африкэн Лайон Сафари». Неподалеку от естественных водопадов, в ста

километрах от Сиднея, организовано сафари. Вас пускают на машине («Только не вздумайте открывать стекла!») за высокую решетку, и вы ездите по аллеям; иногда останавливаетесь, не можете двигаться – на асфальте лежат львы и едят мясо. Их здесь много, машин они не боятся, подпускают не то что на метры – на сантиметры; подъезжайте и фотографируйте на здоровье усатых, добромордых, очень спокойных и снисходительных царей природы.

«Пожалуйста, не ремонтируйте сами вашу машину, если она остановится, – гласит плакат у въезда. – Дождитесь техпомощи!»

Сидней. Семенов.
Редакция «Правды»
(передано по телефону):

«В авиакомпании «Квонтас» молодой клерк переписал мой билет заново:

– Из Порт-Моросби вы отправляетесь в Брисбейн, а затем через Дарвин в Сингапур. Где можно найти вас в случае чего?

– «Флорида кар мотель».

Через три часа в моем номере раздался телефонный звонок. Звонил клерк из «Квонтаса». Он спросил:

– А у вас есть въездная виза?

– То есть?..

– После посещения Новой Гвинеи вам следует получить въездную визу в Австралию.

– А что, Папуа и Новая Гвинея уже стали самостоятельными государствами? Или они по-прежнему часть Австралии?

Клерк посмеялся:

– Формальность, пустая формальность... Вам следует посетить оффис иммиграции – они все объяснят.

Офицер иммиграции оказался славным парнем. Он написал на листочке бумаги: «Вам не требуется въездной визы после посещения Новой Гвинеи и Папуа». Дата. Подпись.

– Значит, нет проблем? – спросил я. – Можно лететь?

– Можно. Только перед этим надо посетить министерство внешних территорий.

Назавтра с утра я был в министерстве внешних территорий.

– Откуда вы? Из Москвы?! Понятно. Только вы обратились не по адресу. Вам надо получить въездную визу в иммиграционном оффисе.

– И тогда все будет в порядке?

– В полном порядке.

– И я смогу полететь в Порт-Моросби?

– Конечно...

Кладу перед господином заключение иммиграционного офицера. Он читает его вдоль и поперек. Он чуть не просматривает его не свет, и нет уж на его лице обязательной улыбки, исполненной демократического доброжелательства.

– Заполняйте анкету, – говорит он мне сухо.

Имя, отчество и фамилия – это, так сказать, привычное. А вот рост, цвет волос и глаз, «особые приметы» – сие мне в новинку.

– Оставьте ваш телефон, мы войдем в контакт с вами.

Наутро раздался звонок: мистер Брезли, ответственный сотрудник министерства внешних территории пригласил меня приехать к нему, что я и сделал.

– Вы не можете посетить Папуа и Новую Гвинею, – сказал мистер Брезли, – таково решение министра Барнса.

– Почему?

Мистер Брезли молча развел руками...

...На галерее прессы в парламенте в то утро было тихо и сонно: вероятно, ничего интересного в сегодняшних заседаниях не предвиделось. Наш пресс-атташе собрал нескольких газетчиков. Мы стояли в коридоре, и я рассказывал им о «шутках» Барнса, министра «внешних территорий». Толпа журналистов росла. Высокий седой старик спросил меня:

– Чем мотивирован отказ?

– Ничем.

– Вам обязаны были объяснить причину. Сейчас мы устроим вам звонок к министру Барнсу, и вы зададите ему только один вопрос: «Почему?»

Журналисты действительно устроили звонок к министру Барнсу. Они стояли вокруг стола и напряженно ждали.

– Мистер Барнс, с вами говорит советский писатель... Пожалуйста, объясните мне, почему я не могу полететь в те

места, которые мне необходимо посетить в связи с работой над новой книгой?

– Мы не объясняем причин.

– Почему? – прошептал стоявший рядом журналист. – Еще раз спросите его: почему?

– Почему?

– Мы не объясняем причин, – повторил министр Барнс.

Наутро все австралийские газеты вышли со статьями, посвященными отказу Барнса пустить советского писателя в «подопечные территории». Газета «Австралиэн»: «Барнс строит баррикады на пути русского. Австралийское правительство отказало русскому писателю посетить Новую Гвинею и Папуа». «Эйдж»: «Правительство не хочет сказать, почему Семенов не может посетить Новую Гвинею». «Сидней морнинг геральд»: «Гвинея забаррикадирована для советского писателя». «Дейли телеграф»: «Красный писатель не может посетить Папуа». «Новая Гвинея возмущена баррикадой на пути писателя, – писал в «Геральде» Дуглас Локвуд, главный редактор газеты «Саус пасифик пост», издающейся в Папуа. – Папуасы и новогвинейцы, белые и черные, возмущены решением правительства, запретившего русскому писателю посетить Новую Гвинею. Они возмущены, поскольку это решение было принято без всякой консультации с ними... Правительство разрешало посетить Новую Гвинею и Папуа представителям расистских государств и запретило посетить территорию советскому писателю. Посол Южно-Африканской Республики Марри посещал Новую Гвинею в прошлом году».

Один из лидеров народа Новой Гвинеи, мистер Оала Оала-Раруа, заявил: «Мы не хотим нести ответственность за подобные действия Канберры. Мы верим, что мы будем свободной страной. Я считаю, что здесь должна быть свобода и наших действий». «Дейли миррор» опубликовала редакционную статью «Комплекс шпионажа»: «Мистер Семенов хочет собрать материалы о русском ученом в Новой Гвинее, который жил там в прошлом веке. В этом нет ничего подозрительного, и он должен получить разрешение отправиться в те места, которые он хочет посетить». «Сидней морнинг геральд»: «Русский писатель атакует Барнса: «Все время у вас повторяют, что в Советском Союзе нет свободы для писателя, – отме-

тил «красный». — Барнс имел возможность показать образец свободы для писателя здесь и пустить меня в те места, о которых я собираюсь писать». Эта же газета передает сообщение: «Политические деятели Новой Гвинеи м-р О.Оала-Раруа и П.Четертон заявили, что «отказ австралийского правительства пустить русского писателя в Папуа и Новую Гвинею шокировал народ «территории»».

Ночью заместитель лидера парламентской оппозиции мистер Бернард отправил телеграмму министру Барнсу с просьбой разрешить посещение Папуа и Новой Гвинеи советскому писателю. «Я убежден, – писал м-р Бернард, – что у Семенова есть веское основание для посещения территории».

Весь этот вечер и все утро в моем номере не умолкал телефон, звонили разные люди. Многие из них были уверены, что Барнс будет вынужден пересмотреть свое решение. Все австралийские газеты выступили против него, большинство профсоюзов, писатели, союз журналистов...

Поздним вечером на стоянке такси я искал пять центов, чтобы позвонить по телефону. Старик, судя по одежде, священник, протянул мне монету и сказал:

– Это с извинением от меня за нашего министра..

Барнс отказался пересмотреть свое решение. Мне было окончательно запрещено посетить Папуа и Новую Гвинею. Пресса пусть себе пишет, профсоюзы – валяйте возмущайтесь, а я его не пущу. Вот вам великолепнейший образчик демократии «свободного мира». Газеты писали: «Теперь русские имеют право обратиться в ООН, в Комиссию по опеке». Но даже это не испугало Барнса.

Так что же он так боится показать в Новой Гвинее и Папуа не мракобесу из Южно-Африканской Республики, а советскому гражданину?

То, что за годы своего владычества колониальные державы так и не помогли ее народу создать письменность? То, что заработная плата на плантациях, дающих громадные прибыли монополиям, нищенская? То, что жизнь там обрывается, как правило, в возрасте сорока лет? То, что тридцать процентов детей умирают, не дожив до пятилетнего возраста? То, что каждая восьмая женщина умирает во время родов? То, что на всю Папуа и Новую Гвинею работает всего двести врачей? Обо всем

этом вы можете прочесть в статьях и книгах, опубликованных в Сиднее. Видимо, не только этого боится министр Барнс. Господин министр страшится нашей правды в решении национального вопроса. «Красный писатель» рассказал бы об этой нашей великой и чистой правде, если бы его спросили.

Можно ставить барьеры на пути советского гражданина в Папуа и Новую Гвинею. Нельзя поставить барьеры на пути правды – путь нашей правды поверх барьеров, всех и всяческих.

Океан начинался волной. Она шла издали – пологая, медленная. С берега ее замечаешь внезапно, когда упругий холм воды вдруг зеленел и пузырился изнутри.

Я отчетливо видел, как нарастала скорость многотонного зеленого чудовища: лихачи на досках, поймавшие эту прибойную, отчаянную волну, неслись на белый песок пляжа, балансируя чуть впереди пенного, цвета взбитых сливок, гребня. Гребень был острым, и в этой остроте и пенном его цвете крылась какая-то несовместимость: видимо, соотношение цвета и формы определяет гармонию не столько в живописи, сколько в реальности, окружающей нас. Мы не замечаем этого в привычном, а здесь я лежал на длинном «биче» Сиднея и был один, и мне ничего не оставалось, как присматриваться к непривычному и ждать восьми часов, чтобы поехать к Полу Маклаю – внуку Миклухо.

Трое хиппи – два парня и девушка – сидели рядом. Одеты они были в дырявые джинсы и штопаные-перештопаные майки. Девушка была подстрижена почти наголо, ребята завиты и припудрены. Грязным, – а хиппи полагается быть грязными, – здесь быть трудно: океан. Поэтому мои хиппи, выкупавшись, достали из своего тряпья парфюмерную сажу и деловито вымазали себе лица и шеи, чтобы выглядеть заскорузло-немытыми.

Девушка вытащила из замасленной и порванной сумки крокодиловой кожи два яблока и, разрезав их финкой, тщательно наточенной и блестящей, на четыре части, поделила яблоки между своими товарищами, а дольку молча бросила мне.

– Потянуло на бородатых? – спросил ее один из ребят.

– Нет, просто мне его жаль: лежит на пляже в брюках – у него ж нет плавок.

– Это точно, – согласился я. – Как вы угадали?

– У нее инфракрасные зрачки, – усмехнулся второй парень, – этот козленок всех видит насквозь.

За троицей вскоре приехал какой-то парень в строгом синем костюме и увез всех в своем открытом «шевроле», громадном, как катафалк. Здесь теперь хиппинят часто увозят к себе в загородные дома сильные мира сего: развлекаются, а может, загодя присматриваются к тем, кто прокламирует себя как новых мессий Старого Света.

Такси в Австралии дешевые, как у нас: добраться до центра можно за доллар. Центров два. Один по вечерам пустынен н гулок: узкие улочки зажаты мощными коробками небоскребов. Будто квадратные луна, горят по ночам в самых верхних этажах плоские окна, и это еще больше подчеркивает пустынность и тишину. И даже собственные шаги кажутся какими-то зловещими.

Второй здешний центр малоэтажный, веселый, шалый, иллюминированный, поющий, целующийся, плачущий, мордобьющий, населенный по ночам хиппи, влюбленными и просто веселыми людьми, – словом, прекрасный, живой и юный и очень какой-то не австралийский: юный немчик произносит речь, прижавшись к стеклу книжного магазина, требуя поддерживать Брандта, который противостоит Штраусу и Кизингеру; старый раввин зазывает прохожих спеть вместе с ним пару псалмов; тощий британец, зовет сплотиться – «для отпора Москве»; а хиппи, загородив уличное движение, скандируют, пританцовывая: «Вьетнам – йес, янки – но!»

А вот Пол Маклай, внук Миклухо, настоящий австралиец: седой, сильный, с громадными, качаловскими голубыми глазами, говорящий на прекрасном австралийском языке, именно австралийском, иным он и не может быть у главного диктора радио и телевидения Австралии.

(— Вы говорите по-австралийски? – спросили меня в день прилета журналисты в аэропорту.

– По-английски? – машинально переспросил я.

– Нет, по-австралийски. У нас австралийский язык, а не английский. Нация должна говорить на своем языке!)

Пол Маклай живет в центре, на улице Маклея.

– Маклая?

– Нет, – поправляет он, разливая воду в стаканы со льдом, – это Маклей, он не дедушка, совсем не дедушка. Разве политик может быть гуманистом, каким был Николя Николяевич?

Из окон квартиры Пола виден залив. Ночью паруса лодок на нем безжизненны и серы, словно крылья погибших чаек.

Джейн, жена Пола, кажется голубой из-за цвета тревожно-синих глаз. Она ставит пластинку – протяжную русскую песню, и если закрыть глаза, то кажется, будто ты в Весьегонске, и ранний осенний закат стоит над болотом, и пахнет травами, что примяты первыми холодами, и отчаянно-горько стонет выпь, и слышна далекая песня, ведут которую высокие бабьи голоса, и трогают первозданную тишь осторожные пальцы гармониста...

– За Россию, – предлагает Пол.

– Спасибо, – говорю я, и мы пьем, и я предлагаю: – За Австралию!

– Спасибо, – говорит Джейн, и ее удивленные, тревожные глаза делаются беззащитно-добрыми...

Джейн – актриса. Театров в Австралии в общем-то нет – в том смысле, в каком мы понимаем театр. Несколько любительских студий – и все, никакой помощи от государства. Пожертвований тоже никаких – это невыгодно, бизнес четко различает сферы приложения капитала.

Впрочем, своего кинематографа здесь тоже нет. Я поначалу не мог в это поверить. Природа Австралии создана для фильмов. Громадные эвкалиптовые леса; океан – тяжелый и легкий, черный и белый, огромный океан; тропики возле Дарвина, нежная ночная изморозь на изумрудных газонах возле озер, красивые, рослые люди, – здесь ли не снимать кино? Нет, не снимают, – торговать подержанными машинами, оказывается, куда целесообразнее.

Джейн готовит роль: послезавтра у нее проба. Надо, чтобы ее этюд понравился режиссеру ТВ. «Это очень важно, пробиться на телевидение, – говорят Пол, – просто важнее важного!»

– Едем к Николя Николяевичу, – предлагает Джейн. – Ничего, я буду работать над ролью завтра.

Мы садимся в махонькую машинку Маклаев и едем к маяку: там, на территории военно-морской базы, стоит двухэ-

тажный дом, который построил по своим чертежам Николай Николаевич Миклухо-Маклай, дед Пола.

– Запишите название базы, Джулиан, – ухмыляется Пол.

– Нет, – отвечаю я, – не надо. Во вчерашнем номере «Сидней морнинг геральд» появилась статья: «Семенов – не шпион». Слава богу. Я не хочу портить репутацию.

Дом стоит на самом берегу. На первом этаже пахнет канатами и дегтем: так всегда пахнет в обиталищах путешественников. На стене – монограмма Миклухо-Маклая. Нынешняя хозяйка, любезно разрешившая нам осмотреть свое жилище, удивлена:

– Здесь жил русский?! Правда? Настоящий русский? Маклай? Но ведь это же австралийское имя?.. Нет? Интерестинг. Эти две комнаты я хочу переделать, а в этой, большой, ничего не тронуто.

Луна обрушилась в океан стволом белого дерева. Когда налетает ветер, ствол обрастает белыми трепещущими листьями. Стихает – и листья погружаются в толщу воды, чтобы снова возникнуть, как только теплый бриз тронет вороненую гладь океана.

Дом похож на те, которые стоят в Грузии, на побережье Черного моря, – на высоких балках, чтобы внизу для людей была тень.

– Рассказывают, что дедушка любил играть на пляже с ребятишками, – говорит Пол. – Он вообще любил детей.

На пляже стоит пальма. Она старая, какая-то растрепанная, приземистая. За ней хорошо прятаться. Наверное, дети прятались за этой пальмой, а Миклухо-Маклай подкрадывался к ним, а они замирали от счастливого ужаса и толкали друг друга острыми лопатками, чтобы вовремя побежать за палочкой-выручалочкой, радостно визжать, и падать в теплый белый песок...

Мы едем в актерский клуб. Содержит его Вадим, русский. Клуб так и называется «К Вадиму». Джейн успевает лихо гнать машину и наизусть читать строчки из дневника жены Миклухо-Маклая: «Мой несравненный сегодня почувствовал себя немного лучше. Я молю бога за моего несравненного».

Внуки передали в дар библиотеке все записки деда и бабушки. Их бабушка, дочь австралийского аристократа, писала, что она никогда не забудет Россию, где к ней все были так добры...

...Вадим говорит со своей матушкой по-русски. Матушка упарилась у плиты, фартук на ней весь в масляных пятнах, во-

лосы спрятаны под косынку – белую в черную крапинку косынку: наша косынка-то, родная.

Мне очень странно слышать здесь, в Австралии, говор Вадима:

– Маман, угостим соплеменника пельменями по-стахановски?

Маман очень старается, но пельмени у нее не выходят – они жареные, твердые, да и мяса в них маловато.

Здоровенная, пьяная, краснолицая актриса, присев за столик вместе со своим спутником – крохотным осветителем нищей любительской студни, стала кричать мне:

– Почему они не пустили тебя к папуасам?! Я сейчас закажу разговор с Канберрой! Я позвоню этому нашему подонку Барнсу! Он должен дать тебе визу! Я скажу ему, что он подонок, хоть и министр. Все министры подонки!

Ее спутник оказался маленьким, но крепким. Он взял ее за руку и тихо сказал:

– Не ори, Офелия! Все всё слышат! Ты хочешь заработать кучу неприятностей? Я тебя не прокормлю, ты прожорливая, я не хочу, чтобы тебя отовсюду выперли!

– Я организую свою труппу! – не сдавалась Офелия. – Я сыграю Черчилля – мы с ним похожи! А ты – мышь! Шептун!

По улицам ходили усиленные наряды полиции: на завтра студенты назначили антивоенную демонстрацию. Девушки продавали редким ночным прохожим маленькую брошюрку «Что надо знать, если вы арестованы?». «Ни в коем случае не отвечайте на побои полиции, – напечатано в книжечке. – Не сопротивляйтесь, когда вас забирают. Не вступайте в пререкания с полицией, несмотря на их возможную грубость...»

...В мокром асфальте улиц отражалось небо. Оно казалось жухло-серым, хотя на самом деле рассвет был голубым, высоким и чистым. Лунный серп постепенно таял, контуры его становились размытыми. Я улыбнулся, вспомнив нежный рисунок-шарж Игина на Михаила Светлова. Лунный профиль поэта был так же, как и этот, австралийский, чуть улыбчивым, но очень грустным.

Мы остановились возле подъезда дома Пола Маклая. Паруса лодок в заливе начали оживать, можно было уже разли-

чить их цвета: белый, красный, желтый. Грустно и одиноко переаукивались басистые пароходики. Южный Крест был зыбким и каким-то странно электрически переливным. Во дворе тягуче мяукала забытая кошка. Одиноко горело чье-то окно, и сонно ворковали голуби. Солнца еще не было, но его близкое появление угадывалось по тому, как алюминиево холодно высветились редкие облака...

– Знаете, – сказал Пол, – я австралиец, и только австралиец, и я очень, до последней капли, люблю мою родину, но когда при мне говорят о России, я понимаю, что такое ностальгия, и мне так хочется хоть раз увидеть сосну, поле ржи и Волгу, в которой по ночам отражаются звезды...

Из Сиднея я вылетел, окруженный толпой журналистов.

– Вы возненавидели Австралию, мистер Семенов?

– Я полюбил Австралию! Почему я должен возненавидеть Австралию?

– Но ведь вас не пустили в Новую Гвинею!

– А при чем здесь Австралия?!

– Может быть, вы хотите поехать к аборигенам?

– Вы гарантируете, что министерство заморских территорий пустит меня к аборигенам?

– Нет, – ответил Галифакс из «Сидней морнинг стар», – этого, к сожалению, мы вам гарантировать не можем.

– Вы ненавидите министра Барнса?

– Я не испытываю к мистеру Барнсу чувства жаркой любви.

– Правда ли, что вы являетесь советским «агентом 007»?

– Мой кодовый номер 001, – шучу я. – «Советское – значит отличное!»

– Чего вы желаете себе, мистер Семенов?

– Здоровья детям и несколько хороших книг.

– Нет, это мы желаем здоровья вашим детям и несколько хороших книг!

В Сингапуре, поскольку мои «транспортные» деньги кончились, я пересел на пароход «Иван Гончаров». Штормило. По трапу, сброшенному на маленький катер моего друга Чжу Ши, я с трудом взобрался к своим, обнялся с капитаном, пошел есть борщ – красный, горячий, до краев, с чесноком; вы-

пил водки; вошел в маленькую каюту штурмана, упал на койку, уснул и спал двое суток без просыпу...

...В Нагою мы прибыли через восемь дней. В Японии уже было лето – прошло два месяца, как я улетел отсюда. В Нагое меня ждал сюрприз. «Иван Гончаров» менял курс – вместо Владивостока его «завернули» на Алжир! Значит, мне еще два месяца болтаться по морям?! А дома ждут! Надо выполнять свои обязательства перед издательствами и киностудиями. Что делать?

...Красивый, улыбчивый инспектор портовой полиции, великолепно говорящий по-русски, спросил меня, поднявшись на борт:

– Как вы думаете добираться домой, Семенов-сан, если у вас нет обратной японской визы?

– Знаете, что значит по-русски «мольба»?

– Как правило, у нас молят женщину.

– Значит, вас молить бесполезно? Что же мне делать?

– Нужна взятка.

Инспектор полиции улыбнулся, присел к столу, выпил рюмку коньяку, предложенную капитаном нашего «Ивана Гончарова», милейшим Валентином Георгиевичем Дьяконовым, и повторил:

– Итак, нужна взятка. Ею будет ваша книга, изданная «Хаякава паблишинг хауз».

Улыбка сошла с его лица также неожиданно, как и появилась.

– Придется вам сейчас звонить к министру юстиции, Семенов-сан. Торопитесь, ибо сегодня пятница, а в воскресенье «Гончаров» уходит отсюда.

Полицейский инспектор выдал мне пропуск в порт, и я отправился вместе с капитаном к японскому агенту «Морфлота» – звонить в Токио. Инспектор полиции был вместе с нами, весело бранил бюрократов из министерства юстиции и из оффиса иммиграции. Побеседовав с Токио, он попросил меня ответить на ряд вопросов, вручив мне при этом бумажку, дающую право обращаться в суд, если меня не удовлетворит решение министра юстиции.

– Лучше бы мне не обращаться в суд.

– Но все-таки хорошо иметь такую возможность.

– Я бы предпочел вместо этой возможности обычную транзитную визу на двадцать четыре часа...

Я позвонил в наше посольство. Товарищи обещали сразу же включиться. Связался с представителями партии «Комэйто», с «могучим Ватанабе»; позвонил друзьям-журналистам.

Потекли шершавые часы – секунда за секундой. Тревожные были часы, потому что из Иокогамы завтра утром отплывет теплоход «Серго Орджоникидзе» и место там мне обещали забронировать. А тащиться домой два месяца – через Европу и Азию, через все океаны – мне не светило. Без десяти шесть позвонили из Токио:

– Семенов-сан, решением министра юстиции вам выдана виза в Японию сроком на месяц.

Спасибо вам, милые мои японцы, на месяц не надо, мне всего лишь на восемь часов!

Распростившись с Дьяконовым, я взял такси, доехал до станции железной дороги, благо поезда здесь ходят через каждые полчаса, и отправился в Иокогаму. Приехал туда в полночь. Никто по-английски не говорит – полная трагедия. Кое-как с помощью полиции нашел адрес агента «Морфлота» Айзава-сан, а уже два часа ночи, и, естественно, в оффисе никого не было. Но – слава японской обязательности – на двери висела записочка на японском и английском языках: «Семенов-сан, передайте эту записку шоферу такси, он отвезет вас прямо в порт. Ваш капитан предупрежден. Счастливого плавания. Ваш Айзава».

Шофер отвез меня в порт. Я поднялся на борт нашего «Орджоникидзе». Все спали. Вахтенный провел меня в каюту. Я снова спустился на причал и пошел в город – попрощаться с Японией. Бросил в море несколько монеток, чтобы еще раз вернуться в Страну восходящего солнца. Нашел маленький кабачок, который открыт всю ночь, поел мои любимые суси. Повар, милый парень, неплохо знающий английский, предложил показать Иокогаму. Так и не сняв своей поварской формы – белая курточка и крахмальный колпак, — он прыгнул в свою малолитражку, дождался, пока залез я, и повез меня в город.

Наутро наш теплоход медленно отваливал от пирса. Это поразительная картина – уход кораблей из Японии. За полчаса провожающие, собравшись на пирсе, начинают бросать тем, кто отплывает, трехцветные бумажные гирлянды. Один

конец держит тот, кто остается в Японии, другой – в руках того, кто отплывает. Кажется, что пароход накрепко привязан этими разноцветными гирляндами к пирсу. Кажется, что напрасно корабль так грозно гудит, напрасно басисто отфыркивается, напрасно он запустил двигатели на полную мощность – разве сможет он отплыть?..

...Рядом со мною мальчик держит в руках гирлянду. Его отец и мать в кимоно стоят на пирсе и судорожно держат свой кончик красно-сине-желтой бумажной ленты. Мать не плачет; плачут только те, кто помоложе и в европейском платье. А настоящая старая японская мать, даже если провожает единственного мальчика на континент, на людях плакать не будет. Она будет заученно улыбаться, чтобы мальчику не было больно и чтобы отцу мальчика не пришлось испытать смущение перед окружающими за женщину, которая так недисциплинированна, что не может «сохранить лицо»...

Ах, как это прекрасно было и грустно, когда начал медленно отваливать корабль, и стали рваться эти цветные ленты, и стало уносить их ветром и бросать в зеленопенную, вспученную под винтами воду и на вымытый асфальт пирса...

И тогда мой сосед, худенький мальчик, заплакал, и он не скрывал слез, потому что налетел ветер, а глаза слезятся, когда ветер, и в этом нет ничего позорного.

А его мама в кимоно, с замершей улыбкой и с руками, судорожно сжатыми на маленькой, сухой груди, становилась все меньше и меньше...

А наш боцман ворчал:

– Если дождь пройдет, палубу придется перекрашивать – вся пятнистая станет: у японцев химия хорошая, цвета въедливые, а нам мучайся потом, наводи чистоту.

(Через несколько месяцев после моего возвращения домой я получил письмо из Австралии: «Джулиан, хотим тебя порадовать: не без твоей и нашей помощи министр Барнс уволен в отставку. Приглашаем тебя в Папуа. По поручению сиднейских журналистов Пол Маклай».)

1959 – 1970

Красная земля Испании

В редакции «Литературной газеты» мне сказали:

– В добрый час. Испанская виза ждет тебя в Париже.

Маршрут, который я составил заранее, таков: день в Париже; только получить визу – и сразу же в Мадрид; оттуда в Виго, Сан-Себастьян, Барселону, Валенсию, Малагу, потом бросок на Канарские острова и обратно в Мадрид.

В испанском консульстве в Париже (в ту пору у нас не было никаких отношений с франкистским режимом, все визовые дела решались во Франции) огромное количество людей: японцы, немцы, американцы, арабы, китайцы, шведы. Чинные бизнесмены, обливающиеся потом в своих тяжелых, подчеркнуто скромных костюмах; босые хиппи в рваных майках, поеживающиеся от холода; разбитные, громкоголосые монахи-доминиканцы из Балтимора, – кого здесь только нет! Любезный чиновник с бесстрастным холеным лицом (всем своим видом он показывает, что любезность его – чисто служебная, на самом деле он гранд и ему чужды все эти бюрократические штучки со штампами в паспортах) лихо выдает одну визу следом за другой – купите марки на тридцать франков и отправляйтесь в Испанию!

Подходит моя очередь. Чиновник быстро проглядывает паспорт:

– Какую организацию вы представляете?

Пытаюсь шутить:

– Я представляю себя.

– Себя? Что такое «себя»? Расшифруйте, пожалуйста...

(Он, видимо, решил, что есть такая организация СЕБЯ. Время сокращений, ничего не поделаешь. ВОДА – тоже сокращенное – «Всемирное общество друзей аквалангистов». Почему бы СЕБЯ не расшифровать как «Сообщество единомышленников-борцов Ямайки»?)

– Себя – это значит себя. Без второго смысла...

Легкая улыбка:

– Когда вы запрашивали о визе?

– Месяц назад.

Он быстро просматривает документы, потом поднимает на меня скучающие глаза:

– Ваших документов нет, сеньор Семенов.

– Этого не может быть.

Он еще раз – теперь уже раздраженно – просматривает все бумаги:

– Ваши документы к нам не поступали, сеньор. Пожалуйста, свяжитесь с Мадридом.

– Перед тем как я позвоню в Мадрид, вы, может быть, спросите обо мне генерального консула?

– Си, сеньор.

Через полчаса чиновник вернулся.

– Генеральному консулу ничего не известно о ваших документах. Мы позвонили в Мадрид, там о вашем приезде никто ничего не знает.

– Как быть?

– Заполняйте анкеты, приносите фотографии, получите поручительство...

– Какое поручительство?

– За вас должен поручиться граждан Испании, живущий в Мадриде.

(Опа! Это удар ниже пояса.)

– Сколько времени вы будете рассматривать вопрос о выдаче визы?

– Мы рассматривать не будем, этот вопрос будет рассматривать Мадрид.

– Как долго там будут рассматривать?

– О, совсем недолго – от силы месяц...

(На все время командировки мне отпущено три недели.)

Я снова обращаюсь к чиновнику:

– Может быть, мне самому побеседовать с генеральным консулом?

– Это бесполезно. Порядок есть порядок. Сеньор Наварра ничем не сможет вам помочь.

Спасибо Роману Кармену, он дал мне рекомендательное письмо своему ученику, известному испанскому оператору, Антонио Альваресу. Рима не только дал мне мадридский адрес Антонио, но и телефон. У меня также было рекомендательное письмо к профессору Луису Гонсалесу Роблесу. Сеньор Роблес известен в Мадриде и как директор Музея современного испанского искусства, и как один из ведущих искусствоведов страны. Он мобильный общественный деятель, представляет Испанию за границей по линии ЮНЕСКО.

Позвонил в Мадрид. Когда я заговорил по-русски («Добрый день, можно попросить Антонио?»), на другом конце провода воцарилось молчание, а потом мембрана аж забилась:

– Здравствуй!.. Ты – Юлиан?! Ты привез мне письмо от Римы?! Это прекрасно!.. Тебя не пускают? Почему?.. Ах, тебе нужен гарант! Так я твой гарант! Я гарантирую, что ты будешь жить у меня, что я тебя буду кормить и поить и что ты не станешь просить у правительства денег и квартиры! – Он засмеялся. – Куда мне нужно обратиться?

– Вероятно, в министерство иностранных дел. Впрочем, не знаю. Главное: я могу написать в посольской анкете, что ты являешься моим гарантом?

– Конечно. Жду в Мадриде. Я со своей стороны тоже предприму кое-какие шаги.

Потом позвонил корреспондентам мадридских газет, аккредитованным во Франции. Журналисты тоже обещали помощь.

Следующий день прошел в беготне по Парижу: искал людей в ЮНЕСКО, которые могли бы «нажать» на испанского посла. Встретился с давними знакомыми – работниками Кэ д'Орсе. «Жульян, это бесполезно. Все будет решать Мадрид. Однако нам кажется, что ситуация в Испании работает на вас...» Заехал в консульство. «Еще ничего не известно». Звонки к журналистам. «Мы уже связались с редакциями наших газет, сеньор Семенов, ждем решения».

Третий день кончился. Наутро снова еду к генеральному консулу. Тот пожимает плечами: «Ничего не могу поделать».

В Мадриде есть представительство Черноморского морского пароходства. Звоню туда.

– Включайтесь, — молю, — может, вы, знаете, кого-нибудь в МИДе?

– Причем тут МИД?! Надо связываться с тайной полицией. — На другом конце провода хохочут, а мне не до смеха. — Ладно, звони через три часа.

Звоню через три часа снова в Мадрид. Ура! МИД согласился выдать визу, но полиция интересуется: не везет ли Семенов запрещенную литературу и наркотики?

Полицию успокоили: ни наркотиков, ни запрещенной литературы Семенов не везет.

Через час после получения испанской вазы я был на аэродроме и первым же самолетом вылетел в Мадрид. (Когда пассажиры входили в самолет, двое агентов из охраны – как раз в это время началась волна угона самолетов – тщательно обыскивали мужчин и женщин. Женщины, поднимая руки, смеялись и охотно давали себя ощупать. Мужчины, кто помоложе, хохотали и помогали обыскивать женщин, а седоволосые пассажиры грустнели, и на скулах у них набухали желваки – парижане до сих пор помнят обыски на улицах.)

...Когда второй пилот объявил по радио, что самолет пересек границу Испании, я прилип к иллюминатору. Я увидел зубчатые снежные хребты Пиренеев. А потом горы – резко, без перехода, – кончились. И я увидел землю Испании. Она была красной.

Никогда я так не волновался за границей, как сейчас, подлетая к Мадриду. Красная земля Испании – страны нашего детства, красные и черные флажки на картах в каждой семье, сообщения Михаила Кольцова и Эрнеста Хемингуэя с фронтов – под Уэской, Виго, Гвадалахарой; фильмы Кармена и Йориса Ивенса, первая схватка с фашизмом; красная земля Испании...

«Противник проводил сегодня демонстративные атаки, подготовив генеральный штурм Мадрида.

Идея маневра: колонны центра и Каса-дель-Кампо удерживают всеми силами занимаемый ими фронт с целью задержать наступление противника.

Фланговые колонны правого фланга (Барсело), левого фланга (Буэно и Листер) атакуют противника во фланг и тыл.

Колонны резерва (Интербригада и Альварес Коке) преграждают доступ противнику на возвышенности Университетского городка, Западного парка и Росалес».

Этот приказ начальника обороны Мадрида был издан в тот день, когда я прилетел в Испанию, – только тридцать четыре года назад.

Еду по вечернему Мадриду. Господи, какой красивый город! Старый – узенькие улочки, бойницы-окна забраны чугунными решетками, света нет, тишина – настороженная, чреватая неожиданным; новый – огромные тенистые авени-

ды, бешенство реклам, масса ресторанчиков на улицах, — на тротуарах стоят столики, мимо с огромной скоростью проносятся тысячи машин и медленно фланируют до неприличия красивые люди. Помнят ли эти люди, идущие по улицам цельнотянутой, литой толпой, смеющейся, обнимающейся, модничающей – Мадрид тридцать седьмого года?

Решив свой первый мадридский вечер провести в тех районах, где шли бои, где республиканцы сдерживали натиск фашистов, я взял с собой путеводитель героизма – «Испанский дневник» Михаила Кольцова. По нему я ориентируюсь в сегодняшнем Мадриде.

Приехал в Каса-дель-Кампо, которую «должны были удерживать всеми силами». Зеленые аллеи, особнячки, утопающие в садах. Тихо, красиво. Отсюда хорошо видны высокие здания на площади Испании; переливаются огоньки далекого центра, слышна тихая музыка. Неподалеку – Университетский городок. Здесь сейчас безлюдье – студенты бастуют. Незадолго до этого правительство ввело сюда войска, а во все аудитории посадили агентов полиции.

Студенты помнят ноябрь тридцать седьмого. Правительство тоже.

Поехал в Карабанчель. Мадрид словно бы разделен на несколько разнящихся друг от друга районов. Прекрасная, аристократическая Гран-Виа, громадная чиновничья Авенида Хенералиссимо, (ныне, к счастью, переименованная; никакого почтения к фашисту Франко, низкорослому «хенералиссимо», душителю свободы), торжественная и благочинная улица генерала Мола. А Карабанчель, «красная Карабанчель», – главный рабочий район Мадрида. Сейчас рядом с Карабанчелью вырос новый, чисто рабочий мадридский район – Вилья Верде. Здесь высятся громадные корпуса автомобильных заводов «Пегаса». Именно здесь начинаются самые крупные забастовки. Здесь трущобы соседствуют с модернистскими коробками заводов «Барейрос», недавно проданных испанцами американской «Крайслер».

...В маленьком кабачке – я зашел туда выпить чашку кофе – народу полным-полно. Кто играет в шахматы, кто, смеясь, рассказывает анекдоты, кто кидает на мраморный столик засаленные карты; по телевидению идет спортивная переда-

ча: болельщики замерли на своих местах и даже спорят, не глядя друг на друга. За столиком возле окна сидят трое молодых рабочих (по рукам видно) с транзистором; пьют кофе, говорят о чем-то негромко, вертят ручку настройки приемника. Поймали Рим. Передают песню коммунистов: «Аванти, попоро, бандьера росса» – «Вперед, народ, выше красное знамя!». Ребята сделали музыку погромче, глянули на соседей, те подмигнули им. Бармен чуть поднял руку, сжал пальцы в кулак: «Рот фронт». Здесь помнят ноябрь тридцать седьмого.

...Шофер весел и быстр.

– Куда хочет поехать сеньор? Сеговийский мост и вокзал Аточа? Ну что же, если сеньор так хочет, то мы можем поехать и к вокзалу Аточа, хотя я предложил бы сеньору, – я вижу, сеньор иностранец, – поехать в центр, там сейчас интереснее всего.

Но мы поехали к вокзалу Аточа и к Сеговийскому мосту.

«Сеговийский мост поутру взорван, – записывал Михаил Кольцов. — Разрушил его бомбой «юнкерс», сам того не желая. Он метил в республиканские части, стоявшие у моста.

У вокзала Аточа бомбы исковеркали фасад здания министерства общественных работ. Две громадные мраморные колонны рассыпались, как сахарные головы. Рядом с министерством бомба вырыла глубокую воронку, через нее видны рельсы метро. Правда, метро здесь проходит не глубоко».

Мы подъезжаем к Аточе.

– Это место не так уж интересно, сеньор, – повторяет шофер. Потом оборачивается ко мне, прикладывает палец к губам, шепчет: – Здесь интересно, только когда собираются демонстранты. Почему-то именно отсюда они начинают свои шествия.

Шофер закурил и спросил меня по-английски:

– Вы давно в Мадриде?

– Давно. Очень давно... Но прилетел всего три часа назад.

Шофер воспитанно посмеялся:

– Испанского языка не знаете?

– Не знаю.

– У меня есть путеводитель по Мадриду.

– Спасибо.

– Он стоит не очень дорого, хотя, – шофер чертыхнулся, – достаточно дороговато. Книги у нас стоят дороже ботинок.

Я купил у него путеводитель и открыл наугад страницу:

«Мадрид ночью. Народ Мадрида подобен ночным бабочкам: они начинают жить в два часа ночи, а засыпают лишь поутру. Для иностранца невозможно соединить хороший ужин в элегантном ресторане с театром, потому что спектакль и ужин начинаются одновременно. Нужно выбирать между пищей и зрелищем. Как правило, друзья собираются около девяти в элегантных барах, вроде «Сан-Хорхе». Некоторые любят космополитические бары, типа «Пепэ-бара», но можно зайти в «Зоську», которая окружена девицами с улицы Серрано. Они одеваются так, как одеваются на пляжах в Торремолинос, – иностранцам это нравится; хорошее тело всегда волнует и радует.

Часов в одиннадцать пора думать о еде. Но если вы заранее не зарезервировали место в таких ресторанах, как «Жокей», «Валентин» или «Хосе Луис», вы рискуете отправиться спать голодным.

Будьте внимательны и ресторанах – вы можете встретиться здесь с такой звездой, как Джеральдин Чаплин, вы можете увидеть принцессу Беатрис де Савойя или болгарского короля в изгнании. Они теперь демократичны; перекинуться с ними парой слов не считается здесь плохим тоном. Впрочем, если вы встретитесь с Онасисом или некоторыми анонимными американцами, которые живут в Торрехоне, картина будет иной. Эти люди чуждаются всякого рода паблисити.

Мы советуем вам начать путешествие по Мадриду от отеля «Палас», который расположен на Пласа-де-лос-Кортес, – это центр туристского маршрута...»

(«Кое-кто из уехавших вернулся. Некоторые приезжают в Мадрид на день, а ночевать уезжают в Алкала или в другие городки на восток от столицы. Осели в «Паласе» кинооператор Кармен и Жорж Сориа, корреспондент «Юманите».

Мы разговаривали с Карменом и Сориа, стоя у окна моей комнаты. Прямо через дорогу, на наших глазах – это было поразительно – ударил в здание кортесов артиллерийский снаряд. Он взорвался внутри, нас слегка шатнуло» – запись Михаила Кольцова.)

Шофер обернулся:

– Кто по профессии сеньор?

– Я литератор.

– О-о, литератор! Прекрасно! Тогда вам надо посмотреть литературный Мадрид. Это неподалеку. Маршрут совсем не дорогой, тем более для вас я сделаю скидку. Здесь, между Калье-дель-Алкала и Калье де Аточа, и между Пуэрта-дель-Соль и Пассео-дель-Прадо жили все наши литературные знаменитости, – нет, нет, смотрите направо, налево управление секретной полиции, это не имеет прямого отношения к литературе! – Шофер посмеялся. – Только косвенное. Конечно, сейчас многое изменилось, видите, понастроили много новых домов. На Калье Майор родился Лопе де Вега. Он умер неподалеку, на Калье де Франкос, мы туда подъедем. Сейчас ее переименовали, но не обидно – улица Сервантеса. А Сервантес умер вот здесь, на углу Калье-дель-Леон и Калье де Франкос.

– А где родился Гарсиа Лорка?

Шофер долго молчал. Потом, не оборачиваясь, ответил:

– Это не важно, где родился Гарсиа Лорка. Важно, что память о нем живет в сердце каждого испанца...

Закурив, он спросил:

– Откуда сеньор литератор родом?

– Из Москвы.

Визжат тормоза, сигналят машины, идущие сзади, — шофер бросил руль, обернулся ко мне всем телом, только нога на акселераторе:

– Салюд, камарада! Но пасаран, камарада! Карош рус! Дравству, брад!

Помнят. Всё помнят. Все помнят. Наверное, это было очень смешно со стороны: сидят в машине два взрослых мужика, смеются и плачут, хлопают друг друга по плечам, задают вопросы и, не дожидаясь ответа, говорят о другом. Теобольдо, первый мой испанский друг, спасибо тебе...

В отель «Колон» я вернулся на рассвете. Открыл окно. Ноябрь выдался жаркий и душный. Рассвет был осторожным и серым.

Ну, здравствуй, Мадрид, здравствуй...

Поутру я позвонил к Антонио Альваресу. Милый, замечательный друг мой! Через полчаса он приехал ко мне, посадил

в свою маленькую быструю машину, и мы отправились в город – обсуждать план поездки по Испании.

Созвонились с «великими»: матадором Домингином, режиссером Бардемом, актером Пако Равалем, уговорились о днях встреч. «Антоша» познакомил меня с кинопромышленниками – братьями-Моро. Они славились не столько организацией производства, сколько своими мультипликациями, – братья художники, их называли «испанскими Диснеями». Называли справедливо – кабинет заставлен золотыми и серебряными кубками из Венеции, Сан-Франциско, Осака, Сан-Себастьяна.

Поздно ночью, распрощавшись с Антонио, встретился с Хуаном Мануэлем Лопес Иглесиасом. Он художник, но поскольку в Испании «на живопись» живут только два человека – Сальвадор Дали и Педро Буэна, мой новый друг начал заниматься бизнесом. Он создал фирму «Альта» – покупает советские фильмы.

– На «Иване Грозном», – сказал Хуан Мануэль, – я заработал больше, чем на продаже всех моих картин. Если бы цензура позволила мне показать «Балладу о солдате», «Чапаева», «Иваново детство» и «Мы из Кронштадта», я бы стал миллиардером. Сейчас пробиваю «Даму с собачкой».

– А зачем надо «пробивать» «Даму с собачкой»? Этот фильм вне политики.

– Дорогой мой, там есть факт прелюбодеяния! Церковная цензура свято оберегает нравственность! А вдруг, посмотрев этот фильм, все мужья начнут изменять своим женам, а все жены заведут собачек?!

Поехали к нему домой, на улицу Антонио Акунья.

– Запиши мой телефон, – сказал Хуан Мануэль. – Я считаю, что тебе незачем жить в гостинице. Ни в «Колоне», который далеко от центра, ни в «Принсипе Пио», куда ты хочешь перебраться, – это очень дорого и не совсем удобно. Вот тебе ключи. У меня есть комнатка, свободная от моих картин, костюмов, друзей и от банкетных столов. Пользуйся этой комнатой, как своим домом...

Сегодня Хуан Мануэль пригласил меня посмотреть, где проводит время мадридская богема.

– Имей в виду, – добавил он, – наша богема отнюдь не несет на себе отпечаток аполитичности: у нас все либо крайне левые, либо ультраправые, – посредине остаются одни гомосексуалисты...

Мы пошли в самый популярный в Мадриде бар «Хихон». Там собираются писатели, композиторы, актеры, поэты. Машину приходится оставлять за несколько кварталов от «Хихона», на местах, указанных для парковок, потому что иначе специальные грузовики утащат на кранах машину, покорежат ее по дороге, увезут в полицейский участок и потом заставят платить огромный штраф.

В «Хихоне» масса иностранцев, которые приходят поглазеть на испанских знаменитостей; внимательно прислушиваются к разговорам писателей и художником безликие молодые люди, гладко причесанные, с ниточными проборами, в слишком аккуратно повязанных галстуках, – тайная полиция должна быть в курсе настроений интеллигенции... К Хуан Мануэлю подошел кто-то из знакомых:

– Сегодня в театре начинается фестиваль. Не хотите пойти?

– У нас сегодня задумана другая программа, спасибо.

– Какая у вас сегодня программа?

– Интересная, – ответил Хуан Мануэль и засмеялся.

Познакомился с выдающимся испанским художником Педро Буэна. Высокий, голубоглазый, седой, он рожден в Андалусии, в маленьком, полынном, белом городке. Алькальд его города принял решение о переименовании той улицы, где родился художник, в улицу имени Педро Буэна. Был устроен шумный и представительный банкет, поднимали бокалы с «тинто» – терпким красным вином – за выдающегося испанского живописца, а потом предоставили слово виновнику торжества. Педро Буэна поднялся, откашлялся и сказал:

– Грасиас.

И сел.

Алькальд шепнул ему:

– Люди обижены. От тебя ждали речи, почему ты так мало сказал, Педро?

Художник ответил:

– Я сказал мало, но во множественном числе.

(«Грасиас» – по-испански значит «благодарности».)

Мы познакомились при занятных обстоятельствах. Хуан Мануэль, зная, что я собираюсь в поездку по стране, говорил:

– Ты должен записать некоторые выражения. Бери блокнот. Ты, например, пришел в отель, никто не понимает ни английского, ни немецкого. Ты тогда должен сказать: «Тиене устед абитасьон пара ми». Если тебе ответят: «Си, сеньор», – значит, ночлегом ты обеспечен. Если тебя «заговорили» собеседники, – испанцы любят спорить, – скажи: «Йо киеро дормир» – «Хочу спать». Если ты сидишь в машине и шофер не понимает, что ему делать, скажи: «Вамос» – «Едем».

Педро Буэна стоял у нас за спиной и слушал Хуан Мануэля. Он хлопнул его по плечу и сказал:

– Вамос, амигос! Пойдем на Пласа Майор, покажем русо, как умели веселиться в Испании.

Он чуть прищурил огромные голубые глаза и добавил:

– Испанцы всегда умели веселиться, даже в самые трагичные минуты своей истории.

Мы пришли в маленькую таверну «Месон-дель-Коррехидор» на стариннейшей Пласа Майор. Красные стены средневековых домов подсвечены голубым светом прожекторов. Старинные чугунные фонари, привыкшие к воску или керосину, кажутся сейчас беззащитными и до боли чужими. Как пенсионеры, которые еще могут и хотят работать...

По стертым лесенкам спустились в подвальчик. Сводчатые стены, шумный говор, официанты в андалусских костюмах, – воображение, подготовленное новеллами Мериме, переносит тебя в прошлый век. Стены сплошь расписаны шутливыми изречениями. Иногда это изречение затейливо выписано на голубом изразце, вмонтированном в кладку, иногда это застекленные картинки.

Первая, при входе, надпись гласит: «Хорошая жизнь дорога. Бывает, конечно, и дешевле, но это уже не жизнь».

А когда выходишь из подвальчика, в глаза бросается чеканка: «Лучшее в этом доме – его клиенты».

– Кабачки вокруг Пласа Майор, – пояснил Педро, – это филиалы музея Прадо, только здесь веселее и можно пить тинто. Построены они в четырнадцатом или шестнадцатом веке, здесь сиживали Лопе де Вега и Сервантес, здесь все история, здесь менялись только столы и стулья.

Если спуститься по Калье-де-ля-Эскалье-Рилла-де-Пьедра на улицу Каменной лестницы, вы попадете в кабачок контрабандистов, который называется «Пещера Луиса Канделаса». На стенах надписи: «Пой и танцуй, сколько хочешь, но здесь, а не на улице»; «Будешь пить – будешь жить»; «Пей каждый день старое вино – помолодеешь»; «За хозяином здесь лишь одно право – поить, кого он пожелает». Или: «Если уж тратиться, то в таверне, а не в аптеке».

А рядом «Каса Андалусиа» – «Дом Андалусии».

– Больше всех я люблю эту таверну, – сказал Педро. – Мы, андалусцы, ярые националисты.

– Не пугай Хулиана, – пошутил Хуан Мануэль, – в Союзе национализм – высший грех.

– Так ведь я восславляю Андалусию, а не дьявола какого. Разве есть в мире что-либо прекраснее Андалусии? Хотя тебе, баску, этого не понять. Вы ловите рыбу, воюете, пасете овец, а мы шутим.

И он прочитал надписи на изразцах: «Зубы важнее родственников», «Вино – сила, вода – ревматизм», «Кто много пьет, тот поздно платит», «В этом доме не говорят плохо об отсутствующих», «Вино льется в двух случаях: когда едят баккалао и когда его не едят».

– Баккалао – это одно из самых распространенных рыбных блюд в Испании, – объяснил Педро Буэна.

Или: «То, что ты должен отдать племянникам, лучше съешь с хлебом и запей вином».

Смешные указания на дверях туалета. На одной двери большая надпись: «Здесь – да!» Это ясно, что сюда можно входить мужчинам, ибо, как правило, посетители «Дома Андалусии» – мужчины, любители андалусской песни. На другой двери табличка: «Здесь – нет!» Ясно, что это для дам, редких гостей в подобного рода кабачках.

Закончили мы ночь в итальянской траттории на улице Альфонса Шестого. А здесь прожекторов не было, и фонари были газовые, и улицы пустынные, шаги – шлеп-шлеп; и дома средневековые. Тишина, редкие прохожие – просто-напросто девятнадцатый век. В траттории было пусто, только в углу за столиком при свечах сидела замечательная итальянская актриса Лючия Бозе с двумя своими приятелями.

Музыканты узнали Педро Буэна. Сразу же заиграли андалусскую песню. Буэна покачал головой.

– Что-нибудь другое, ребята, – попросил он.

Гитарист, высокий, с длинными баками, с громадными руками – его тоже зовут Педро, – обернулся к товарищам, чуть кивнул головой, те положили инструменты на колени, и Педро заиграл на гитаре протяжную, странную, тревожную и грустную песню.

– По-моему, это переложение с лютни времен Филиппа Второго, – шепнул мне Буэна.

Педро услышал его – музыкант точно читает артикуляцию.

– Си, – сказал он. – Молодец, художник!

В тратторию вошел пожилой пьяноватый сеньор с молоденькой девочкой. Хуан Мануэль потом объяснил:

– У нас раздельное обучение, и до сих пор в школах учителя уверяют своих подопечных, что детей мама привозит из Парижа. Сексология запрещена к изучению цензурой. Даже ботанику у нас преподают с купюрами. Отсюда трагедии – запретный плод сладок, а незнание всегда рождает преступление или глупость. Поэтому, видимо, тираны так боятся науки.

Хуан Мануэль поднялся из-за стола.

– Завтра переезжай ко мне, – сказал он. – С самого утра. А сейчас, извини, мне еще надо увидаться кое с кем.

Рано утром встретился со старым испанским другом. Мы были знакомы по Москве.

– Пожалуйста, будь осторожен. Нам стало известно, что в Бургосе еще до открытия процесса над басками уже подготовлен смертный приговор пяти товарищам. Хорошо, что ты вчера ходил по музейным тавернам. Хорошо, что ты не был в театре. Наша подруга, актриса Хулиетта Пенья, бросила в зал листовки и закричала: «Господа, как вы можете спокойно смотреть пьесу, когда пять человек приговорены к смерти!» Театр был оцеплен полицией, вместе с испанцами арестовали по ошибке немецких, итальянских и французских актеров, которые приехали на Первый международный фестиваль театров. Они сказали журналистам, когда их освободили из полиции, что, если Хулиетту Пенья не выпустят, они откажутся

выступать в Испании. Полиция сейчас неистовствует. Повсюду полно агентов. За тобой здесь, естественно, смотрят во все глаза.

(...Сегодня я сделал в дневнике лишь одну запись: «Достоевский, Лермонтов, Гоголь, Толстой и Пушкин были запрещены в Испании с 1938 по 1958 год».)

Мадрид. Семенов.
Редакция «Литературной газеты»
(отправлено с оказией):

«Он ударил кулаком по мраморному, в серо-голубых разводах, столику и, застонав, опустил голову; глаза зажмурены, резко обозначены желваки, морщинами сведен лоб.

Многие сидевшие в столичном фешенебельном «Морриссоне» обернулись: моего спутника знают в Испании, потому что он один из виднейших современных писателей. (Я не могу назвать его имени: введенное чрезвычайное положение предполагает арест за оппозиционные выступления; я буду называть моего друга «Антонио».)

– Не могу, – прошептал он, – не могу больше. Не могу. Не могу! – крикнул он и посмотрел на благополучных, красиво одетых людей, собравшихся в этом кафе. – Слышите, вы?! Не могу больше!

Люди улыбнулись: «Наш талант шутит, они все такие озорники, эти писатели». Люди улыбались; завтра они станут рассказывать об этом случае знакомым наряду с тем, какое вино они пили, и сколько стоила порция «кальос а-ля мадриленья», и как была одета Пепита, жена торговца кожами из «Ереро н Наварра»; они были благодарны случаю видеть живого, известного молодого Антонио, а он заплакал. Он старался сдерживаться: он испанец, а это значит – гордость и мужество, но слезы катились по его щекам, и он не вытирал их.

...Рассвет был серым и осторожным, как филер. Антонио гнал машину по чисто вымытым, пустым мадридским улицам, и пальцы его побелели оттого, что он яростно сжимал руль, словно стараясь сломать его.

– Ложь, – говорил он, – кругом ложь. Мы погрязли во лжи. Мы лжем миру, лжем друг другу, лжем самим себе. «Демократия в Испании», «новый курс»! Не лгал мой отец, он был коммунистом, и за это его расстреляли. Не лгут наши ребята, которые сейчас выходят под пули полиции. А мы... Говорим полунамеками, рисуем полутонами. Демократия в Испании...

Я слушал Антонио и вспоминал музей Прадо. Веласкес и Гойя тоже не могли унизить тупость владык впрямую, но они тем не менее по-своему делали это, ибо за ними была сила бóльшая, чем армия и святая инквизиция, – за ними был талант. Вот король. Как же важен этот старый, низенький, пузатенький, холодноглазый король. Сходство соблюдено великолепно, скрупулезно и вроде бы уважительно. Только король посажен на мощную кобылу с идиотической мордой. И это убивает короля – смехом. А вот кардинал. Его глаза смотрят на вас из белого кружевного воротника, написанного так, что кажется, будто голова отсечена от туловища, а кружева вовсе не кружева, а тонкая сталь ошейника. Это страшно, ибо художник вывернул себя, доверил холсту свою мечту: «Смерть тиранам!» – а такие откровения караются монаршим гневом, который редко оборачивается ссылкой – чаще смертью.

Я понимал Антонио: испанское искусство сейчас не хочет ограничиваться аллегориями, даже самыми смелыми, – борьба испанцев за свободу смелей любой аллегории. Все чаще и чаще в театре, живописи, литературе «кошку называют кошкой». Да, цензура свирепствует, да, запрету подвергается всё мало-мальски оппозиционное режиму, но оппозиция сейчас так сильна в Испании, что начни запрещать – придется запрещать все подряд, нечего будет смотреть и читать, а на одних вестернах далеко не уедешь. Официальная пропаганда трубит о росте благосостояния, о развитии экономики, о «новом курсе» режима, который был провозглашен в пятидесятых годах, о «национальной гармонии» и о решении всех основных проблем в стране. Но события последних дней - чрезвычайное положение, солдаты на улицах городов, массовые выступления трудящихся против репрессий – свидетельствуют о том, что страна далека от того «гармоничного общества», как ее рисуют на глянцевых буклетах для заезжих иностранцев.

Какова же истинная ситуация?

Да, действительно, в конце пятидесятых годов в Испании началось развитие экономики – прежде всего дорогостроение, градостроительство, автомобилестроение. Все три отрасли завязаны в один узел, и понять суть этого «узла» нетрудно – туризм. Дороги, машины, отели и рестораны – Испания теперь вышла на второе место в мире по количеству приезжающих иностранцев – более двадцати трех миллионов в год! В стране оседает громадное количество валюты (около двух миллиардов»). Растут новые роскошные здания, но никого не интересуют такие проблемы, как народное образование, медицина, пенсионное обеспечение. Мои друзья в Толедо, Саламанке и Мадриде рассказывали, что за обучение ребенка в школе приходится платить ежемесячно до трех тысяч песет. Количество больниц, работающих в системе «социального страхования», смехотворно: в Мадриде, например, таких больниц всего две или три, и это на город с трехмиллионным населением. Бесконечно дороги квартиры. Двухкомнатная квартира стоит в месяц не менее трех тысяч песет, то есть две трети своего заработка квалифицированный рабочий или молодой педагог отдает хозяину дома. Человек, который сбежал из деревни, вынужден ютиться в десятиметровой конуре, в полуподвале или на чердаке.

Правительство оказалось зажатым в тисках противоречий: молодые технократы требуют от правительства еще большего протекционизма; рабочие – повышения благосостояния, демократических свобод, социального обеспечения; студенчество – университетской реформы, отказа от рутины, царящей в высшей школе, уменьшения платы за обучение; армия... Армия – главная опора режима, и даже в ее рядах сейчас нет единства. Те, кто пришел к власти после гражданской войны, люди старые, умеющие лишь «тащить и не пущать», требуют «жесткого курса», уповают лишь на «крепкую руку». Потеряв всякую историческую перспективу, они требуют арестов и расстрелов, – именно они настояли на проведении судилища в Бургосе; не случайно, видимо, начало процесса над патриотами-басками откладывалось три раза, – испанские товарищи говорили мне еще в начале ноября о том, что в Бургосе все готово для расправы. Но есть в армии

и другие силы. Часть генералитета встала в оппозицию к режиму, требуя проведения демократических реформ. Только слепцы не хотят видеть истинное положение в стране: всеобщее глухое недовольство, постоянно гнетущее чувство страха перед возможностью ареста (в Испании конституция допускает 72-часовой арест без предъявления обвинения), неясность политической перспективы. Даже фаланга переживает кризис, причем кризис сокрушительный. Я видел демонстрацию «голуборубашечников» на аллеях квартала Пинтор-Росалес, которые шли, ведомые молодым Диего Мариесом, выкрикивая: «Нас предали! Мы должны возродить движение!» Они вышли на свою демонстрацию за несколько часов перед тем, как на главной улице начался официальный парад, посвященный годовщине фаланги. Их, правда, не избивали — все-таки свои...

Наиболее серьезные политики сейчас стоят в полуофициальной оппозиции к режиму: они не могут не видеть общую тенденцию недовольства в стране. Граф Мотрико, бывший посол в США и Франции, крупнейший финансист Прадос Аррарте и даже бывший министр народного образования Руис Хименес сейчас выступают с критикой того внутриполитического курса, который проводит Франко.

Один из представителей католической оппозиции сказал мне:

— Трагический парадокс заключается в том, что те наши деятели, которые хотят быть либералами во внешнеполитическом курсе, вынуждены поддерживать махровую реакцию внутри страны. А, как известно, на двух стульях сразу пока еще никто не засиживался слишком долго.

Французская «Фигаро» в день, когда начался процесс в Бургосе, свидетельствовала: «Сцены возмущения, имевшие место в Барселоне (там демонстранты смяли полицию. — *Ю. С.*), представляются самыми значительными из всех волнений, которые происходили в Испании после окончания гражданской войны».

Да, на двух стульях, видимо, усидеть не дано никому.

Исполком Объединенной социалистической партии Каталонии выступил с заявлением, причем еще до начала судилища в Бургосе: «Путем приговора басков к смерти прави-

тельство, видимо, хочет использовать военный суд как отчаянную попытку запугать оппозицию и народные массы».

Все выдающиеся писатели, режиссеры, художники Испании находятся в открытой оппозиции к режиму. Истинный художник – это такой художник, который подчиняет свое творчество интересам народа, его чаяниям и надеждам. Невозможно заставить художника восславлять зло и беззаконие, – каждый, кто знаком с испанцами, может сказать, что это люди высокой чести и рыцарского бесстрашия. Никто из испанских художников, ни один человек, не выступил в поддержку судилища в Бургосе, ни один! Ставка на официально пропагандируемый лозунг об общности всех испанцев оказалась битой.

Власти пытались было выстроить версию: «Что было в прошлом, то ушло навсегда. Новое время – новые отношения в государстве». В подтверждение этому – в свое время весьма модному – лозунгу одному из лидеров буржуазной оппозиции профессору Энрике Тьерно Гальвану было позволено встретиться с министром иностранных дел ФРГ и открыто высказаться за необходимость «проведения реформ в стране». Более того – власти позволили играть в театрах пьесы Лорки, расстрелянного фалангистами, а журнал «Лос протагонитас де ля история» вышел с громадным портретом поэта на обложке и с шапкой: «Первая полная биография Лорки». Они думали, что мертвый враг не страшен. Они ошиблись. Демонстранты выходили на улицы с песнями Лорки, и в них стреляли, их били полицейские дубинками, их бросали в застенки. Пронесся слух: «Лорке дадут национальную премию». Один мой друг, выдающийся художник, сказал, горько усмехнувшись:

– Лорка уже получил самую высокую «премию» поэта – его расстреляли. И знаешь, что еще обидно: Испанию всегда открывали иностранцы. Сервантеса впервые напечатали в Париже. Рафаэль должен был уехать в Рим, чтобы стать Рафаэлем. Когда же мы научимся ценить своих гениев? Расстреляли своего гения, а теперь, как ни в чем не бывало, печатают его портреты.

...Разные люди – разные мнения, но всегда интересные и в чем-то парадоксальные: испанцы великолепные ораторы и

страстные спорщики, словом они владеют блистательно. Беседую с молодым бизнесменом в Малаге. Он получил образование в Париже; яхта, несколько ферм за городом, контрольный пакет акций в двух компаниях, специализирующихся на строительстве мостов и дорог. Он богат, очень богат. И умен. (Именно он говорил мне, что в самом ближайшем будущем Испанию могут постичь серьезные экономические трудности, если только страна не выйдет из самоизоляции, если не будут установлены серьезные деловые контакты со всем миром, социалистическим в том числе.)

– Нас ждут перемены, – утверждал он, нервно прикуривая сигареты одну от другой, – иначе не может быть. Мы погибнем иначе: к власти придут «черные полковники», которым вообще плевать на развитие экономики, им важно сидеть в своих дворцах под охраной танков и выступать по телевидению.

– Если в стране не будут проведены серьезные реформы, – говорил мне профессор экономики, – наших детей станут пинать ногами, Испания превратится в курортный придаток Европы. Не изучая марксизм, – он улыбнулся, – в наше время нельзя понять мир. Я изучал марксизм в Париже, хотя, вы понимаете, это не моя религия. Смотрите, что получается: инженер не станет отстаивать свою точку зрения, даже если она правильна, потому что он опасается остаться без работы. Ему можно отказать в работе без объяснения причин. Он не имеет права потребовать объяснений. А оказавшись без работы, он немедленно станет нищим, потому что сейчас вся Испания живет «взаймы», в рассрочку. Можно за два часа купить квартиру, обставить ее роскошной мебелью любого стиля, можно привезти в дом цветной ТВ и попросить фирму установить в машине кондиционер. Следовательно, после таких трат бюджет семьи будет рассчитан на долгие годы вперед: людям приходится ужимать себя в еде до минимума, чтобы вовремя уплатить рассрочку. Отсюда – рождение рабской идеологии: «Чего изволите?» А в глубине души: «Идите вы все к черту, дайте мне спокойно дожить до смерти». И рождается всеобщая апатия, никому нет дела до технического прогресса...

– Вы нарисовали картину полной безысходности, – сказал я.

– Верно, – согласился собеседник. – Вы думаете, правительства Парижа и Бонна не понимают этого? Понимают, еще как понимают. Потому-то они и пытаются хоть как-то выполнять требования общественности – и в сфере социального обеспечения, и в регулировании отношений предпринимателей и рабочих, потому-то они стараются быть реалистами. А наше правительство занимается армией, военными трибуналами и внешней политикой. Экономика – это наука, это всегда кажется скучным и неблагодарным делом. А в ней, и только в ней, сокрыто крушение государства или его взлет.

– Ну хорошо, а каких сил вы больше всего опасаетесь сейчас? – спросил я. – Армейских экстремистов? Политиков, ориентирующихся на жесткий курс? Фалангу? Кто сейчас представляет реальную силу в Испании?

– Рабочие комиссии, – ответил мой собеседник не задумываясь.

В Париже я встречался с одним из активистов этого нового мощного движения, которое охватило всю Испанию. Как известно, в Испании существуют официальные профсоюзы, или, иначе, «синдикаты», построенные по вертикальной системе.

– Раньше, – рассказывал мне товарищ, прибывший в Париж нелегально по делам своей работы, – во время выборов в профсоюзы трудящиеся устраивали некие фарсы: на бюллетенях для голосования рисовали мордочки и вписывали имена своих «делегатов» из произведений Сервантеса и Барроха. А потом мы подумали, что это забвение Ленина, забвение его указаний о тактике, о легальной форме борьбы. И мы начали выдвигать в Рабочие комиссии наиболее достойных рабочих – коммунистов, католиков, социалистов. Рабочие комиссии начинали свою работу исподволь, поднимая вопрос о том, как лучше установить бачок с водой в цехе, а кончилось это всеобщими забастовками, которые носят экономический и политический характер. Ты видел своими глазами демонстрации в Мадриде в «день амнистии». А перед этим забастовали рабочие Мадридского метро, когда правительство приняло решение заморозить зарплату. И мы добились повышения зарплаты на сорок процентов. И мы добились равной оплаты за труд для женщин. И мы вывели

на демонстрации рабочих Гранады, Барселоны, Севильи. Высший трибунал признал нас нелегальной организацией, за нашим лидером – Комачо – охотится полиция. Но мы существуем, мы – реальная сила в стране, не считаться с которой нельзя.

Это верно. С Рабочими комиссиями в Испании считаются. В стране, где всякая оппозиция запрещена (можно, конечно, создать «Общество по защите мини-юбок» или «Совет протекции брюкам-клеш из фланели», это можно, а «Клуб друзей ЮНЕСКО», созданный, кстати говоря, с разрешения властей, сплошь и рядом сталкивается с полицейским произволом: то разгонят собрание, то задержат руководителей, то конфискуют литературу), именно Рабочие комиссии являются массовыми организациями, которые представляют классовые интересы трудящихся...

Испания бурлит.

Суд в Бургосе показал со всей очевидностью, что всякие красивые слова о «новом курсе», о «демократизации» есть не что иное, как фарс. Об этом говорят не только в Мадриде – об этом пишут буржуазные газеты в Париже, Лондоне и Бонне.

Трудно предсказать, как будут развиваться события в ближайшем будущем, но то, что Испания на грани крупнейших социальных и политических сдвигов, – в этом сомневаться не приходится... Нельзя стучаться в ворота сегодняшнего мира, надев черные капюшоны инквизиции. Эти черные капюшоны конечно же по душе мракобесам ку-клукс-клана и фашистам фон Таддена, но не за этими отбросами общества сейчас сила.

...Антонио остановил машину на зеленых холмах Касадель-Кампо. Солнце осторожно тронуло белые громадины домов. Город сделался розовым. И облака стали розовыми, и голуби, и крыши. Солнце всходило над Испанией, и все вокруг делалось чистым, зримым и близким.

— Помнишь, – сказал Антнио, – Хемингуэй писал, что после своей родины он больше всего любит Испанию? Нашу Испанию, где он писал свои книги о республиканцах. А как я люблю ее! Как любим ее все мы, испанцы! Жизни не жаль, только б пришло сюда счастье. – Он помолчал и тихо закончил: – Оно придет. Скоро придет.

Ездил в Саламанку. Этот средневековый город сейчас стал музеем. Здесь все история. Беседовал с университетской профессурой. Один из профессоров был учеником Унамуно. Философ и писатель Мигель Унамуно сейчас очень популярен. К нему по-разному относились – и у нас и в Испании, – а в истории этого человека, как в капле воды, отражаются все противоречия страны.

Сейчас кое-кто пытается сделать Унамуно столпом националистического движения. Но это отнюдь не так. Долгое время он был изгнанником; победа «республики 1932 года» его тоже не устроила: бедные остались бедными, богатые – богатыми.

Унамуно был ректором Саламанкского университета, когда фалангисты вошли в город. Во время праздника «Дня открытия Америки» Унамуно сидел в президиуме вместе с епископом Саламанки и с женой генералиссимуса Франко.

Когда старый командир Иностранного легиона, генерал Астрай, друг Франко, провозгласил в конце своей речи девиз легиона: «Да здравствует смерть!» – Унамуно обернулся к генералу и сказал: «Вы можете победить, но вы никого не убедите в своей правоте». Военные ринулись к старому философу, хватаясь за пистолеты.

– Проклятые профессора! – орали офицеры в серебряных аксельбантах. – От вас все несчастья!

Унамуно был посажен под домашний арест и освобожден от обязанностей ректора университета Саламанки. Через полгода философ умер.

Националисты сейчас «забыли» обо всем этом. Им важно заручиться поддержкой убитого ими философа, ибо с самого начала режим выступал против интеллигенции, возвещая, что из-за нее «все беды и трагедии».

Националистам выгодно заручиться именем Унамуно, потому что молодежь, особенно левое студенчество, находит в трудах (в записанных литерах, а не в произнесенных в пылу полемики словах) ответы на многие тревожащие их вопросы.

Встретился с одним из интеллектуалов, входящих в полулегальный «Клуб друзей ЮНЕСКО». Кружок существует при молчаливой поддержке министерства иностранных дел, ко-

торому необходимо выходить на международную арену, и при громком неодобрении со стороны полиции. Несколько раз «Клуб друзей ЮНЕСКО» разгоняли, а лидеров задерживали на 72 часа в полицейских участках.

Познакомился с Рафаэлем Тайбо. Он из графской семьи, северянин, известный испанский интеллектуал, являющийся бессменным председателем «Клуба друзей ЮНЕСКО».

Беседовал с отставным генералом авиации, который сейчас находится в молчаливой оппозиции к режиму. Он объяснял мне, каким образом в Мадриде научились умению пользоваться принципом «разделяй и властвуй».

– Политика в странах, подобных нашей, – грязная штука, Хулиан, – говорил генерал. – А если узнать всю подноготную, можно возненавидеть народ, который, подобно стаду овец, боится одного волка. Чем больше я узнавал, тем горше мне делалось жить. Я никогда не перейду на другую сторону – я всегда буду верен присяге. Но я мог отойти от движения, а это не так просто сделать, поверь мне. Из концерна трудно выйти – своим мстят.

...В самом начале, в тридцать шестом, в Испании все были убеждены, что вождем армии станет генерал Санхурхо, а не Франко. Санхурхо был дружен с вождем фаланги Хосе Антонио Примо де Ривейра, и именно он в феврале тридцать шестого года отправился вместе с Хосе Антонио в Берлин, где встречался с видными руководителями нацистской партии и министерства иностранных дел.

В Берлине к Санхурхо отнеслись с большим интересом, считая его самым вероятным кандидатом на пост будущего военного диктатора, а Хосе Антонио Примо де Ривейра – идеологическим руководителем Испании.

В тайном обществе военных, руководимом крупнейшими генералами Испании, точки зрения лидеров крайне разнились друг от друга. Санхурхо безоговорочно поддерживал идеи национал-социализма и доктрину Хосе Антонио Примо де Ривейра, основателя фаланги, «первого испанского фашиста»; однако генерал Мола считал, что в Испании необходимо сохранить республиканский режим. Один Франко молчал, никак не объясняя свою позицию.

После начала мятежа были проведены две молниеносные операции. Первая была приурочена к тем дням, когда по дороге из Португалии в Бургос в самолете сгорел «главком» Санхурхо. (До сих пор не выяснены обстоятельства его гибели. Впрочем, когда человек гибнет («слишком уж ко времени», выдвигается много версий, но одна – главная, истинная – никогда не оказывается обнародованной.)

Франко сумел так организовать настроение заговорщиков, что генерал Капо де Льяно был отведен от претендентства на пост верховного главнокомандующего. Франко через своих людей смог напомнить военным, что именно этот молодой военачальник принимал участие в борьбе против монархии.

Следующей была отведена кандидатура генерала Мола: Франко напомнил, что именно Мола настаивал на необходимости сохранения республиканского режима. Но Франко не торопился предлагать себя на пост «главкома».

Через несколько дней после торжественных похорон Санхурхо генерал Франко, отойдя в тень, предложил создать военную хунту в составе шести генералов. Он даже не вошел в хунту, а ее председателем был утвержден больной старик Кабанельос. Лишь спустя несколько дней Франко и Капо де Льяно вошли в хунту. Естественно, ни Мола, ни Капо де Льяло не знали о той закулисной игре, которую вел Франко. Он сидел с ними за одним столом как друг, он прислушивался к их советам, всячески подчеркивая свое уважение к «товарищам по оружию».

Но уже в это время Франко твердо отдал себе отчет в том, что армия «де-факто» считает его своим главнокомандующим. Нужно было утвердиться в этом звании «де-юре».

Он избрал точный путь: мятежникам были нужны самолеты, деньги и оружие. Франко наладил контакт с Муссолини. Он просил о помощи. Через пятнадцать дней Муссолини отправил генералу Франко двадцать военных самолетов. В те же дни руководитель национал-социалистской партии Германии в Марокко срочно вылетел в Берлин с личным письмом Франко к Гитлеру. С письмом ознакомился руководитель заграничной службы НСДАП, обергруппенфюрер Боле. Со своей «благожелательной» резолюцией Боле передал письмо

Франко в министерство иностранных дел и в военное министерство. Дипломаты высказались против поддержки Франко. Однако за его поддержку выступил заместитель фюрера – Гесс.

По поручению Гитлера шеф абвера Канарис срочно вылетел в Бургос – ознакомиться с положением дел на месте. Не дожидаясь его возвращения, просьбу Франко поддержал Геринг. Он сказал, что ему необходим испанский театр военных действий для того, чтобы испытать молодую нацистскую авиацию в столкновении с «красными».

По рекомендации Гесса, Геринга и Канариса Гитлер принял решение о поддержке Франко, и первые десятки «юнкерсов» с военными советниками на борту вылетели в Испанию.

И через два месяца после создания военной хунты Франко был провозглашен главой правительства и верховным главнокомандующим.

С протестом выступили генерал Мола, который понял, что он оказался пешкой в руках Франко, и председатель хунты Кабанельос. Но они опоздали. Франко стал единоначальным вождем мятежников, «каудильо», некоронованным императором Испании.

Генерал подождал, пока я кончил записывать, походил по огромному кабинету, сделал погромче звук в приемнике и сел около камина.

– Это не все, – сказал он, заметив, что я прячу блокнот в карман. – Это только военный аспект вопроса. Далее начинается еще более интересный аспект – политический. Это очень занятно, как Франко, – который всегда подчеркивал, что он только военный, что он «лишь выполняет свой долг перед нацией», – сделал выбор между монархистами, идеологией группы «левых» военных во главе с Мола, которые настаивали на сохранении республики, и фалангистами.

...Франко понимал, что если он начертит на своих знаменах лозунги монархизма или единоличной военной диктатуры, он не сможет повести за собой армию, потому что испанские солдаты в массе своей связаны с землей, а монархия давно скомпрометировала себя как душитель крестьянства.

Хосе Антонио Примо де Ривейра и Хосе Руис де Альда, основатель испанского национал-социалистского, скорее фа-

шистского (они тяготели к Муссолини), движения, были к тому времени мертвы. Однако их лозунги, обращенные к рабочим и крестьянам, Франко решил использовать.

К тому времени фаланга как идеологическое движение оформилась в довольно сильную партию, единственно противостоявшую Народному фронту. Франко, правоверный католик, сделал изящный поворот к демагогической терминологии национал-социализма.

...Однако был жив Эдилья, преемник Хосе Антонио Примо де Ривейра, который после гибели вождей фаланги фактически руководил движением. Эдилья был из рабочих. Начав с портового грузчика, он вырос до механика, и в фаланге он представлял «пролетарские слои». В тридцать седьмом году, весной, были объявлены выборы «вождя фаланги». За несколько дней до выборов один из помощников Эдильи был убит при таинственных обстоятельствах. Эдилью немедленно арестовала жандармерия. Естественно, делать вождем фаланги человека, арестованного по подозрению в убийстве, никто не станет. Франко убрал единственного конкурента. Сразу после этого Франко, всегда выступавший против интеллигенции, начал создавать культ Хосе Антонио Примо де Ривейра, который считался одним из ведущих интеллектуалов фаланги. И за день до начала «выборов вождя фаланги» Франко объявил, что старая фаланга распускается, а создается новая. В новую фалангу он включил всех сторонников мятежа – монархистов, к которым он тайно тяготел; фашистов, которые осуществляли прямую связь с Берлином и Римом; консерваторов, которые помогали в налаживании контактов с Лондоном. И незадолго до того, как Франко узурпировал власть в военной хунте, он провозгласил себя вождем новой фаланги. Политическая власть также оказалась в его руках.

– Франко никогда не торопился, – продолжает генерал, – ни в политике, ни в партии, ни в армии. Сейчас все обсуждают приближающийся процесс над басками в Бургосе. Поверьте моему слову: Франко захочет извлечь политическую выгоду из этого фарса, который армия – в массе своей – отвергает. В чем будет выражаться эта политическая выгода? Объясняю: после того как смертный приговор, о котором сейчас говорит вся страна, будет вынесен, Франко наверняка помилу-

ет осужденных. Темнота всегда помогает диктаторам. Уверяю вас, плебс выльется на улицы с криками: «Да здравствует каудильо, самый справедливый и добрый человек Испании!»

– Плебс... А народ?

– Что может сделать народ без армии?

– Из кого состоит армия?

Генерал улыбнулся.

– Здесь уже начинается марксизм, Хулиан, здесь начинается испанское табу...

...Карлос посадил меня в свой громадный бело-серебристый «додж» и повез на окраину Мадрида.

– Мы поедем в «Каса Гальега» – в «Дом Галисии». Самые лучшие люди в Испании – галисийцы. (Я сразу вспомнил Педро Буэна, который утверждал, что лучшие люди Испании – андалусцы.) Я говорю это не потому, что сам галисиец, и уж, естественно, не потому, что Франко мой земляк, просто труд крестьянина на севере особенно тяжек и горек. Сейчас мы с тобой поедим настоящей галисийской еды, а потом я расскажу, что мне удалось выяснить по интересующему тебя вопросу...

Он подозвал официанта, заказал «марискос» – креветки, лангусты и крабы – и попросил принести «кальдо гальега» – настоящего галисийского супа.

– Попробуем «саль пикон де марискос». Это типичное галисийское, – пояснил Карлос, – переводится на английский как «брызги понемножку». Это ассорти из разного рода рыб, креветок, лангустов. И закончим «альмехос а ла маринера» – ракушками по-морскому.

Когда официант отошел, Карлос оглянулся и показал глазами на шоссе.

– Между прочим, именно здесь, в Хараме, – сказал он, – возле дороги Ла-Корунья, был фронт. Именно здесь было сделано известное всему миру фото, которое висит у тебя дома: Эрнест Хемингуэй, Роман Кармен и Йорис Ивенс. Меня на этом фото нет, но я был рядом.

Он закурил и откинулся на спинку стула.

– Итак, по поводу нацистов в Испании... Через несколько дней я сведу тебя с одним немцем. Сейчас это добродушный старикашка. Во время войны он был оберштурмбанфюрером

СС. Он работает в книжном магазине, я покупаю у него английскую литературу. Так вот – у него есть связи со Скорцени. Не с самим, конечно, но с людьми из окружения. Больше я пока ничего сделать не смог: они живут по законам кодла – глухо...

Вечером меня пригласил на выставку своих полотен художник Альваро Дельгадо. В подвале, без естественного освещения, в одном из залов бара «Ришелье», висят великолепные портреты Барроxи, Гарсиа Лорки, моего доброго знакомого – профессора Гонсалеса Раблеса, Педро Буэна...

– Как вы могли написать Барроху и Лорку? – удивился я. – Вы ведь молоды, они не могли вам позировать...

Альваро усмехнулся:

– А вы думаете, Гонсалеса Роблеса я писал с натуры? Я вообще считаю, что с натуры писать нельзя. Я пишу с фотографий, только с фотографий. С моей точки зрения, именно фотография позволяет понять «истинность» человека.

(Когда я смотрю на свою старшую дочь Дунечку и наблюдаю ее работу с «натурой», и чувствую, как она злится, когда «натура» – младшая сестра Оля – шевелится во время сеанса, я начинаю думать, что писать с фотографии невозможно, ибо фиксация человеческого «мгновения» передает лишь моментальное. Проникнуть в существо натуры можно, лишь наблюдая ее, пристально изучая, открывая для себя неожиданное. Не зря интересный латышский писатель Александр Бэлл назвал свою повесть о скульпторе «Следователь». Фотография – это вещественное доказательство, а не исследование. Однако, видимо, нет абсолютных канонов в живописи. Такие не понятые еще людьми категории, как «угадывание», «предчувствие», «прови́дение», преподносят сюрпризы: я вспомнил Альваро Дельгадо, когда встретился с профессором Гонсалесом Роблесом. Меня потрясло, как точно Альваро угадал Роблеса по фотографии: юмор, сила, сдержанность, благородство. И дело здесь было отнюдь не во внешнем сходстве. По-моему, дискуссия о том, что абсолютное сходство суть абсолютное искусство, давно снята с повестки дня. Сходство – это еще далеко не искусство.

«Как похоже!» – по-моему, оскорбление для художника.)

Мой приятель, английский журналист, привез меня на центральную улицу Гран-Виа. Полчаса мы кружили по маленьким переулочкам (здесь, как и в Париже невозможно найти место для парковки машины), пока наконец не заехали в подземный гараж; поднялись на улицу.

– Куда ты меня ведешь, Чарли? – спросил я.

С тех пор как мы встретились, он не сказал ни слова, только показывал рукой, что я должен идти за ним следом.

Он перешел на противоположную сторону улицы Гран-Виа и, прищурившись, словно живописец, долго рассматривал огромное здание универмага.

– Запомни это здание как следует, – сказал он наконец.

Здание как здание, шумный универмаг.

– Запомнил? – спросил он.

– Запомнил.

– Ну, пойдем внутрь.

Мы пошли внутрь, долго бродили по этажам, смотрели выставку рубашек, пляжных мужских брюк, проталкивались сквозь залы «дешевой распродажи», а Чарли по-прежнему сумрачно молчал. Был он сейчас какой-то потерянный. Он несколько раз подходил к окну, смотрел на Гран-Виа, а потом повел меня в другой зал. Здесь, среди шумной толпы, он остановился – громадный краснолицый, чем-то очень похожий на сибиряка. Глаза у него сейчас были жалкие, словно у собаки, которую обидели.

– Точно, это было здесь, – сказал он.

– Что? – не понял я. – Что здесь было, Чарли?

– Здесь был мой номер. Здесь, в отеле «Флорида», я жил в тридцать седьмом году, Джулиан. Именно на этом месте стоял отель «Флорида».

Отель «Флорида»! Отель «Флорида» – «пятая колонна», Кольцов, Хемингуэй, Роман Кармен, маршал Родион Малиновский, генерал Хаджи Мурат Мамсуров, Мате Залка...

«Отель «Флорида» считается ужасно красным и ужасно революционным гнездом, – писал Михаил Кольцов. – Здесь живут летчики и инженеры интернациональной эскадрильи в шелковых незастегнутых спортивных рубашках, с навахами и парабеллумами в деревянных кобурах у пояса. Они сначала хотели выписать к себе жен, им отказали, теперь они уже не

просят – женщины нашлись в Мадриде. По ночам бывают громкие сцены с выбеганием в коридор, так что журналисты и иностранные социалистические депутаты жалуются директору. Среди летчиков есть храбрые и преданные люди, они группируются вокруг Гидеза: их мало видно в отеле, они часто ночуют на аэродроме. Есть человек десять явных шпионов и дюжина бездельников, они ведут у стойки бара шумные интриги против Андре и Гидеза. Им дают барахло вместо машин! Они не станут в угоду чьему-то честолюбию кончать самоубийством в дурацком воздухе этой сумасшедшей страны!

Здесь есть бывшие американские гангстеры, спиртовозы из воздушного отряда Аль-Капоне, искатели приключений из Индокитая н разочарованный итальянский террорист, пишущий поэму.

Настоящие красные почти не показываются во «Флориде». Они приезжают потихоньку, заходят в партийные комитеты, спят там же, в маленьких общежитиях, и уходят на фронт, инструкторами при колоннах Пятого полка, санитарами или рядовыми бойцами».

Сидит на пороге дома:
Сигарета погасла...
Берет надвинут до бровей,
А в руке нервно дрожит хлесткий прут «абельяны»...

Виктор Мануэль начинает петь негромко, как бы издалека. Он – с гитарой, а оркестр – в темноте, его не видно, он – сам по себе, оркестр еще только прилаживается к этому двадцатилетнему астурийцу, самому популярному певцу Испании.

Что вспоминает он?
Весну? Но без листьев...
Траву? Но без цвета...
Или запах мокрого динамита?
Или уголь, который он взрывал у себя на шахте?
Дедушка мой...
Он сжег себя в шахте, как бикфордов шнур...

И не слышна уже гитара. Только сильный голос Виктора Мануэля и мощь симфонического оркестра, и лишь иногда слышен быстрый перебор басовых струн – это когда Виктор шепчет: «Дедушка мой, дедушка...»

...Сын и внук шахтера, он пять лет ходил в семинарию, а потом учился в книжных магазинах, где ему позволяли часами стоять у прилавка. Он не знает нот, не учен стихосложению, но его песни поет сейчас вся Испания. Они тревожны, его песни; Виктор словно стенографирует чувства молодежи за Пиренеями. Он еще не говорит всего того, что от него ждут, но песня – это особое искусство, когда тебя понимают с полуслова, в намеке и даже в молчании.

Был вечер как вздох,
И в церквушке пел колокол,
И был мир окрест,
И в зеленой речушке плавали рыбы...
И пришли солдаты.
«Стойте, старики и дети! Смирно!
Ребята должны воевать!
Идем воевать, парень,
Идем воевать!»
Я закрываю глаза и стреляю в небо.
За кого они велели мне воевать?
Нет во мне ненависти к врагу,
Да и враг ли он мне?
«Хуан! Молчать! Хуан, воюй! Ты должен воевать!
Хуан, вперед! Хуан, ура! Ар-рестовать!»
Я трус. Сижу в тюрьме. Я трус.
И мои сограждане смеются и плюют мне вслед: «Он трус!»
И я ухожу в горы, и не слышу, как поет колокол, и не
Вижу голубых рыб в зеленой воде...
Но я мечтаю о том дне, когда я спущусь к людям.
Они должны понять меня.
Они меня поймут...

– Это было так, – рассказывает Виктор Мануэль, — я зашел в бар, а напротив сидел мужчина. Он читал газету. Там был заголовок: «Во Вьетнаме убито двести солдат». Я даже не

знаю, как это было дальше. Просто я поднялся и пошел домой. А дома взял гитару и спел эту песню. И все.

Его песни сейчас поет вся Испания. Это песни-раздумья. Он не бунтарь, он не зовет к драке. Просто он заставляет людей думать. А это так много в наши дни...

– Хорошо, я попробую устроить вам встречу со Скорцени, – сказал тот букинист из бывших СС, с которым меня свел Карлос. – Но это должно идти не от меня. Я вас познакомлю с директором большого книжного магазина, его зовут Хайнц. Мы с ним вместе сражались в танковых войсках. Я был танкистом, я не виноват, что фюрер отдал нашу дивизию Гиммлеру... Хайнц знает кое-кого из окружения «Длинного».

«Длинным» он назвал Скорцени. Это ново для меня, потому что раньше люди, с которыми я встречался, говорили о Скорцени «Отто», «Сильный», «Лошадь» или «Шрам».

Хайнц владеет магазином в центре Мадрида, неподалеку от главного «супермаркета». Здесь всегда торчит много народу, поэтому разговаривать мы с ним могли спокойно, не опасаясь, что нас услышит кто-то третий. («Теперь-то я проклинаю нацизм, – говорил мне Хайнц, – и это правда, зачем мне лгать вам? Фашизм уважаем в Испании, так что я мог бы по-прежнему держать дома фотографии фюрера... С тех пор как я начал работать с книгами, я перестал быть идиотом. Если бы приняли всемирный закон, обязывающий людей почитать книгу, как религию, фашизм исчезнет, потому что он рассчитан на глупое стадо, для которого «свой» дурак ценнее «чужого» гения лишь потому, что он свой».)

– Попробуем, – сказал Хайнц. – Пошли ко мне, будем звонить...

Телефонный разговор с одним из сотрудников Скорцени был вежлив до приторности: «О, как интересно, сеньор из Советской России! Я ничего не могу вам обещать, но я свяжусь с шефом».

(Как раз в это время в ФРГ проходили выборы в ландтаги земель, и Скорцени вылетел туда, чтобы организовать кампанию в поддержку неонацистов.)

На следующее утро мы увиделись в тихом, пустом баре отеля «Риц». Черноволосый, в переливном шелковом костю-

ме, молодой, спортивного «кроя» человек цепко оглядел меня и, заученно улыбнувшись, сказал:

– Сеньор Скорцени встретится с вами. Я говорил с ним по телефону. Он вернется через три дня, когда закончатся выборы.

– Сеньор Скорцени надеется на победу НДП?

– Лично у меня победа НДП не вызывает сомнений.

(Встретиться со Скорцени мне не удалось: во-первых, на выборах провалились неонацисты; во-вторых, в бундестаге разразился скандал в связи с попыткой подкупа людьми из окружения Штрауса депутата из правительственной коалиции; Скорцени, связанный со Штраусом, срочно лег в госпиталь. Официальное сообщение гласило, что он «внезапно почувствовал острое недомогание». Я встретился с «длинным» позже, но это другая история.)

– Сколько вам лет? – спрашиваю моего собеседника, который всячески подчеркивает свое спокойствие.

– Я младше вас на пять лет.

– Данные о моем возрасте вы получили в МИДе?

– О, у нас есть много возможностей узнавать возраст визитеров.

– Вы немец?

– Моя мать португалка.

– Ваш отец был военным?

– Мой отец был членом партии.

– Национал-социалистской?

– Да, национал-социалистской рабочей партии.

Он сказал это вызывающе – напыщенно, словно бросил мне перчатку.

– Словом, ваш отец был гитлеровцем?

– Да, мой отец был солдатом Гитлера.

– Во время войны вы жили в Германии?

– Нет, во время войны мы жили в Африке. А вы?

– Я жил в Москве, а в мае сорок пятого переселился в Берлин. После того как фюрер отбросил копыта.

– Простите?

– «Отбросить копыта» значит – «сыграть в ящик».

– История развивается по законам циклов. Быть может, мой сын проживет войну в Берлине, а после ее окончания переселится в Москву.

– Нет. Мы вас снова побьем. И немцы вам не позволят того, что они один раз позволили Гитлеру и его солдатам.

– Немцы унижены. А нация никогда не прощает унижения.

– Чем унижены немцы?

– Поражением.

– Значит, если бы немцы победили, вы бы приветствовали уничтожение в газовых камерах славян, евреев, цыган – только потому, что они люди чужой крови?

– Это все пропаганда. Сталин сговорился с Рузвельтом. Мало ли что можно наплести на движение...

– Значит, если бы немцы победили, вы бы приветствовали уничтожение в концлагерях коммунистов, социал-демократов, левых радикалов, католиков?

– Почему именно в концлагерях? Сама жизнь заставила бы коммунистов и социал-демократов отречься от их догм.

– А если бы не отреклись?

– Это решила бы жизнь. И потом, в мои обязанности не входит борьба с инакомыслящими. Мне вменено в обязанности налаживать с ними контакты.

– Но вы бы не восстали против уничтожения инакомыслящих лишь потому, что они инако мыслят?

– Я убежден, что до тех пор, пока конституция ФРГ гарантирует солдату право не выполнять приказа командира, если он считает его несправедливым, Германия будет оставаться второразрядной державой. Армия немцев должна стать такой, какой она была прежде.

У него пронзительно-черные глаза, высокий гладкий лоб, сильный подбородок. Он ждет вопроса, чуть подавшись вперед. Отвечает он сразу – словно по вызубренным шпаргалкам. Он не мыслит, не рассуждает, он говорит формулами. Руки он держит на столе, выбросив перед собой сильные кулаки. Его пальцы сжаты в кулаки. Лишь когда он достает сигарету, я понимаю, отчего он сжимает кулаки: пальцы, чуть поросшие жесткой черной щетиной, дрожат, и эту дрожь он не может скрыть...

– Сеньор Скорцени думает так же, как вы?

– Сеньор Скорцени думает, как настоящий немец. Престиж родины для него прежде всего.

...После того как Скорцени в 1947 году при загадочных обстоятельствах был освобожден американцами из тюрьмы и эмигрировал в Испанию, он жил там тихо и незаметно, подобно лидеру бельгийских фашистов Дегрелю – палачу, военному преступнику, приговоренному к смертной казни и также нашедшему приют в Мадриде.

Скорцени жил тихо – до тех пор, пока «холодная война», начатая «бешеными», не «переориентировала» прессу, искусство, юриспруденцию Запада на «врага № 1» – на Советский Союз. Те, кто умел бороться против «Ивана», внезапно из палачей превратились в героев. И Скорцени решил действовать. Но он поторопился – он хотел, чтобы «испанские коллеги по национал-социализму» оказали ему финансовую и политическую помощь в организации немедленной и активной борьбы против «красных». Коллеги ему в этом отказали – помнили эксперимент с «Голубой дивизией». И тогда испанский фашизм перестал устраивать Скорцени. Он уехал в Аргентину, написал там свои мемуары и на гонорар приобрел цементную фабрику. Ему всячески патронировали тамошние ультраправые. А когда Скорцени вернулся в Мадрид, но уже не скрывающимся военным преступником, на руках которого кровь тысяч невинных людей, а преуспевающим бизнесменом, он вошел в контакт с французской «Матра́» – автомобильным концерном, владельцы которого в годы второй мировой войны сотрудничали с фашистами как коллаборационисты. (Тогда, в начале семидесятых годов, никто еще не знал о тайных контактах ЦРУ с людьми типа Клауса Барбье и Отто Скорцени. Сейчас его «восхождение» в бизнес прочитывается не как «удача», но как этап операции разведслужб США.)

Помимо автомобилей «Матра́» Скорцени начал заниматься ракетами и оружием, – это устраивало и бывших вишистов, и тех господ из «ЕОД» («Европейское освободительное движение»), которые тесно связаны и с неонацистами, и с «ястребами» Пентагона.

У «Матра́» были издавна отлажены контакты с международными рынками в Африке. В 1965 году «Матра́» – через Скорцени – заключает договор с итальянской фабрикой вооружений «Отто Мелара». Президент этой компании Кандидо Бельярди был одним из приближенных Муссолини и с тех

еще времен почтительно дружит с «освободителем Муссолини» – эсэсовцем Скорцени.

«Матра́» и «Отто Мела́ра» начали наступление на африканском рынке оружия. Атаку возглавил лично Скорцени. Он руководил поставками оружия сепаратистам Биафры. Он заключил соглашение с правительством Либерии, которая стала своего рода перевалочной базой, ибо правительства Франции и Италии не дали – по понятным политическим мотивам – разрешения на прямые поставки оружия нигерийским сепаратистам.

Здесь, в Либерии, на маленьких аэродромах, Скорцени загружал оружие в арендованные самолеты, летал над Биафрой и сбрасывал с парашютами ящики с оружием сепаратистам.

Когда сбрасывать оружие с парашютами стало трудно, ибо законное правительство теснило сепаратистов, Скорцени приобрел самолет с крохотным размахом крыльев и начал сажать его на узких площадках в джунглях.

После разгрома мятежников Скорцени ненадолго уезжает в Мадрид. Официальная версия – «внезапное недомогание». На самом деле ему надо было подсчитать барыши: на поставках оружия он заработал немало миллионов. Идеология идеологией, а прибыль прибылью. «Выздоровев», он летит в Южный Судан и там снабжает оружием отряды наемника Штайнера. На этих поставках Скорцени заработал еще более крупное состояние. А уже после этого он отладил прямые контакты с крайне правыми в ФРГ и в Италии.

(Денег у него много. С конца 1968 года только в Южную Африку он продал ракет типа «Матра́-530» на десять миллионов западногерманских марок. Он продавал огромное количество ракет и вооружения португальцам, родезийцам, парагвайцам...

Путем сложной коммерческой аферы он достал девятимиллиметровые карабины, которыми пользуются в армии НАТО, и снабдил ими расистов Южно-Африканской Республики. С каждой выгодной коммерческой операции Скорцени, как утверждают, переводит три процента группам ультра в ФРГ и в Италии.)

Никто из моих испанских коллег не располагает точными данными – именами, кодами, номерами банковских счетов, – но все убеждены в том, что существует точно отлаженная цепь, соединяющая режим ЮАР, неонацистов ФРГ и

Италии, «черных полковников» в Греции, военных в Бразилии, стресснеровцев в Парагвае, расистов в Родезии...

Скорцени редко живет в своей вилле в Мадриде, он теперь открыто летает по всему миру. Мои испанские друзья убеждены, однако, что он лишь помощник «главного». Шеф всей этой сети – Борман. И живет он (или жил) в Латинской Америке. Именно Борман является идеологом «нацистского возрождения».

Бывший испанский дипломат, пресс-атташе в Лондоне, Анжель Алькасар де Веласко заявил в прессе, что он принимал участие в переправке Бормана в 1946 году из Испании в Латинскую Америку. Он утверждал, что Борман прибыл в Испанию в 1945 году; в мае 1946 года отправился в Аргентину. Борман на прощание сказал ле Веласко: «Европа еще увидит меня во главе новой и более сильной Германии».

О том, что «главный» и поныне очень силен (если это Борман и если он действительно жив), свидетельствует одно любопытное, до сих пор толком не раскрученное дело.

В конце пятидесятых годов был арестован военный преступник, профессор Вернер Хейде. Во времена Гитлера он был участником операции под названием «эфтаназия». Этой операцией руководил лично Борман. Она заключалась в том, чтобы наладить «промышленное» уничтожение тысяч людей – под видом безнадежно больных.

В течение пятнадцати лет после разгрома гитлеризма Хейде скрывался под именем Заваде. Когда он был арестован, начались всякого рода судебные затяжки. Более пяти лет он сидел в тюрьме, а когда, под давлением общественности, дело его должны были передать на открытое судебное разбирательство, он покончил жизнь самоубийством, причем до сих пор никто не может сказать со всей определенностью, было ли это убийство или самоубийство.

Этому предшествовал целый ряд загадочных событий. Хейде пытались похитить из тюрьмы. Доктор Боне, человек, который организовывал похищение, когда план провалился, немедленно улетел в Аргентину. Его сообщник, доктор Тильман, за четыре дня до начала процесса выбросился из окна, а министр одной из «земель» ФРГ, доктор Остерло, который был замешан в деле Хейде, 25 февраля 1964 года был обнаружен на дне кильской бухты задушенным.

Эйхмана выдали потому, что он находился в подчинении мертвого Гиммлера и мертвого Розенберга. Выдали Штангля потому, что он находился в подчинении мертвого Кальтенбруннера. А когда дело касается людей, участвовавших в бормановской злодейской операции «эфтаназия», тут все концы обрываются немедленно.

Испанские друзья пытались устроить мне встречу с представителями вполне легальных здесь нацистских организаций. Первой из них по весомости можно считать мадридский «Геополитический центр», который занимается идеологической деятельностью. Рядом с ним, неподалеку от вокзала Аточа, находится организация «Балканских эмигрантов», которую возглавлял хорватский фашист, военный преступник Павелич. Здесь же существует «Европейский центр документации и информации» во главе с Габсбургом, в который входят не только нацисты, но н недавно умерший командир «Голубой дивизии», в прошлом ближайший сотрудник Франко.

Испанские друзья считают, что Мадрид не является центром всемирной подпольной организации нацистов. Однако, утверждают они, в Мадриде существует подпольное руководство нацистским движением в Европе. А руководить есть кем: в Англии, например, легально существует национал-социалистское движение, «Лига защиты белых»; в Бельгии – «Движение гражданского действия» и «Центр контрреволюционных исследований»; в Голландии – «Национальное европейское социалистское движение»; в Швейцарии – организация «Новый европейский порядок»; в Швеции – «Северная имперская партия»; в Норвегии – «Союз социального обновления»; в ФРГ – неонацисты НДП; в Италии – открытые последователи дуче, ультраправые из «МСИ», имеющие места в парламенте.

Мадрид. Семенов.
Редакция «Литературной газеты»
(передано с оказией):

«Ночью мы возвращались из рабочего района Мадрида, – там, возле нового стадиона, среди темных махин кранов, со-

бирались товарищи, чтобы обговорить завтрашний день: была назначена демонстрация в поддержку бастующих басков.

В центр, на улицу Кальво Сотелло, меня подвозили Франсиско, Лопес и Виктор. Я был под впечатлением этого ночного собрания; мои товарищи, для которых это каждодневная жизнь, быстро говорили о чем-то, смеялись, а я вспоминал оратора с заводов «Пегаса». Так же, как в наших фильмах тридцатых годов, он стоял на перевернутом ящике, комкал в руках берет и произносил речь – тихо, почти шепотом, но говорил он так ярко и сильно, что казалось, будто голос его грохочет, усиленный сотнями ретрансляторов.

– Хулиан, у нас возникло предложение, – сказал Лопес, когда мы выехали на авениду Хенералиссимо. – Мы очень внимательно читаем все, что пишут в Москве об Испании. У вас верно и хорошо пишут о том, что здесь происходит. Но вы совсем не пишете о том, как прекрасна земля Испании, как красивы ее дороги и как поразительны синие водопады. Мы, – Лопес улыбнулся, – наша ячейка, хотим поручить тебе ответственное задание: проехать по дороге Дон-Кихота и написать об этом для советских товарищей. Честное слово, нам это будет очень приятно. Ваши люди смогут тогда понять, что мы хотим счастья не просто нашей стране, а нашей красивой, нежной и замечательной стране.

Назавтра утром за мной приехал товарищ, и мы отправились на юг.

...Дороги Ла-Манчи... То брошенные через плоскую, как доска, желто-красную равнину с фиолетовыми контурами далеких гор, одиноких и неожиданных, в дрожащем, размытом предзакатном мареве, то внезапно извилисто уходящие в холмы, – а их минуту назад и видно-то не было, – холмы эти, словно в волшебстве, становятся лесом, и шершавые листья жестяно перекатываются по асфальту, а под вами, в метре от правого крыла старенькой машины, – зеленые лагуны Руидеры. Дороги Ла-Манчи уже сами по себе поэтичны, и не оставляло меня ощущение, что когда-то я дороги эти уже видел.

А когда нам встретился пастух с маленькой собачонкой, которая следила за волосатыми козами, и был одет пастух в кожаные лапти, и в коричневой его руке был посох, а на голове козья шапка, и сумка с вином и сыром за спиной была свя-

зана из толстых веревок, и земля была каменистой, красноватой, и закат был тугим, сине-багрово-желтым, я вспомнил козинцевского «Дон-Кихота», Черкасова с Толубеевым и подивился тому, как великолепно сняли Ла-Манчу под Кокте-белем.

...Товарищ привез меня в самый центр Ла-Манчи, в маленький городок Мота-дель-Куэрво, — все окна забраны игривыми ажурными решетками, в открытых двориках цветы и белье, кажущееся голубоватым — так оно чисто; редко блеснет черный глаз юной красавицы за белой занавеской окна, — отсюда я решил начать путешествие по дороге Дон-Кихота. В Мота-дель-Куэрво было пусто, туристский сезон кончился, и незримая печаль наступающего зимнего одиночества лежала здесь на всем: и на безмашинной бензозаправочной станции, разукрашенной как во время фиесты, и на пустом ресторанном зале «Месон де Дон-Кихоте», сделанном с отменным вкусом и незаискивающим уважением к старине, и даже на том жадном любопытстве, с которым завсегдатаи таверны обернулись в мою сторону: всякий новый человек здесь всегда событие, позволяющее пропустить лишнюю пару стаканчиков тинто, а заодно решить целый ряд животрепещущих мировых и местных проблем...

Портье в «Месон де Дон-Кихоте» Мигель Бросалес, по счастью, знал немецкий в тех пределах, которые позволили нам отменно понять друг друга.

Товарищ уехал в Мадрид, а я остался здесь, в Ла-Манче, с пятью испанскими словами в моем словарном багаже и с картой, на которой были помечены городки, которые мне надлежало посетить: Аргамасилья-де-Альба, Томельосо, Руидера, Вальдепенья, Мансанарес, Пуэрто-Лапиче, Эль-Тобосо, Алькасар-де-Сан-Хуан и Кампо-де-Криптана...

Ах, добрый, веселый шофер Маноло! Мигель познакомил меня с ним, когда тот, страдая от вынужденного безделья, допивал пятый стакан терпкого тинто, стоя возле стойки «Дома Дон-Кихота».

— Проехать по дороге Сервантеса с сеньором русо?! Это ли не моя работа! — воскликнул Маноло, закуривая черную сигару. — Я и по-русски немного говорю: «Москва», «спутник», «здравству»! Мы прекрасно поймем друг друга.

Через пять минут он подогнал к «Дому Дон-Кихота» машину, и мы отправились по дороге Сервантеса.

Маноло сразу же начал обстоятельно объяснять мне что-то, подолгу бросая руль, – испанец не может говорить, не жестикулируя; иногда он оборачивался назад и, чуть оттягивая нижнее веко левого глаза указательным пальцем, что означает у испанцев: «Смотри внимательно!» – показывал мне ветряные мельницы возле Кампо-де-Криптана и коричневые средневековые замки, горделиво возвышавшиеся на вершинах холмов, а машина его, словно Росинант, катилась сама по себе, иногда по бровке кювета, а иногда заезжая не на свою сторону. Маноло это нимало не смущало, он в самый последний миг резко вывертывал руль и спрашивал:

– Компренде, Хулиан?

– Но компрендо, Маноло, — скорбно признавался я. – Не понимаю...

Тогда он начинал повторять то же самое, только в три раза громче и в два раза медленнее.

...Ла-Манча, Ла-Манча, живое средневековье, крохотные городки под красными черепичными крышами, оливковые рощи, виноградные склоны, пастухи на обочинах дорог, в тени дерева, с надвинутыми на глаза шапками, редкие «форды», тишина и музыка – неслышная, но ощутимая в тебе самом, – музыка фламенко, их короткопалые, крепкие руки, точно выбивающие ритм, их голоса – пронзительно чистые, доверчивые, грустно-веселые, их мокрые лица после десяти минут медлительно-яростного танца, когда ты, зараженный ритмом и песней, не можешь сидеть спокойно и тебе хочется подняться и стать таким же сильным, потным и веселым, как этот крестьянский парень, которого никто и никогда не учил песне – он рожден вместе с песней, этот фламенко...

(«О, эта книга великая, – отмечал в «Дневнике писателя» Достоевский, – не такая, какие теперь пишут; такие книги посылаются человечеству по одной в несколько сот лет... Взять уже то, что этот Санчо, олицетворение здравого смысла, благоразумия, хитрости, золотой середины, попал в друзья и спутники к самому сумасшедшему человеку в мире... Все время он обманывает его, надувает, как ребенка, и в то же время вполне верит в его великий ум, до нелепости очарован ве-

ликостью сердца его, вполне верит во все фантастические сны великого рыцаря и ни разу во все время не сомневается, что тот завоюет ему, наконец, остров!»)

В Аргамасилья-де-Альба – пустынном бело-черном городе – Маноло бросил машину посреди маленькой Пласа Майор, только была она не похожа на мадридскую главную площадь, не была окружена спинами древних донов и не открывалась неожиданно, гулко, словно бы ударом, а вся подчинялась громадному кафедралу со старинными, XVI века, деревянными воротами. Маноло пошел по улице Сервантеса к подъезду, где живет смотрительница дома, в котором родился Дон-Кихот.

– Анхелита! – громко, так, что высунулись из окон все жители окрестных домов, закричал Маноло и несколько раз стукнул литой бронзовой лапой тигра, укрепленной на двери домика (испанцы презирают звонки). — Я привез сеньора русо!

Появилась Анхелита с «пепитой» Хосеба – десятилетней дочуркой. Помогая себе плечом, открыла громадным ключом ворота дома, где в темнице, в подполе, сидел Сервантес и писал своего, нет, не своего, а нашего Дон-Кихота, и я вошел следом за ней в пустой двор, и увидел колесо от кареты, седло Росинанта, брошенное возле громадных глиняных кувшинов, и вошел в холодный, пустой дом: бурдюки с вином, по-украински чисто выбеленные стены, – и встретился я с детством, с тем первым «Дон-Кихотом», которого нам читают, а потом спустился в подвал, где было холодно, а не прохладно, я увидел решетки – не витые, а тюремные, – и встретился с Сервантесом, которого мы читаем, став взрослыми...

Анхелита ворчливо объясняла, на каком столе обычно обедает Дон-Кихот и где он читает, и говорила она о рыцаре так, словно бы этот добрый непутевый старик ненадолго уехал в Эль-Тобосо, а Маноло «переводил» мне – повторяя слова Анхелиты очень громко, но в пять раз медленнее, чем тараторила смотрительница.

...Водопад, голубая прозрачная вода, красные скалы, желтые тополя, белый прибрежный песок, серебряные нити проводов, словно паутинки в наших лесах в дни редкого ныне бабьего лета, – это дорога к пещерам Монтесимос, по берегам поразительных в своей красоте лагун Руидеры. Асфальт ухо-

дит вперед, а Маноло сворачивает направо, на каменистую бурую землю, кустарники царапают дверцы машины, путь преграждают козы, волосатые, как хиппи (боже, сколько их!), пастухи смотрят на машину с серьезным и пристальным интересом; минуем деревушку, обгоняем двух мулов (не Санчо ли Панса сидит на одном из них – такой же толстенький и приземистый), поднимаемся по крутому склону, потом чуть спускаемся вниз. Маноло резко берет на тормоза, распахивает дверцу, закуривает очередную черную сигару и говорит:

– Куерос Монтесимос. Компренде, Хулиан?

– Компрендо, Маноло, понимаю, милый Маноло, как же это не понять?!

Дон-Кихот «направился к обрыву, но, удостоверившись, что проложить себе дорогу к спуску в пещеру можно лишь с помощью рук и клинка, выхватил меч и давай крушить и рубить заросли, преграждавшие доступ к пещере, по причине какового шума и треска из пещеры вылетело видимо-невидимо большущих ворон и галок... Они... сшибли Дон-Кихота с ног, так что, будь он столь же суеверным человеком, сколь ревностным был он католиком, то почел бы это за дурной знак и отдумал забираться в такие места».

Все точно. Воронье летело из пещеры, гомонливо переругиваясь, вход прикрывали кусты с острыми колючками и не было вокруг ни единой души.

– Пошли, – предложил я Маноло, но он, видимо, отличался от Дон-Кихота в сторону суеверной почтительности к таинственному, поэтому от спуска в пещеру отказался, сделав неопределенный жест рукой: мол, лучше с этим делом не связываться.

Пещера, поначалу маленькая, уходит под землю далеко и глубоко. Летом, когда сюда забредают вездесущие американские туристки, ребята из окрестных селений водят их за небольшую плату по лабиринтам и показывают истоки Гвадианы. Водят их с фонариками, некоторые, особенно щеголеватые гиды – с керосиновыми лампами. Группа бабушек предложила установить в пещерах электроосвещение («американская деловитость», куда ни крути!), однако этот проект остался пока что, слава богу, неосуществленным. (Приезжавшая на съемки картины американская киногруппа, между прочим,

предложила городским властям Авилы, уникального в своем роде средневекового города, обнесенного крепостными стенами, – живой памятник мировой культуры, – взорвать для нужд съемок один из пролетов стены. Когда им отказали, американские продюсеры не могли взять в толк: «Почему? Мы же потом все реставрируем, построим такой же пролет из настоящих кирпичей и облицуем так, что нельзя будет отличить от остальных...»)

...Когда я вышел из пещеры, солнце стояло в зените, и в который раз потрясли меня цвета Испании, и я понял русских художников, приезжавших сюда работать: нигде в мире, даже в Италии, нет такого соседства цветов, которые на каждом шагу встречаешь здесь. От бурых, выгоревших под солнцем виноградников, но не просто бурых, а таящих в себе избыточно-сочную красоту, цвет их силен и мощен, ибо он пропитан солнцем, – до далеких золотых полей пшеницы; от густой синевы лесов до отсутствующей голубизны неба – такие цвета были вокруг у входа в пещеру Монтесимос и была еще тишина, подчеркивавшаяся серебряным перезвоном колокольчиков, надетых на бычьи шеи...

...В Эль-Тобосо – городок словно бы остановился в своем развитии со времен Сервантеса – смотритель дома Дульсинеи сначала завел меня в маленькую, пыльную комнату-библиотеку и открыл большую книгу – немецкое издание «Дон-Кихота».

– А у вас, русских, знают Дон-Кихота?

Мне было трудно ответить смотрителю, что Луис Мигель Домингин, человек, не просто любящий Испанию, но и очень тонко понимающий ее, сказал мне: «Лучшее издание «Дон-Кихота» – русское, с иллюстрациями... – он долго не мог справиться с мудреной фамилией, по потом все-таки выговорил: – Кукрыниксы...»

Мне было трудно объяснить ему, что у меня на родине Сервантес издан тиражом в несколько миллионов экземпляров — больше, чем в других странах мира.

...Так же, как и в Аргамасилья-де-Альба, большой ключ отпирает деревянную, старинную, с загадочной ковкой дверь, так же, как там, ощущение – Дульсинея сейчас вернется от подруги; такая же узнаваемость всех предметов: и зала, которая казалась Сервантесу громадной, а нам кажется маленькой

комнатой (с веками изменилось не только время, которое стало стремительным, но и понятие «пространство» – оно выросло; впрочем, и человечество «подросло» за эти триста лет сантиметров на двадцать), и спальня прекрасной испанки, и комната, отведенная Дон-Кихоту на втором этаже, с узкими стрельчатыми окнами, обращенными на восток.

– Здесь, – говорит Маноло и подходит к стене, – Дон-Кихот ложился на старинную кровать и, подкладывая руки под щёку, – спал. А к этой двери подходила «гуаппа», «мухер» де Дон-Кихоте – Дульсинея.

...Ночью я вышел из отеля, – городок спал, а мне не спалось, и, согласитесь, это естественное состояние для любого человека, оказавшегося бы на моем месте. Луна была совсем белой, с радужным фиолетовым ободком. Даже ночью улица была поделена на точные, бескомпромиссные цвета – непроглядно-черный и сине-голубой, лунный.

Я вышел из городка; ветер, который прилетал с полей, был пронизан горьким запахом жженых листьев, был он теплым и сухим, и приближение зимы угадывалось только в черной бездонности неба, которое зимой всегда кажется дальше от земли, и звезды перемигиваются чаще, и цвет их меняется – делается каким-то неживым, электрическим...

– Пст! – окликнул меня человек из длинной белой машины, стоявшей на обочине. – Пст, амиго!

«Пст» – это не оскорбительно в Испании. Так обращаются не только к официанту, шоферу или кондуктору, так обращаются и к другу.

– Русский или английский – пожалуйста, – ответил я, – на крайний случай – немецкий. Йо но компренде эспаньоль.

– Неужели вы из России? – спросил высокий мужчина на хорошем английском и быстро вышел из машины. — Фантасмагория какая-то.

Был он одет в охотничий костюм – ботинки с высокими крагами, зеленые гольфы, шляпа с пером; протянул руку.

– Давайте знакомиться, – и назвал свое имя.

Был он маркизом, из семьи, широко известной в Испании, и был маркиз слегка пьян. (Еще тогда я подумал, что кое-кто из почитателей изящной словесности наверняка поморщится: «Маркиз был пьян».)

А как быть, если наш разговор у него на «финке» – загородном доме, – в котором принимали участие известный тележурналист и профессор Толедского университета, носил такой характер, что имени собеседника моего не назовешь и, следовательно, иначе, как «маркиз», не определишь, учитывая специфику нынешней испанской ситуации.

Маркиз ждал «автопомощь», что-то у него случилось с карбюратором, он гонял по бездорожью, отыскивая жирных красноголовых куропаток, – не удивительно, что мотор сдал.

Мы перебросили в кузов подошедшего «пикапа» десятка два птиц и поехали к маркизу, на берег лагуны, в новый дом, построенный из старинных моренных бревен. Маркиз не уставал поражаться, что встретил в ночной Ла-Манче настоящего «совьетико», цокая при этом языком и делая левой рукой точно такой жест, как шоферы и пастухи: пальцы в кружок, локоть отстранен от туловища, словно отталкиваешь кого-то незримого, и резкие движения – вверх и вниз, вниз и вверх...

Налив вина, маркиз пояснил:

– Мое. Самое вкусное. У него тоже есть виноградники, – он кивнул на журналиста . – То, что он делает в печати, – хобби, на самом деле он эксплуататор. Как и я. Только он еще примыкает к банку «Атлантик»...

Маркиз выжидающе посмотрел на меня и закончил:

– А это значит, что он тайный агент вездесущего «Опус деи».

Журналист-«эксплуататор» весело посмеялся.

– Как и всякий истинный аристократ, наш друг пугает сам себя и всех окружающих. Власть имущим аристократам нравится сокрушать тайные заговоры. Особенно когда их нет – ведь без заговоров так скучно...

Профессор, сняв «очки-велосипед», попросил:

– Дай виски, маркиз. Твою доморощенную бурду я пить не могу. Изжога.

– Сейчас он начнет звать к крови, – пояснил маркиз, вздохнув. – Объясните: почему интеллектуалы, вместо того чтобы обращаться к светлому в человеческих душах, апеллируют к нашему звериному изначалию? Может быть, вы, – он обернулся ко мне, – тоже хотите виски? Нет? Правильно, ви-

но – это солнечные консервы. Дешево, но полезно. Режьте хамон, это тоже сделано у меня, мясо изумительное...

– Долго думаете пробыть у нас? – спросил профессор.

– Месяц...

– Если побудете дольше, увидите хорошую корриду.

– Я в воскресенье приглашен на Пласа де торос...

Профессор вскинул брови:

– Я имею в виду иную корриду. Когда пустят кровь кое-кому из «Опуса».

Об «Опусе деи» до недавнего времени я знал очень мало, как, впрочем, и большинство жителей «шарика», пока в Париже не появилась сенсационная «Белая книга» участника «Опуса», который впоследствии вышел из этой таинственной технократо-масонской ложи.

Организация эта была создана в 1928 году двадцатишестилетним Хосе Мари Эскрива Балагером. О ней до недавнего времени никто ничего толком не знал.

Сейчас об «Опусе» в Испании знают все. Я видел, как полиция замазывала громадный лозунг на стене лома: «Испания – да, «Опус» – нет!» Не правда ли, занятно: полиция охраняет достоинство «Опуса»?! Сам Балагер, купивший ныне титул маркиза, приставку «де» и добавление к имени «Альба», живет в Риме. Ранее об «Опусе деи» можно было судить лишь по книге изречений Балагера, озаглавленной резко и кратко – «Путь».

«Ты полон сил, энергии; то, что должно быть сделанным, сделано! Иначе Тереса из Авилы никогда бы не стала святой Тересой, а Игнасио Лойола не стал бы святым Игнасием...» «Стоп! Не говори: «У меня такой характер, я не могу иначе!» Будь мужчиной!» «Компромисс – это слово можно найти лишь в словаре тех, кто не хочет сражаться, в словаре тех, кто признает себя побежденным, даже не начав драки». «Без четко составленного плана всей твоей жизни ты никогда ничего не добьешься». «Сердце – в сторону! Долг – сначала! Лишь выполнив долг, можешь вернуть сердце на место». «Ты, счастливый сын бога, живи и чувствуй дух нашего братства! Но без фамильярностей!»

В Испании, где авторитет католичества весьма силен, всякое слово, произнесенное от имени бога, воспринимается

очень серьезно. Но можно ли считать «Опус деи» организацией воистину католической, религиозной?

– «Опус» так же близок к религии, как я к гинекологии! – говорил профессор. – «Опус» служит делу. Он космополитичен! Сам Балагер утверждает, что его филиалы существуют в шестидесяти странах пяти континентов. И вот, пользуясь тем моральным капиталом, который наработал в Испании католицизм, они, – профессор обернулся к журналисту, – твои друзья по «Опусу», объединив вас в масонскую ложу бизнеса, растаскивают Испанию по карманам, не утруждая себя думами о национальном достоинстве испанцев! Поэтому вас не любят.

Журналист отхлебнул вина и спросил:

– Кого это «нас»? И почему «не любят»?

– Перестань! Теперь кое-кто из министров открыто говорит о том, что состоит в «Опусе»!

– Ты не ответил на второй вопрос: почему не любят? За что? Разве «Опус» не помог борьбе с безработицей? У нас ведь нет безработицы, Эусебио! Разве «Опус» – если, конечно, это «Опус» – не строит отели на Солнечном берегу Средиземноморья, куда приезжает ежегодно двадцать миллионов туристов?! А их доллары остаются в Испании! Хочу подчеркнуть – в Испании!

– А что эти доллары дают испанцам? Их видят испанцы? Эти доллары немедленно вкладываются в строительство новых отелей и вилл!

Маркиз зевнул, прикрыв рот тонкой ладонью, и тихо спросил меня:

– Не скучно? Потерпите, они скоро подерутся. Мы ведь горячая нация... Распусти нас – все друг друга перестреляем...

Журналист явно дразнил профессора своей вкрадчивой медлительностью, отточенной четкостью формулировок и предельной обнаженностью своих позиций.

– Ты напрасно сердишься, Эусебио. Да, деньги вкладываются в новые отели, а это означает, в свою очередь, приток еще большего числа туристов, что позволит в будущем иначе спланировать бюджет страны, выделив средства на строительство школ и больниц...

– Каких школ и чьих больниц? Я сам рву себе зубы! Сам! Ниткой к двери! Как в тюрьме! У меня нет денег на стоматолога!

– Это твое личное дело, – улыбнулся журналист. – Меня сейчас интересуют не твои зубы, а твои соображения. Что ты предлагаешь – в широком плане?

Профессор сел на подоконник.

– Ничего, – устало сказал он. – В этом всегдашняя беда интеллигенции. Ничего я не предлагаю, я выступаю лишь против очевидно несправедливого. И я очень боюсь того, что армия, те в ней силы, которые связаны с американцами, – а это «черные полковники», — могут воспользоваться народной нелюбовью к «Опусу»... И американцы поддержат «полковников», потому что те – против ваших «европейских тенденций развития».

Журналист не выдержал, вспылил:

– Ты говоришь как оголтелый... красный!

– Красными не рождаются, красными становятся... И я совершенно не против того, чтобы вы вели свой бизнес, – возразил профессор, – но только, пожалуйста, думайте хоть немного о будущем, а это значит – о народе... И не только через призму вашего личного благополучия, а как о той силе, которая станет в конечном итоге принимать решение, самое последнее решение! От этого никому и никогда не уйти. Никогда, и никому, – повторил профессор, – и нигде... Вы все ищете лишь очевидную выгоду. И губите душу народа: разлагаете юношество мизерными идеалами аккуратного благополучия; ученых заставляете служить вашей схеме, душите их мысль; в искусстве поощряете серость...

Маркиз выключил громадный краснодеревый стереокомбайн; два молчаливых человека в белых смокингах и накрахмаленных перчатках кончали сервировать стол.

Он подошел к профессору, положил ему руку на плечо и сказал:

– По-моему, ты торопишься, Эусебио, как всегда, торопишься. И у моего гостя может создаться впечатление, что Испания составлена из одних только нерешенных проблем. Разве мы не готовим Испанию к демократии? Разве мы не накормили народ и не одели? Разве испанские женщины ездят за продуктами во Францию, Эусебио? Нет, к нам по субботам приезжают француженки и унижают себя дотошной торговлей на рынках Сан-Себастьяна и Барселоны... Ты знаешь ис-

панцев, ты знаешь горячность нашу и порывистость, податливое загорание от яркого слова и горделивое желание умереть за то слово, в которое поверил. У нашего гостя может создаться впечатление, что мы сейчас выходим из изоляции лишь потому, что полны нерешенных проблем, а это ведь неверно. Мы идем на широкие контакты с миром лишь потому, что наиболее сложные проблемы уже решены, и решены спокойно, бескровно и взаимоуважительно... (Хм-хм, – «бескровно и взаимоуважительно»!)

Я слушал маркиза и вспоминал заповедь Балагера, отца «Опуса»: «Скажи то, что сказал, только в ином тоне, без гнева, и твои аргументы окажутся наисильнейшими». Профессор досадливо махнул рукой, включил транзистор. Лондон передавал новости. Сообщалось о демонстрации в Мадриде. Несколько демократов, и среди них выдающийся режиссер Бардем, автор «Смерти велосипедиста» и «Главной улицы», были арестованы. Диктор читал бесстрастным голосом о забастовках в Астурии, которые, по утверждению корреспондента, «были организованы коммунистами», и о подготовке к процессу в Бургосе.

– Нет, – покачал головой профессор и вздохнул. – Нет, – повторил он, – все-таки я прав...

(Вероятно, он-то сказал это отнюдь не потому, что был последователем Балагера, который советует: «Научись употреблять слово "нет"».)

Я вернулся к себе, когда рассвело и мир окрест снова стал узнаваемым и реальным.

...Возле Сеговии открыт музей «Рио Фрио», куда посетителей пускают «от солнца до солнца».

Но в Испании есть что смотреть и после заката солнца, и накануне рассвета.)

– Какие-то у вас странные «хвосты», — сказал я товарищу, который показал мне головой на трех неимоверно расфранченных юношей с тщательно уложенными в парикмахерской кудрями. (Наверное, в подвалах Пуэрта-дель-Соль, где размещена секретная полиция, есть свои искусные парикмахеры. Как-то неудобно, по-моему, приходить в обыч-

ную парикмахерскую и делать кудри, чтобы потом следить на улицах за людьми.)

– Ничего странного, – ответил мой товарищ. – Они экипированы под праздношатающихся, а таких у нас много, они поэтому незаметны в толпе. Будь мы с тобой в промышленной, высокоразвитой стране, я бы искал шпиков, загримированных под рабочих. В Парагвае их, например, гримируют под нищих крестьян – это типично для диктатуры Стресснера. Тайная полиция оберегает диктатуру нищеты. Ничего, а?

Мой товарищ хорошо знает местную полицию – он просидел в Бургосе восемь лет, из них два года в одиночном «пенале».

– Меня арестовали на рассвете, – рассказывает он, – меня и еще двенадцать наших товарищей. Младшему было шестнадцать. По закону нас обязаны отпустить после семидесяти двух часов задержания, если у тайной полиции нет материалов, чтобы передать дело в трибунал. Поэтому первые трое суток – самые трудные. Спать не дают ни минуты. Сначала тебя допрашивают молодые ребята вроде тех, которые шлепают сейчас за нами, – завитые, в перстнях, очень сильные. Впрочем, допрашивают они мало, больше бьют. В тайную полицию отбирают очень сильных молодых людей – они проходят специальную медицинскую комиссию. Среди молодых шпиков более всего ценятся тупицы – их «бросают» на работу с арестованными интеллектуалами; это одна из форм «прессинга» на узника: попробуй поговори со стеной, сразу начнешь беситься. Молодые следователи избивают в течение двух суток, они работают по конвейеру; четыре часа бьет одна группа, четыре – другая, четыре – третья. И так – сорок восемь часов кошмара. А потом в камеру врывается старик – в скромном костюме, без перстней, седой, как правило. Мне потом показалось, что их специально подкрашивают, – седина всегда вызывает доверие. Так вот, этот старик начинает орать на молодых следователей: «Мерзавцы, как обращаетесь с человеком? Стоит только заболеть, так сразу начинаете свои штучки? Вон отсюда! Вы уволены из полиции! Ищите себе работу на фабриках!»

Молодые понуро уходят из камеры, старик выключает прожектор, направленный в твои глаза, снимает наручники, дает воды, заказывает кофе и начинает беседу.

«Вы должны понять этих мальчиков, – говорит он, – их отцы погибли во время гражданской войны; сиротство, ожесточенность. В конце концов, виноваты обе стороны, но не это главное. Главное в том, что мы все испанцы, одна нация, одна страна».

Дальше он будет петь еще два часа, и если это подействует, и ты начнешь исподволь вступать с ним в беседу, и подпишешь какой-нибудь, по его словам, «сущий пустяк», арест продлят на месяц или на год. Некоторые из товарищей, особенно молодые, не знакомые с опытом борьбы, попадаются в ловушку – после двух суток пыток, без сна, когда глаза слезятся от света прожекторов, люди начинают тянуться к этому мягкому голосу, к доброжелательному взгляду, к участливо протянутому стакану воды.

– А если ты оказался крепок? – спрашиваю я . — Если ты не отвечаешь этому старому актеру, тогда как?

– Тогда снова приходят молодые и бьют насмерть. У меня они выхлестали шесть зубов и поломали три ребра. Потом, когда подходит конец третьих суток и меня надо по закону отпускать, они вводят в игру провокатора, который дает показания, что я член подпольной группы, готовил восстание, ну и так далее.

...Вечером товарищ привез меня в Гвадараму, к памятнику жертвам войны, воздвигнутому неподалеку от Мадрида.

– Монумент рекламируют как надгробие всем испанцам, погибшим на фронтах, – и красным и синим, – сказал мой товарищ. – Доверчивые попадаются на эту гнусную удочку. Им ведь никто не рассказывает, что этот памятник воздвигали узники концлагерей, коммунисты, католики, социалисты, анархисты. Их здесь похоронено несколько тысяч, под этими шлифованными гранитными плитами. А несли охрану – с автоматами – синерубашечники-фалангисты.

Лечу в Севилью. «Шумит, бежит Гвадалквивир», табачные фабрики, прекрасная Кармен, цыганские ярмарки, Проспер Мериме.

Ночная Севилья совсем не похожа на Мадрид, Памплону, Саламанку. В архитектуре так сильно арабское влияние, что мне порой казалось, будто я иду по маленьким улицам прекрасного Бейрута.

Ни в одной гостинице мест нет. Старинный, мавританского стиля отель «Кристина» забит американскими туристами. Когда я говорил с портье, ко мне подошел парнишка:

– Если вам нужно место в отеле, я покажу.

Мы пошли по изразцовой Севилье – почти весь город в изразцовых стенах, – и во всем кругом мне слышалась тихая, протяжная музыка арабов. Мы толкнулись в три отеля, и музыка исчезла – мест нигде не было. Парень спросил:

– Согласитесь переночевать в приватном пансионате?

– Почему нет? С удовольствием.

– Но там плохо с удобствами.

– Бог с ними. Важно, чтобы было куда положить голову.

Он привел меня на улицу Девы Марии, долго дергал чугунную ручку звонка – язык, торчащий из пасти льва. Заспанная девушка открыла маленькую скрипучую дверь, и я оказался в большом – с пальмами и бассейнами – мавританском дворике. Испанские дома прекрасны, и в каждом может быть сюрприз. Вы стучитесь в ворота и не знаете, какое чудо будет вас ожидать: то ли войдете в пыльный дворик, то ли окажетесь в сказке из «Тысячи и одной ночи». Хозяин дома разорился, уехал из Севильи – испанец не может терпеть позора, – и теперь его племянник сдает комнаты на ночь. (После я выяснил, что в тех отелях, куда парнишка меня приводил, номера были. Но он вошел в «преступный сговор» с портье – те отказывали иностранцам, говорящим по шпаргалке, подобной той, которую для меня составил Хуан Мануэль, и, получая мзду от хозяев, парень тащил их в пансионаты, подобные тому, где остановился я.)

Утром сразу же пошел к Гвадалквивиру. Коричневый, мощный, он не «шумел и не кипел» – еще не пришло время ливней. На берегу расположены цеха табачной фабрики, где работала Кармен, – уже, понятно, модернизированные. Но все равно Гвадалквивир есть Гвадалквивир, а табачная фабрика всегда останется именно «той» – Проспера Мериме.

Зашел в семинарию «Метраполитано», приладил кинокамеру, начал снимать великолепной красоты изразцы, которыми выложены древние стены. Ко мне подошел невысокого роста, плотно сбитый мужчина и, поздоровавшись, спросил:

– Вы из Штатов?

– Нет, я из Советского Союза.

Обычная реакция: «Не может быть!» Затем отец Исидор пригласил меня в семинарскую столовую. Здесь, в отличие от прежних времен, подают и херес, и коньяк, и водку «Смирнофф».

Отец настоятель выпил коньяку.

– Мы не догматики, – сказал он, занюхивая коньяк терпким хамоном, – совсем не догматики. Мы отрицаем догму. Церковь умеет делать быстрые выводы из уроков истории. Сейчас нельзя говорить с паствой языком тридцать восьмого года – от нас отшатнутся молодые люди. Надо держать руку «на пульсе времени», — он снова улыбнулся, – кажется, у вас говорят именно так? Мы, например, ввели как обязательный предмет изучение марксизма-ленинизма. Пусть лучше они изучают этот предмет вместе с нами. Мы не боимся изучать наших идейных противников. Зайдите в крепость Алькасар – вы увидите там не только великолепную живопись, не только поразительные сады, вы увидите, как в мавританском доме, начатом постройкой при римлянах-язычниках, был создан центр христианской мысли.

Отец Исидор завел меня в маленькую церковь при семинарии. Церковь называется «Санта-Мария де лос Буэнос-Айрес». Это переводится: «Святая Мария доброго ветра».

– Между прочим, – сказал отец Исидор, – именно после того, как капитаны побывали здесь, они назвали свою столицу Буэнос-Айрес – Добрый ветер.

Когда мы вышли из церкви, отец Исидор предложил зайти выпить сока. Он спрашивал меня о положении верующих в Советском Союзе, говорил о том, что в Испании скоро многое должно измениться, а потом вдруг по-русски запел:

Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные!

Он оборвал песню так же неожиданно, как и начал. Вытер вспотевшее лицо хрустким, накрахмаленным – с легким запахом сухих духов – носовым платком и повторил:

– Скоро многое изменится в Испании, сеньор русо, и вы поймете, что грех всегда и во всем обвинять церковь.

Действительно, отношения церкви и режима в Испании совсем не похожи на те, которыми они были тридцать пять лет назад.

Летом тридцать седьмого года, во время ожесточенных боев республиканцев с фалангистами, было опубликовано письмо испанских епископов, составленное кардиналом Гома и подписанное почти всеми прелатами Испании (за исключением епископа Виттории Мичико и кардинала Видалья), в котором испанская церковь не только высказалась в поддержку националистов, но и объявила движение Франко «священной войной». Тогда это укрепило позиции мятежников.

Сейчас ситуация стала совершенно иной.

Корреспондент «Фигаро» Филипп Нори писал недавно о резко обострившихся отношениях между режимом и церковью, которую поддерживает Ватикан:

«Кардинал Висенте Энрике Таранкон вступил в старую церковь иезуитского стиля, которая является главным мадридским собором. Несмотря на правила этикета, официальный прием, оказанный новому архиепископу властями, отличался ледяной холодностью. За тридцать пять лет франкизма на таких церемониях ни разу еще не было менее десяти министров во главе с заместителем председателя правительства. На этот раз присутствовал только один министр юстиции, который одновременно является министром культа. Он попросту не мог сослаться на «вирусный грипп». Не было и генералов. Кардинал Таранкон не должен был удивляться этому. Уже давно было ясно, что его посвящение в сан нежелательно властям.

В мае прошлого года кардинал Таранкон был навязан Мадриду Ватиканом — во имя многочисленных пастырских требований, — чтобы преградить путь в мадридское архиепископство кандидату режима франкисту Гуэро Кампасу. Для Франко это было ударом, и он тогда прибег к угрозе. В своем традиционном послании по случаю окончания года, который ознаменовался арестами многих церковников, Франко сказал: «Государство не будет бездействовать в то время, когда некоторые служители церкви заняли позиции мирского характера». (Если это расшифровать, перевести на живой язык фактов, то станет ясным истинный смысл этих слов: десятки

испанских священников брошены в тюрьмы; на скамью подсудимых служителей культа сажают вместе с коммунистами и басками, выступающими за национальную автономию; во время следствия к священникам применяют такие же пытки, как и к коммунистам.) Но это заявление оказалось на руку церкви. Официальный печатный орган епископата впервые счел нужным ответить каудильо, напомнив, что церковь не может отказаться выполнять свою миссию.

Сорокалетний наваррец, монсеньор Рамон Этчерен, помощник мадридского епископа, правая рука Таранкона, говорит: «Большая часть испанского духовенства считает сегодня позицию, которую церковь занимала во время республики и гражданской войны, своего рода грехом, который нужно смыть. Церковь должна быть свободной и независимой, а это требует полного отделения церкви от государства. Возможно, что церковь останется в меньшинстве в стране, но она приобретет большую моральную силу».

Однако руководители «испанского братства служителей церкви» — оно насчитывает шесть тысяч членов и заявляет, что представляет четвертую часть испанских священников, — говорят иначе: «Мы сражались в тридцать шестом году и готовы начать все сначала». Возглавляют «братство» отец Ольтра, францисканец, похожий на воинствующего монаха, который был капелланом «Голубой дивизии», и отец Санта-Крус, — он до сих пор носит на своей сутане знаки офицера легиона.

Когда мы выходили из семинарии, отец Исидор, кивнув головой на парк, сказал:

— Никак не могу поверить, что всего триста лет назад здесь полыхали костры, на которых сжигали еретиков.

...В учебном пособии по инквизиции, составленном двести лет назад испанским церковником Николасом Эймериджем, было сказано: «Найдутся честные люди и чувствительные души, которые будут обвинять нас в том, что мы обнародовали ужасные картины, написанные ранее. Они спросят: «Какую пользу или какое удовольствие можно получить от того, что ознакомишься со столь отвратительными вещами?» Чтобы отвести их упреки, нам будет достаточно ответить: «Именно потому, что эти картины являются отвратительны-

ми, нам необходимо выставить их напоказ, дабы они вызывали ужас». Ведь эти жестокости находили в течение столетий поддержку у народов, которых мы именуем воспитанными и которые считают себя нравственными. Кроме того, во многих странах Европы эти ужасные порядки еще считаются священными. В других же только недавно разрешено подвергать их критике и возмущаться ими. Наконец, нас может оправдать хотя бы такой факт: в Париже в 1768 году была опубликована «Апология святого Варфоломея». Таким образом, все еще полезно писать об инквизиции».

Однако еще и сейчас можно встретить защитников инквизиции. Католическая энциклопедия так трактует эру варварства: «В новейшее время исследователи строго судили учреждения инквизиции и обвиняли ее в том, что она выступала против свободы совести. Но они забывают, что в прошлом эта свобода не признавалась и что ересь вызывала ужас благомыслящих людей, составлявших, несомненно, подавляющее большинство даже в странах, наиболее зараженных ересью».

Я довольно часто возвращался к мысли: что же такое инквизиция? Кем были ее руководители? Фанатики, готовые пойти на преступление, чтобы защитить догмы церкви от мнимых или подлинных врагов, или корыстолюбивые мерзавцы, которые слепо выполняли предписания начальства? Скорее всего в подоплеке инквизиции был фанатизм, подтвержденный слепой полицейской жестокостью. Важно другое. Я никак не могу понять: неужели в Испании не было зрячих людей, не гениев, а просто зрячих, которые должны были бы сказать владыкам: «Опомнитесь! Сжигая на кострах несчастных, вы обрекаете страну на дикость! Испания становится посмешищем и пугалом Европы, от вас отшатываются, вашей слабостью пользуются другие страны!» Неужели владыки – и мирские и церковные – не понимали намеков, содержавшихся в гневных строках Сервантеса и в поразительных полотнах Гойи? Или Испанией на протяжении веков правили временщики, которые жили по принципу: «Свое взял, а там будь что будет, после нас – хоть потоп!» Есть, видимо, в истории государств такие периоды, понять которые трудно. Потомки будут судить об этих периодах по книгам писателей, по полотнам живописцев.

Купив билет на поезд, отправляюсь в Херес-де-ла Фронтейра и Кадис – в край пиратов Проспера Мериме. Дорога шла по красно-желтой пустыне; песок, сплошь раскаленный песок – только вдруг появится из-за поворота причудливая роща кактусов, длинных и пышнотелых. Вагончики старенькие, начала века; качает, как в шторм. Вагончики забиты американскими морячками – в Кадисе крупнейшая база НАТО. Мой мадридский друг дал адрес: маркиз Бельтран Домек, Херес-де-ла Фронтейра, улица Санто-Доминго, 1. Домек – совладелец и директор крупнейших в Испании винных «бодег» «Уильям Хамбер энд Домек».

Бельтран Домек – высокий, сильный мужчина, один из тех бизнесменов, которые выступают за установление серьезных экономических контактов между нашими странами. Он показал мне свои богатства – громадные, беленые, холодные баррили (бочки).

На конце «авененсии» (длинной алюминиевой палки) укреплена серебряная рюмка, ею зачерпывают вино из баррили – на пробу. Артистично подняв метровую авененсию высоко над головой, Домек перелил искрящийся херес в высокий, тонкий стакан.

– Заметьте, – сказал Домек, – «авененсия» значит «соглашение».

Он очень потешался, как я сказал «хе́рес».

– Это ужасно, Хулиан! Только «хере́с»! Никогда «хе́рес». Неужели вам это не режет слух?! В «хе́ресе» есть нечто грубое, галисийское, и лишь певучее «хере́с» – настоящий испанский, а ведь единственный настоящий испанский – это астурийский... (Это уже третий «истинный язык» Испании. Педро Буэна утверждал, что таким языком является андалусский. Карлос настаивал на галисийском, Бельтран – на астурийском.)

...Вечер я провел у него на «финке»: потолок из огромных, двадцатиметровых балок красного дерева, камин в два человеческих роста, великолепная библиотека, интересная живопись.

– Эта «финка» не типична для Испании, – сказал Бельтран, – но, поскольку моя жена англичанка, я стараюсь, – он снисходительно, как истинный гранд, усмехнулся, — прежде всего уважать желание сеньоры.

Ночью он отвез меня в Севилью, я сел на последний самолет и улетел в Малагу. Отсюда всего двенадцать километров до Торремолинос – самого космополитичного города в Европе, курортной столицы на Берегу Солнца – Коста дель Соль, который вырос на пустых дюнах за последние двадцать лет.

Снова вспомнил Болгарию. И еще раз испытал высокую гордость за моих друзей из Албены и Созополя. Нет слов, Торремолинос – прекрасный курорт, но Болгария все-таки лучше из-за того духа демократизма, который живет там. В Торремолинос отдыхают богатые люди – рабочему там места нет, слишком дорого. Шофер, который подвозил меня на своем грузовичке на юг, к Гибралтару, сказал по-английски:

– Это место станет настоящим курортом только после революции, компаньеро Хулиан. Вот тогда приезжай – славно отдохнем!

(Я поймал себя на мысли, что вести дневник в Испании значительно труднее, чем в любой другой стране мира. С кем бы ни говорил и о чем бы ни говорил, называя фамилию собеседника, ты невольно ставишь его под удар. Поэтому массу интереснейших разговоров во время которых резкой критике подвергались политика и практика правительства, нельзя записывать. Наверное, дневник можно будет использовать лишь частично.)

Здесь, в Торремолинос, у меня была интересная встреча с людьми, которые теперь предпочитают жить не в Мадриде, а на берегу Средиземного моря – в своих виллах, отгороженных от буйного племени туристов высокими зелеными заборами, с битым бутылочным стеклом наверху, употребляемым здесь вместо колючей проволоки. Разговор шел, в частности, о положении в испанской армии.

В тюрьмах Испании сейчас, как никогда, много молодых людей, арестованных за отказ от военной службы. Когда они отбывают наказание, их вновь призывают в армию и тех, кто продолжает отказываться от военной службы, вновь судят.

Конечно, испанская печать хранит молчание – газетчики здесь надежно вышколены цензурой, – однако в парижских и римских газетах не только говорят об этом знаменательном факте, но и приводят интересные подробности.

«Необходимо найти выход из создавшегося положения с помощью разума», — заявил недавно на одном из заседаний комиссии кортесов начальник генерального штаба, наиболее интересная фигура в современном мадридском «свете», генерал Диас Алегрия.

Газета «Алькасар» обрушилась с яростными нападками на генерал-лейтенанта Диаса Алегрия, утверждая, что он вообще «никого не представляет». Статья была подписана псевдонимом «Хариес», за которым скрывается генерал Кано, директор этой газеты, издаваемой армией. Генерал Кано связан с правыми экстремистами. Кано и ему подобные требуют более «жестких мер» против инакомыслящих.

Вообще сейчас в армии, как в церкви, открытая, ярая реакция остается в меньшинстве. Изменения, происшедшие в мире, так значительны, что не считаться с ними невозможно. Наивно считать генерала Алегрия левым, — просто он точнее других отдает себе отчет в том, что, если не «выпустить пары», котел может взорваться. Политика «завертывания гаек» может отдалить взрыв лишь на какое-то время. Молодой еще человек (естественно, «молодой» для занимаемого им положения), генерал думает о серьезной перспективе, а не о нескольких «годах взаймы». Он не одинок в своей позиции. Например, директор центра высшего образования армии, генерал-лейтенант авиации дон Мариано Куадра Медина, выступая с речью по случаю окончания учебного года в военных лицеях, заявил, что армейские кадры — это не каста и что они не должны быть связаны с какой-либо идеологией, потому что от этого может пострадать дисциплина.

Эта доктрина, если учитывать положение того, кто ее изложил, а также место, в котором была изложена, резко отличается от доктрины, которая послужила Франко для того, чтобы использовать армию в качестве средства установления «диктатуры фашизма».

Сегодня поехал из Торремолинос в Малагу по изумительной дороге, чем-то напоминающей нашу — путь из Ялты в Алушту.

В Малаге поражает центральная аллея около порта: огромные пальмы — такие я видел только лишь в Голливуде; вся аллея выложена огромными скользкими — такие они чис-

тые – изразцовыми плитами. Идешь словно по льду, только он розовый, голубой и зеленый.

Центр города производит оглушающее впечатление – так он роскошен. Все роскошно – и здания, и зелень, и витрины, и машины. А встык – поразительная нищета улочек, спрятавшихся за спинами новых домов.

Пытался найти известного в прошлом певца Фернандо Кардону. Мое поколение помнит его песни – он часто выступал в Москве, в лучших концертных залах. Он уехал в Испанию десять лет назад. Сейчас он работает сторожем, нищенствует.

В адресном столе его имя не значилось.

– Быть может, сеньор Кардана живет в пригороде...

Пошел по старинной дороге вверх – к крепости по Кальедель-Калао, миновал маленький переулочек Мура-де-Санта-Анна, кино «Асториос», в котором крутили старые и шумные ковбойские ленты, бар «Иберган», повернул направо и оказался на чудной, узенькой средневековой улочке с узорным тротуаром – Калье Сант-Яго.

Богатые живут внизу, бедные забираются наверх, на гору (сердечник такую гору не одолеет). Здесь жизнь «вываливается» на улицы. Двери домиков открыты, комнатки в пять, восемь, десять квадратных метров. На стенах – огромные лики пресвятой девы Марии, распятый Иисус Христос; детишки гомонливо носятся по улице, гудят примусы, вынесенные на тротуар, громко переговариваются женщины, не отрываясь от корыт с пенным бельем, – далекая, старая провинция, даже не верится, что в пятистах метрах такой фантастически новый, белый и солнечный центр.

Перед возвращением в Торремолинос, находившись вдоволь по городу, залез в море. Испанцы смотрели на меня как на сумасшедшего: пляж был пуст, конец ноября, вода, по здешним представлениям, «ледяная» – всего семнадцать градусов.

Вернувшись в Торремолинос, зашел в маленький немецкий кабачок. Осенний вечер был непроглядно синим; трещали сверчки, по улицам шастали голодные, волосатые хиппи и сексуально озабоченные скандинавки, перешагнувшие бальзаковский возраст. В немецком кабачке было, слава богу, тихо

и пусто. Я рассчитывал увидеть кое-кого из «местных немцев»: многие наци осели здесь, поближе к Танжеру, – удобнее в случае чего бежать дальше. Однако, как объяснил мне молоденький бармен, в это время года они в кабачке не собираются – сидят дома, смотрят телевизор, устав после рабочего дня: ремонтируют виллы к следующему сезону. Хозяином бара оказался не немец, а эстонец, бежавший в сорок пятом году, – видимо, из полицаев. Считая меня американцем, он велеречиво излагал свое кредо. Он говорил, что мы, «глупые янки», не поняли ситуацию сорок пятого года.

– Вам, надменным янки, – продолжал он, – надо было войти в конфронтацию с красными. Тогда Европа стала бы совершенно иной. Тогда бы мы не чувствовали себя даже здесь, за Пиренеями, сидящими на чемоданах. Мы все время ждем, что красные придут и сюда. В этом повинны вы, доверчивые и наивные янки.

– Значит, уже не думаете «отыграться»?

– Ну, почему же? – ответил лысый сильный мужчина. – Отыграемся. Если не здесь, то в Латинской Америке. Грех вам нас не поддерживать. Вы сами там сидите на вулкане. А у нас сильные позиции. Мы знаем все пути и выходы.

– Какие именно пути? – спросил я. – Какие выходы?

– Надежные, – ответил мой собеседник, – весьма надежные, сеньор иностранец.

В моем отеле «Ла-Палома», полупустом, не очень сейчас дорогом, поскольку купальный сезон уже кончился, соседом за столиком в кафе, где я завтракал, оказался высокий, сумрачного вида мужчина, до синевы выбритый, одетый как на службу – галстук, крахмальная рубаха, платочек в кармане модного, колоколом, пиджака. Разговорились. Он из Парижа, зовут его Морис.

– А вы?

– По-русски меня зовут Юлиан, по-английски Джулиан, по-испански Хулиан. Я писатель, путешествую по Испании.

– Ваши книги были изданы в Испании?

– Да.

– Какие, например?

– «Дунечка и Никита», «Петровка, 38».

– Погодите, погодите! – удивился он. – «Петровка, 38»? Это о работе русской криминальной полиции? Я читал ее на французском. Вот эта встреча! – рассмеялся Морис. И лицо его стало открытым, простодушным. – Поскольку вы – хоть и косвенно – мой коллега, должен признаться: я из службы по борьбе с наркотиками.

При расставании он приложил палец к губам и сказал:

– Жюльен, то, что я поведал вам, остается нашей тайной. Я против того, чтобы порядочного человека называть «джентльменом», ибо я француз, посему давайте будем гражданами, «гражданин» – надежнее «джентльмена».

Вечером он позвонил ко мне в номер, мы отправились бродить по городу, и он кое-что рассказал о своей работе.

Действительно, слушая Мориса, просматривая попадающие в прессу документы, наталкиваясь на юношей и девушек, валяющихся на тротуарах в наркотическом опьянении, начинаешь понимать, что торговля наркотиками – это мировая преступная мафия. По количеству оборотных средств, и по числу стран, захваченных ею, и по числу жертв ее можно сравнивать лишь с войной в довольно крупном масштабе.

По данным Интерпола и «Комиссии ООН по наркотикам», легальные потребности всего мира в опиуме для медицинских и научных целей приближаются к тысяче тонн в год.

– По нашим данным, – сказал Морис, – наркоманы мира употребляют десять тонн героина и около семи тонн морфия ежегодно.

Прибыли, получаемые торговцами от операций наркотиками, огромны. По существующим сейчас ценам один килограмм опиума стоит «всемирному синдикату» семнадцать долларов. В «опиумных лабораториях», которые обычно помещаются в кузове грузовика или в комнатушке, установлена довольно фундаментальная аппаратура, необходимая для переработки наркотиков.

Такие операции проводятся главным образом на юге Франции, в Италии, Сицилии, Сардинии, на Корсике.

Из одной тонны сырого опиума получается сто килограммов героина. Но героин не продается в чистом виде. В смеси с молочным порошком, солью, мелом или тальком один килограмм чистого героина превращают в восемь килограммов

сильнодействующего зелья. Десять килограммов, разведенных в воде, продают потом за пять миллионов долларов.

– Здесь мы ищем пакетики с фабричной маркой «999», — продолжал Морис. – Наглецы, они имеют свою типографию и печатают на ярлыках: «Единственный качественный продукт! Остерегайтесь подделок!» Мы засекли партию товара в Марселе, следы ведут сюда...

По данным Интерпола полицейские и таможенные службы конфискуют не более десяти процентов наркотиков, транспортируемых нелегально. Следовательно, большая часть достигает места назначения.

Ежегодно во всем мире продается в среднем десять тысяч килограммов героина и опиума. Следовательно, суммы реализации в розницу достигают трех миллиардов в год. Оптовая стоимость, насколько ее можно вычислить, составляет для всех участников этого бизнеса – сбытчиков, поставщиков, производителей – примерно два миллиарда долларов.

За последние пять лет было убито одиннадцать агентов организации по борьбе с торговлей наркотиками, пытавшихся проникнуть в крупные преступные синдикаты.

«Что бы ни думала общественность, – утверждают агенты Интерпола, – контрабандный провоз наркотиков нельзя считать случайным делом, находящимся в руках китайских матросов и бродячих хиппи. Это бизнес, контролируемый в значительной мере крупными дельцами, которые руководят операциями, проводимыми с машинной точностью. Они ставят на карту и защищают громадные капиталы».

Газеты Франции писали о том, что в 1967-1968 годах полковник Клод Фурнье Фере из французской секретной службы исследовал причины, усложняющие пресечение торговли наркотиками из Азии. Речь шла о пособничестве преступникам со стороны работников ЦРУ и финансируемой ими авиатранспортной компании «Айр америкен», обслуживающей авиалинии в Индокитае. В то время Фурнье Форе возглавлял азиатский отдел французской секретной службы.

Как сообщали во французских кругах, из доклада Форе следовало, что ряд сотрудников ЦРУ замешан в транспортировке наркотиков в США.

Когда французская секретная служба занялась расследованием операций с наркотиками в Европе, снова было установлено, что участники американской мафии действуют в контакте с некоторыми агентами ЦРУ и переводят деньги из США на секретные банковские счета в Швейцарии.

– Я разговариваю с вами, – признался Морис, — но меня все время подмывает желание потребовать ваш паспорт и взять «пальчики на рояль». Проклятая работа! Перестаешь верить даже родственникам. Вы не можете себе представить, с какими чудовищными фактами приходится сталкиваться. Мужья продают жен, матери торгуют детьми, отцы предают сыновей. Неуправляемость разумом и поступками – вот что такое наркомания...

Наутро я улетел в Мадрид.

...Режиссер, который поставил в театре две пьесы Лопе де Вега, – очень традиционно, избыточно доказательно, – забившись в уголок бара «Хихон» возле громадных синеватых зеркальных стен, грустно отхлебывал испанское виски «дик» из пузатого стаканчика, набитого льдом.

– Хулиан, я сейчас открою тебе то, во что я уверовал. Надо мною могут издеваться, шутить, высмеивать, – вздохнул он, – но это мною выстрадано, это прозрение. Хулиан, гениальность – всего лишь неправильный обмен веществ. Отсюда избыточность желаний, неустроенность, метания, ярость, приходящая на смену нежности, подозрительность, доверчивость, алчность и альтруизм. Человеческие проявления, сопутствующие гениальности, не могут быть поняты людьми с нормальным обменом вещества. Гений – состоявшийся или несостоявшийся – обязан быть несчастным.

– Намекаешь на себя?

Он грустно покачал головой:

– Если бы! Я ходил к эндокринологам. Я возмутительно, чудовищно здоров.

Он усмехнулся, лег подбородком на ладони и замурлыкал какую-то грустную песню. Замолчал, глянул на меня.

– Застрелиться, что ли?

Я сказал:

– Рано.

– Нет, не рано. По-моему, самый раз. Или начать принимать какие-нибудь лекарства, чтобы вконец расшатать обмен веществ. Последняя надежда на фармакологию. Или – скорее бы драка. Пожить в огне баррикад. А так сдохнешь в безвременье – равнодушие кругом, зависть, стяжательство. Скучно, господа. Так, кажется, у Чехова? По-испански это, впрочем, звучит патетически: «Скучно, уважаемые сеньоры...»

(Антонио рассказал, что зимой в Карабанчели целые семьи уходят из дому – начиная с шести часов – в кинотеатры. Смотрят любые картины – две или три подряд, – неважно какие. Люди подсчитали, что билеты в кинематограф дешевле, чем отопление квартиры. Приходят в холодную квартиру поздно ночью и сразу же ныряют под одеяло, согреваясь дыханием.)

Шел с Педро Буэна по Гран-Виа. Он внезапно остановился, замер словно вкопанный, увидав красивую женщину – высокую, рыжеволосую, сухую, странную. Педро долго смотрел на ее прекрасное лицо, потом вздохнул.

– Все же худая женщина хороша только на улице. – Он помолчал немного и грустно добавил: – Мир портится только потому, что портятся женщины. Где стыдливость, трепетность, чистота, самоотверженность? Рацио, во всем и во всех одно лишь рацио...

(Вспомнил отчего-то, как сидел в маленьком портовом кабачке в Кадисе, ждал испанского товарища. Напротив за столом устроилась парочка: он – испанец, она – американочка. Они неторопливо потягивали тинто и говорили о том, как они сегодня вечером будут смотреть выступление фламенко. Девушка вытащила из сумочки таблетку, достав ее из целлулоидного пакетика. Она приняла таблетку, запивая ее вином. Парень повертел целлулоидный пакетик, прочитал название, непонимающе посмотрел на девушку. Она засмеялась:

– Дурачок, это противозачаточное.

Парень покраснел, – видимо, они только сегодня позна-

комились, – и как-то затравленно огляделся вокруг: он еще не потерял стыдливость...)

Испанцы никогда не целуют руку женщине, они только делают вид, что целуют, – чмокают губами воздух. В этом – занятный сплав Европы и Аравии. Как европеец он склоняется к руке женщины, переламываясь при этом чувственно и эффектно, но как истинный кочевник лишь чмокает воздух, не прикасаясь к коже, ибо женщина – она и есть женщина.

Профессор экономики, из молодых, сонно говорит мне:

– Э, перестаньте, народ не готов к демократии. Мы за контролируемую и направляемую демократию. Иначе в стране начнется анархия.

Это – через час после горького разговора: два товарища, один из которых коммунист, отсидевший в тюрьме Бургоса десять лет, тяжело затягиваясь, цедил через силу:

– Я вышел оттуда, из страшного тюремного пенала, и – будь все проклято – не узнал страну. Все лишь смотрят футбол и корриду, никому нет дела до идеалов.

Второй товарищ возразил:

– Ты сидел не зря, Эухенио. Если сейчас рабочий в городах живет чуть получше, и смотрит телевизор, и не голодает, то это потому лишь, что ты принес ему себя в жертву. Когда в обществе есть люди, которые могут взять в руки винтовку, как ты, тогда власти предержащие начинают искать пути для хотя бы минимального повышения экономического уровня жизни рабочего и крестьянина. А повысить экономический уровень можно, лишь развивая производство, стимулируя рост промышленности. Никто и никогда не отменит Маркса. Чем активнее будет развиваться промышленность, тем больше появится ее «детей» – рабочих. А рабочий – это революция, Эухенио, это революция...

(О «Гвардиа севиль» – франкистских полицейских – здесь говорят: «Беглецы от плуга».)

...Бык был рыжим. Он выскочил на арену Пласа де торос «Виста Аллегре» стремительно и яростно. Он дважды разогнал бандерильерос[1] и ударил левым рогом в деревянный за-

[1] Бандерильерос – помощники матадора.

гон, за которым прятались помощники тореро. Загон зашатался, посыпались желтые щепки, и люди начали кричать:

– Оле! Оле! Оле!

Домингин закурил новую сигарету и сказал:

– Это хороший бык. И рога у него не подпилены. С таким быком очень интересно работать. Это не двухлеток, и пасли его в предгорьях, и у него не меньше «четырех трав». Это мы так говорим о возрасте хорошего быка, с сильными мышцами. Видишь, в нем совсем нет воды. Он действительно очень сильный. Это хороший бык. Очень хороший. Он наверняка из Андалусии. Там быкам приходится ежедневно делать по десять километров – к воде, по камням, поэтому у них такие сильные мышцы. В Саламанке быков кормят каштанами, и вода рядом, и ее много, поэтому бык большой, но совсем не сильный, и в нем угадывается вода, хотя он выглядит на арене красиво и устрашающе.

Тореро, который должен был работать с этим рыжим быком, был маленького роста, с фигурой солиста балета. Его звали Хуан Мануэль. Он взял капотэ и вышел на арену. Рыжий бык бросился на Хуана Мануэля, низко склонив голову. Я понял, как быстро и мощно он бежал: на фоне желтого песка арены, под желто-синим знойным небом, мимо бело-красных трибун – на красно-фиолетовое капотэ, которое взметнулось перед его острыми рогами, послушное руке Хуана Мануэля.

– Он переосторожничал, – сказал Домингин, – надо было подпустить быка еще ближе. Надо было идти на него, а не ждать. Встречное движение двух сил – это главное в искусстве корриды.

Бык пронесся под капотэ, развернулся и замер напротив Хуана Мануэля.

– Торо, торо! Торо! – негромко позвал быка Хуан и чуть пошевелил капотэ. – Торо! – повторил он, и сделал шаг вперед, и перевел капотэ с правого бока на грудь.

Я чувствовал, что сейчас рыжий бык бросится на маленького Хуана Мануэля, и, вероятно, это почувствовали все на Плаза де торос, потому что стало очень тихо, и я зажмурился, и снова – который раз уже – ощущение нереальности охватило меня, и показалось, что открой я сейчас глаза – и окажусь дома, а

совсем не в Мадриде, возле Карабанчели, и прошедшие дни будут как сказка, которая придумалась и которой вовсе не было, и не было Маноло и Педро, и не было громадной синей луны на Пласа Майор и спуска в «Месон дель-Коррехидор», и не было синих изразцовых плиток, вмазанных в стены «Каса Сеговия», и не было смеха Хосе Антонио, который взял у парня гитару и запел песню патриотов-басков, и все кругом стали ему подпевать; и не было гудящего, ночного «Хихона», куда на руках перенесли актрису, которая прервала спектакль: «Как вы можете смотреть эту комедию, когда в тюрьмах умирают люди?»

...Я открыл глаза, когда бык уже прошел мимо Хуана Мануэля и люди на трибунах закричали: «Оле! Оле!»

– Он хорошо его пропустил, – сказал Домингин. — Он это сделал в манере Ордоньеса, только чуть рисковее. Это от молодости, это пройдет. Риск необходим, но он должен быть оправдан.

Рыжий бык снова бросился на тореро, и Хуан Мануэль красиво пропустил его под правой рукой, а потом под левой, и рог быка проходил в нескольких сантиметрах от его костюма, расшитого серебром и золотом.

...Я очень боялся идти на корриду к Домингинам, к тем самым, о которых писал Хемингуэй. Я боялся идти на корриду, потому что многие говорили мне, вернувшись из Мексики, куда приезжали на гастроли испанские тореро, или из Франции, где выступал Кордовес, что корриду придумал и разукрасил Хемингуэй, а на самом деле это бойня, а в бойне победитель всегда известен заранее, и что будет много крови, будет ярость и счастье толпы, которой всегда движет слепое желание жестоких зрелищ.

Но когда на арену выехали альгвазильос[1] в черных, времен Филиппа II, костюмах с белыми кружевными высокими воротниками, и когда альгвазильос картинно раскланялись с «президентом корриды», сидевшим на трибуне, а за ними вышла квадрилья[2] – три тореро, у каждого три бандерильеро, два пикадора и мульлерос[3], которые увозят убитого быка с

[1] Альгвазильос – открывающие парад.

[2] Квадрилья – строй, в котором выходят на парад тореро и их помощники

[3] Мульлерос – погонщики мулов, которые едут в квадрилье последними..

арены на своих мощных, яростных мулах, и когда это бешеное соцветие красок было встречено праздничным криком трибун, и когда «президент корриды» разрешил бой, и запели трубы и тамтамы, и арена опустела, и старик торильеро[4] замер возле ворот, дожидаясь того момента, когда «президент корриды» взмахнет белым платком и можно будет выпустить быка, и когда вырвался рыжий бык и разбил левым рогом загон для тореро и стадион закричал одобрительное свое «Оле!» – я забыл слова товарищей о том, что коррида – это кроваво и некрасиво, и все исчезло, – осталась только маленькая фигурка Хуана Мануэля с капотэ в руке и пятисоткилограммовый красавец бык с острыми, как шило, рогами, который снова изготовился к броску на тореро.

...Я слышал, как маленький Хуан Мануэль, перед тем как выйти из-за ограды к быку, прошептал, перекрестившись: «Кэ эль дьос репарте суерете»(Пусть бог разделит удачу), а один из его бандерильеросответил: «Эс эль торо кьен репарте» (Удачу распределяет бык).

Я снова вспомнил тех, кто бранит корриду за жестокость, и ясно увидел зеленый луг в Мещере и быка, который гнался за двумя дюжими дядьками, и было это не смешно, а страшно: разъяренный бык и человек – пусть даже с двумя шпагами в руках.

Хуан Мануэль красиво работал с быком, позволяя животному чувствовать податливую и слабую человеческую близость, разрешая быку сражаться – с шансом победить. Одно неверное движение – и рог войдет в бок или в пах. Я все время вижу докторов, они на противоположной стороне, возле того места, где стоят ганадерос[5]. Доктора следят за тореро, ганадерос – за своим быком.

Хуан Мануэль завертел быка, здорово завертел его. Рыжий бык ярился, из-под копыт его вздымался песок, белая пена появилась на вывороченных коричневых губах.

Хуан Мануэль славно провел первую часть корриды, он честно и без всяких хитростей показал зрителю, что рыжий бык силен, смел и умеет нападать на то красно-фиолетовое,

[4] Торильеро – человек, который отпирает ториль — загон, где содержится бык, перед тем как вырваться на арену.

[5] Ганадерос – люди, ухаживающие за быками.

что мелькало перед его глазами в руках маленького человечка, и его нападение было хитрым и мощным. Хуан Мануэль привел быка в ярость, но, работая с ним, он был безоружен, в руке у него было лишь капотэ. Это было такое состязание, когда бык имел больше шансов на победу, точнее – он имел все шансы победить, но он не победил, и началась вторая часть корриды.

Прозвучали тамтамы, пропела серебряная труба, и на поле выехал пикадор – в доспехах, на коне, укрытом толстой матерчатой попоной, и бык ринулся на пикадора и свалил коня, и пикадор упал на песок, неуклюже задрав ноги, обутые в металлические панцири, и толпа удовлетворенно выдохнула, когда бандерильерос мужественно отманили быка от пикадора, взмахнув перед его разъяренной мордой капотэ, принимая на себя бешенство животного.

Пока бык нападал на бандерильерос в центре арены, пикадору помогли влезть на лошадь, и бык снова кинулся на него, прижав лошадь к барьеру, но пикадор успел ударить быка копьем, и на рыжей шее появилась кровь. Пикадор ударил быка еще раз и собрался было нанести третий удар, но трибуны закричали:

– Асесино! (Убийца!) Асесино!

Когда пикадор слишком долго работает с быком и чересчур сильно бьет копьем, это не по правилам, это может ослабить быка, и тогда уже неинтересно будет тореро вступать в последнюю, смертельную схватку с животным: ведь и в последней части корриды бык должен иметь шанс на победу...

Вышли бандерильерос, чтобы «ставить» быку в шею бандерильи – короткие дротики, которые приводят быка в еще большую ярость, готовя его к последнему этапу боя, к игре с мулетой.

Хуан Мануэль, стоявший рядом со своим «мосо де эспадос» – «шпажным парнем», помощником, который в короткие мгновения отдыха дает тореро стакан воды или меняет шпагу, выбежал на середину арены и закричал:

– Талос фуэра! (Все долой!) Тодос фуэра! Я сам! – крикнул Хуан.

Трибуны замерли. В руках Хуана Мануэля были две бандерильи. Он залез на балюстраду, окружавшую арену, закричал:

«Торо! Торо!» – бык повернулся к нему, изготовившись к броску, чтобы смять этого маленького, слабого человечка, поднять его на рога, а потом бросить на песок, и поднять на рога снова, и перебросить через себя, а потом развернуться и ударить еще раз, пока не прибегут другие тореро, участвующие в сегодняшней корриде, и не отманят его мулетами, и бык бросился на Хуана Мануэля, и я почувствовал, как закаменела рука Домингина и как он чуть привстал со своего места, и все привстали на трибунах, и снова настала гулкая тишина, и в этот момент маленький Хуан Мануэль бросился навстречу рыжему быку, и это было настоящее встречное движение двух сил, и, пропустив рог быка под мышкой, Хуан Мануэль подпрыгнул и ударил двумя бандерильями в шею быка, и он хорошо ударил, потому что бык остановился как вкопанный, и трибуны взорвались овацией, а Хуан Мануэль опустился на колени и раскланялся, а бык в это время кинулся на него, но маленький тореро успел вскочить, почувствовав опасность спиной, затылком, сердцем, глазами, и он отбежал в сторону, но он отбежал так, что никто не засмеялся, не засвистел и не закричал: «Мясник! Трус!» – а, наоборот, все снова зааплодировали. А потом он еще раз поставил бандерильи, и уже было ясно, что он победил; он рисковал осознанно и все время давал быку шанс на победу – он честно работал с ним. Он заколол его, набежав прямо на рога, и уклонился от страшного предсмертного удара зверя в самый последний миг, когда рыжий бык опустил голову, готовясь к удару, за секунду перед тем, как рухнуть побежденным.

...Следующий бык оказался плохим, и на трибунах закричали:

– Кохо! Кохо! Хромой! Кохо!

Президент корриды взмахнул своим белым платком, и на арену выпустили пятерых коров с колокольчиками, которые постоянно живут возле конюшен Пласа де торос, и они увели этого черного «кохо» с арены, и когда выпустили следующего быка, все равно на трибунах смеялись, хотя бык был хороший, быстрый, с синеватым оттенком – такой он был черный. То ли это повлияло на Педро – тореро, который должен был сейчас выступать, то ли он еще был совсем молодым, только-только перешедшим из новильеро, которые работа-

ют с быками-двухлетками, то ли слишком красиво выступил Хуан Мануэль – не знаю почему, но бой был неинтересным, и на трибунах свистели, и потный, бледный Педро нарочно подставлялся под удар – раненому простят все, о раненом напишут в газетах, с раненым продлят контракт, – но бык не шел на него или замирал в шаге от мулеты, и кто-то сказал на трибуне:

– Этот не из школы Домингина...

Хуан Мануэль попал к Домингину случайно. Он был шестнадцатилетним «малетильо». Так называют ребят, которые мечтают стать матадорами и ходят со своими «малета» – маленькими узелками, иногда чемоданчиками, где хранят богатство – шпагу, мулету, тапки, а иногда матадорскую шапочку «монтера», – по тем городам и селениям, где проводятся корриды. Малетильос, минуя стражу и полицию, выбегают на арену в тот момент, когда быка выпускают из торильо. Мальчишка выбегает со своей самодельной мулетой и начинает работать с быком, и эти первые мгновения, пока не подбежали помощники матадора и не утащили мальчишку, решают его участь. Если он неумел в движениях, резок и не так смел, как этого хотят трибуны, ему кричат: «Фуэра!» («Убирайся!») Но Хуан Мануэль так работал со своей дырявой мулетой, что зрители стали кричать: «Ке сига!» («Пусть продолжает!»), и он продолжал еще какое-то мгновение, пока его не увели с арены, но Домингин не позволил забрать его в полицию и не сказал, как это обычно говорят другие тореро: «Иди сей хлеб в своей деревне», а, наоборот, похвалил мальчика, уплатил за него штраф полиции и сделал своим учеником...

Вечером я спросил Луиса Мигеля Домингина, самого красивого тореро Испании:

– Ты когда-нибудь боялся быка, Луис Мигель?

Он пожал плечами, закурил.

– Как тебе сказать... – Он улыбнулся. – Вообще-то боишься всегда публики, а не быка. Ты, когда пишешь книгу, боишься ведь больше того момента, когда она закончена, а потом вышла к читателю, не так ли? То же самое и у меня... Только у меня это с двумя рогами...

Девять лет не выступал Луис Мигель. Он сошел после «Кровавого лета». Он выступил этой весной на «Виста Аллег-

ре», чтобы отдать весь сбор в фонд помощи пострадавшим от землетрясения в Перу. Он выступал «мано-мано», вдвоем с Бьенвенида, и он великолепно сражался с тремя быками вместо двух и получил «два» уха, и все газеты писали об этом бое как о чуде.

– Знаешь, – сказал он, – тореро проходит интересный путь – от романтической первой любви через бесшабашные увлечения, ненужные и смешные, – но если он настоящий тореро, он возвращается к самому началу, как поумневший шалопай к своей первой любви... Самой романтической и чистой.

Ночью в баре «Алемания», в центре Мадрида, там, где всегда собираются импресарио и тореро, один очень известный тореро, отхлебывая белое пиво из тяжелой кружки и заедая его соленой ветчиной – красно-бурым терпким хамоном, – сказал мне:

– Знаешь, я, как и все мы, очень люблю Папу и его книги. Он только в одном не прав: он писал, что коммунисты против корриды. Папа ошибся в этом, потому что я сам красный. Мы не против корриды, только мы за красивую корриду, которая всегда искусство... Разве нет? Или ты тоже считаешь корриду убийством быков? – Он нахмурился. – Говорят, нас ругал за корриду такой хороший коммунист, каким был Маяковский?

– Он писал о мексиканской корриде, – сказал я, и мы оба засмеялись, и тореро, допив пиво, встал.

– В Мексике не коррида, а развлечение, – сказал он, – разве можно смотреть корриду в Мексике? Там плохие репродукции с Гойи, а не коррида. Настоящая коррида – это искусство, но это и бой, в котором победит тот, кто смелее, спокойней и у кого крепче нервы. Кому же тогда победить, как не нам? Ты меня понял?

Я понял. Я его очень хорошо понял.

...Был у Домингина. Он рассказал еще кое-что о корриде. Он великолепно умеет показывать, поднявшись во весь рост, стройный, высокий, сорокасемилетний спокойный, добрый и красивый человек...

– «Фаэна де мулета» очень важна в корриде, – говорит он. – Это «игра с мулетой». Это когда тореро водит быка,

а бык разъяренный, с ним плохо работали пикадоры, так что он полон силы. Во время «фаэна де мулета» погиб очень хороший тореро Манолетте, его убил бык на арене Линарес, недалеко от Кордовы...

Очень важно, какой у тебя «мосо де эспадос» – «шпажный парень». Это помощник, который всюду со мной, он приходит на все корриды, но никогда не выходит на арену. Он подает мне шпагу, дает выпить воды, когда пересох рот, он вытирает лицо мокрым полотенцем, когда кажеется – вот-вот упадешь от усталости. Он одевает меня перед выходом, потому что сам я одеться не могу – слишком тяжел костюм тореро. Он только на первый взгляд легкий и удобный, а на самом деле килограммов двадцать, не меньше... Парень чем-то напоминает тренера, который напутствует боксера в перерыве между раундами, только если боксер прислушивается к его советам, то я лишь слушаю музыку его голоса – он обязан говорить мне что-то нежное: ведь так устаешь от ярости полутонного быка...

...Вот это капотэ – фиолетово-красно-желтый плащ для первой части боя, для игры с быком. А мулета кадмиево-красная, я возьму ее перед тем, как буду убивать быка.

Матадора, который работает на коне, мы называем «рехонедор», потому что по-испански «рехон» – значит дротик.

Он поднялся, достал из шкафа маленькую бандерилью – «роса», похожую на острый гвоздь, протянул ее мне.

– Бандерильеров мы часто называем «бюрократами корриды», — улыбнулся Домингин. – Почему их так называют, я, впрочем, не знаю.

...Часто многие тореро хитрят, этим особенно славился Кордовес. За день перед началом корриды в городе распространяются слухи, что Кордовес болен, что он не сможет убить быка, потому что еле стоит на ногах. Кордовесу это нужно для того, чтобы нагнести массовый психоз... А старые тореро, которые сходят с арены, такими хитростями привлекают толпу, чтобы люди могли присутствовать не при смерти быка, но при гибели человека...

Луис Мигель Домингин надписывает мне книгу «Торос и торерос», которую он сделал вместе с Пабло Пикассо.

– Жаль, что эту книгу не видел Хемингуэй... Он был у нас во время «Кровавого лета»... Папа очень горько прощался с

братом Доминго. Он словно чувствовал, что они больше никогда не увидятся. Папа сидел в кресле, – ты помнишь это кресло у Доминго, оно возле балкона, с него видно Каса дель Кампо, он чувствовал, видимо, что он больше никогда не вернется. А Доминго, ты знаешь, он резкий, веселый, он не умеет утешать. Он умеет шутить и помогать в горе... Он положил руку на колени Папе и сказал: «Знаешь, по-моему, «Праздник, который всегда с тобой» замечательная книга. Напиши еще несколько таких книг, мы очень любим твои книги, Папа».

Хемингуэй тогда засмеялся.

«Это самое большое дерьмо, – сказал он, – которое я когда-либо написал, Доминго».

Доминго возразил:

«Нет, по-моему, самое большое дерьмо – это «Фиеста»... Там нет Испании... Там все «как будто бы»...

Папа огорчился, лицо его стало детским, как у ребенка, у обиженного маленького ребенка, и он сказал:

«Ну почему? Все-таки, по-моему, «Фиеста» – это ничего».

Луис Мигель замолкает, потом продолжает:

– Папа говорил нам, что он любил писать по-испански. Он часто переводил с испанского на английский, а то, что у него не ложилось по-английски, он оставлял на испанском. «Ваш язык более категоричен, – говорил Папа, – категоричен и точен, никаких двоетолкований – только ложь или правда...»

...Я вспомнил, как в Нью-Норке пришел к Мэри Хемингуэй. Голубоглазая, маленькая, с низким, чуть хрипловатым голосом, с крепким, мужским рукопожатием, улыбчивая и сильная женщина, друг Папы, сказала:

– Входите, Джулиан. Располагайтесь. Я приготовила завтрак. Вы голодны? Нет? Ничего, подкрепиться никогда никому не мешало. Что будете пить?

– А что пил Папа? – спрашиваю я.

– Папа пил все, – улыбается она и снимает с электрической плиты горячий хлеб, облитый сверху мягким сыром. – Папа любил эти тосты. Садитесь. Хотя нет, сначала я покажу вам его портрет. Самый лучший его портрет. Вы его таким знали?

Молодой Хэм – безбородый, высокий, застенчивый, с робкой, недоверчивой улыбкой.

Я смотрел на него и вспоминал лето пятьдесят четвертого года. Это было очень хорошее лето. Я жил тогда в Архипо-Осиповке, что между Туапсе и Новороссийском. В тот год там было что-то особенно много людей – здесь прекрасное море, хороший пляж, защищенный от ветров, и рядом с морем пресная река с голубой медленной водой, а по склонам гор, поросших дубами, много грибов. Грибы там были вроде как срезы геологических пластов: внизу сыроежки, чуть выше – подберезовики и белые, а чем выше, тем чаще встречались громадные волнухи и белянки.

Я жил в подвале маленького двухэтажного общежития учителей. В обычное время этот подвал был складом, но мои друзья поселились у завхоза школы, и добрая женщина поставила мне в этом подвальном складе кровать с пружинным матрацем. На стенах висели географические карты и диаграммы роста всяческих пестиков и тычинок. В головах у меня стоял скелет без одной руки. Вместо руки у него торчала проволока – заржавленная, с острым концом; я об нее расцарапал лоб, когда в темноте пробирался к кровати.

Это было хорошее, теплое лето, и мы жили своей дачной ассоциацией, которой дали шутливое название «Потуга». По ночам мы ходили по Архиповке и пели песни. Кругом трещали цикады, а звезды в здешнем небе были видны точней и ярче, чем в Московском планетарии. На пляже, который по ночам был освещен белыми прожекторами, лежали черные рыбацкие сети, и рыбаки варили юшку и пили «сучок» возле костра, который в свете прожекторов скорее угадывался, чем был виден, ибо черный свет обычно пожирает желтый – особенно ночью, на берегу моря.

Когда я, перегревшись на солнце, – в то лето солнце было очень жарким, – спрятался на пару дней в свой подвал, ребята принесли мне книжки из сельской библиотеки. Они принесли «Хаджи-Мурата», «Заговорщиков» и «Иметь и не иметь». «Хаджи-Мурата» я тогда перечитал, как человек, только-только окончивший Институт востоковедения по специальности история Среднего Востока. (Этим летом я перечитал «Хаджи-Мурата» наново, как человек, научившийся

кое-как складывать отдельные литеры в слова, а слова – в какие-то фразы. Тогда я упивался «Хаджи-Муратом», а этим летом я почувствовал себя, как тогда, давно, на ринге, после хорошего, честного нокдауна: я почувствовал себя опрокинутым на спину после «Хаджи-Мурата».) Читая «Заговорщиков», я искренне дивился историческому всезнанию Шпанова и его элегантной манере ошеломлять читателя своей осведомленностью: по-моему, он знал то, о чем прототипы его героев и не догадывались. А потом я прочитал Хемингуэя «Иметь и не иметь». Это было началом праздника. Это было началом того праздника, который я ношу в себе уже семнадцать лет – с тех пор, как я начал читать книги этого умного, бородатого, доброго, неистового, нежного Солдата.

У нас его стали называть «Хэм» до того, как была написана книга «Праздник, который всегда с тобой», где он сказал про себя «Хэм». Мы его называли или «Хэм», или «Старик». Его слава у нас была трудной и постепенной, – по-видимому, именно такой и бывает настоящая слава. Это в общем-то нелепое понятие «слава», особенно в применении к Хэму.

...Есть писатели национальные и мировые. Я ни в коем случае не собираюсь принижать значение национальных писателей: гений Салтыкова-Щедрина или Рабле никому и никогда не позволит сделать этого. Когда я, рожденный в России, читаю Щедрина, я испытываю великое счастье, прикасаясь к трагической сатире, которая сплошь и рядом переходит в мистическое прозрение гения. Иностранец читает Щедрина как энциклопедию – со стороны.

Хемингуэя люди всей планеты читают как своего писателя, потому что он ворочает не махинами национальных характеров – он пишет мужчину и женщину. Каждый его роман вроде бы можно пересказать в нескольких фразах: «Прощай, оружие?» – мужчина любит женщину, но она погибает; «В снегах Килиманджаро» – мужчина не любит женщину и умирает; «Иметь и не иметь» – мужчина любит женщину, занимается контрабандой и погибает; «Фиеста» – мужчина любит женщину, но из-за ран, полученных на фронте, не может быть с ней рядом, возле, так, чтобы «большая птица, вылетев через закрытое окошко гондолы, пропала вдали, скрылась совсем»; «По ком звонит колокол» – американец любит ис-

панку и погибает в борьбе с фашистами. И даже «Старик и море» – книга про то, как Старик любит. Он любит мир, в котором есть океан, где можно ловить рыбу, а по ночам видеть во сне африканских львов.

Хемингуэй блистательно решает извечную проблему взаимосвязи «что» и «как». «Что» у него просто, как звучание. «Как» – в этом весь Хемингуэй, в этом все решение его работы. Сюда, в это магическое «как», входят и манера его письма, и строение диалогов, и места, в которых он разыгрывает действие своих драм, и формулы мыслей его героев.

«За рекой, в тени деревьев» – любимый мой роман, если, правда, можно выделять в творчестве Старика какие-то вещи как особо любимые. Я убежден, что этот роман – прозрение, когда вдруг как-то утром, в сырую осень, где-нибудь в Европе Хемингуэй увидел нечто такое, что довольно редко показывают смертным. Это вроде образа женщины, которую Клаудио Кардинале сыграла у Феллини в «Восьми с половиной», — женщины, которой никогда не бывает, но которую так хочется увидеть человеку, прошедшему войны, любовь, подлость, правду, ложь и надежду.

Конопатый писатель в «Гритти» со своей тетей не делает роман менее автобиографическим: не с точки зрения фабулы, Ренаты и охоты на уток, а с точки зрения самоощущения писателя – и физического и нравственного.

После этого прозрения, после того, как Хемингуэй подвел для себя итог, после того, как он сам почувствовал, как это «схватывает», и после того, как он написал: «Это были последние слова, которые полковник произнес в своей жизни. Но до заднего сиденья он добрался и даже закрыл за собой дверь. Он закрыл ее тщательно и плотно», и после того, как он написал в самом конце романа про то, что завещает охотничьи ружья итальянке из Венеции, после этого видения Хемингуэй написал «Праздник, который всегда с тобой» – эту спокойную книгу, читать которую долго нельзя, так переворачивается все внутри, и так делается горячо сердцу, и так пусто становится тебе – отчаянно, как в доме, где заперты все двери, но не по причине отъезда хозяев на дачу...

Три раза великий лирик Хемингуэй, словно гениальный режиссер, высветил великого гражданина и республиканца –

Хемингуэя. В первый раз – когда он пишет о нас: «Говорят, это наш будущий враг. Так что мне, как солдату, может, придется с ними драться. Но лично мне они очень нравятся, я не знаю народа более благородного, народа, больше похожего на нас». Второй раз – когда он лежал в номере «Гритти», и еще только рассветало, и он был один, и напротив на двух стульях был портрет итальянки, и он говорил с собой и с портретом Ренаты: «Я любил три страны, и трижды их терял. Ну зачем же так? Это несправедливо. Две из них мы взяли назад. И возьмем третью, слышишь, ты, толстозадый генерал Франко? Ты сидишь на охотничьем стульчике и с разрешения придворного врача постреливаешь в домашних уток под прикрытием мавританской кавалерии.

– Да, — тихонько повторил он девушке; ее ясные глаза глядели на него в раннем свете дня.

Мы возьмем ее снова и повесим вас всех вниз головой возле заправочных станций. Имейте в виду, мы вас честно предупредили, – добавил он». И в третий раз – когда солдат Кантуэлл думает о сильных мира сего: «Теперь ведь нами правят подонки. Муть, вроде той, что остается на дне пивной кружки, куда проститутки накидали окурков».

Можно ругать власть и посвящать этой ругани целые романы, можно бранить каудильо, можно в самый ярый период «холодной войны» сказать о своей любви к русским, но все это может оказаться – и, увы, сплошь и рядом оказывается – лишь острым памфлетом.

Но Хемингуэй писал не памфлет – он писал роман о любви старого солдата и юной венецианской аристократки. И сила воздействия – гражданственного, республиканского воздействия – в этом его романе громадна, как и во всех других вещах, хотя этому отведены всего-навсего три фразы.

Критика ругала Хэма за роман. Критики утверждали, что он исписался, что он потерял самого себя. Мне очень хочется верить, что Старику не было больно из-за этих подонков. Ему всякое приходилось слышать в свой адрес, – чего не накричат бойкие журналисты и журналистки! Многие не понимают «Восьми с половиной» Феллини и из-за этого так зло раскладывают гениальную киноисповедь итальянца. (И я был горд, когда именно моя Родина на нашем кинофестивале присуди-

ла этому фильму высшую награду.) Можно считаться талантливым – куда труднее талантливым быть. Критика тогда не смогла подняться до Хэма. Чтобы подняться до его романов, можно и не быть талантливым, но обязательно надо пережить такую же последнюю любовь, и ночь в «Гритти» за бутылкой вина, и холодный ветер, который задувал под одеяло на гондоле, и последние слезы итальянки, которая дала себе ученическое твердое слово никогда не плакать... Пусть не Италия – пусть костер в архангельском лесу, за Холмогорами, и весенний рассвет, когда уже разлетелся тетеревиный ток, и ты в шалаше на берегу Двины, а над тобой высоко-высоко тянет казара, или Ирак, берег Персидского залива, ночь, и пьяные матросы бьют женщину с растрепанными черными волосами, похожую на венецианку... Или... Это у каждого должно быть свое «или». А если их не было и человек не может себе представить, как это бывает, или он не хочет поверить Старику, что именно так и бывает, – тогда пусть ругает его роман: это не больно и даже не обидно.

Наверное, когда он писал этот свой роман, это свое точно увиденное п р о в и д е н и е, ему было мучительно радостно и так же больно. Хэм не думал о полковнике, когда писал роман, потому что он списывал его с того человека, которого слишком хорошо знал. Зато он с такой поразительной нежностью выписал итальянку, и получилось чудо: она высветила собой Кантуэлла. Можно понять писательскую технологию Хэма – только потому, что в его творчестве ее не было вовсе. Он писал из самого себя, мучительно честно, до самой последней степени честности, и поэтому какие бы точные «натуралистические» подробности он ни писал – они звучат как музыка Моцарта, они, эти так называемые «натуралистические подробности», невозможно чисты у него.

Старик в этом романе описывает день, вечер, ночь, рассвет, раннее утро, утро, день и ночь – последнюю ночь полковника Кантуэлла. А мы сопереживаем жизням и судьбам – это умеют делать с нами только гении.

Хемингуэй никогда не «темнил» – ни в жизни, ни в творчестве. Он всегда был писателем одной темы – темы человека доброго, открытого, нежного, сурового. Он всегда исповедовал религию антифашизма, он был последователен в своей

ненависти к нацистам и к войне. Он никогда не декларировал этого – ни в интервью, ни с трибун. Он просто таким был.

Я, право, не знаю, каким бы был сейчас мир наших представлений, не живи на земле этот добрый Солдат.

Мир стал беднее, когда он ушел от нас сам. Но мир стал богаче, и щедрей, и мужественнее, потому что он – антифашист, солдат, Папа – жил в нем, в этом нашем маленьком и огромном мире...

Я подумал обо всем этом, когда ехал от Луиса Мигеля Домингина на встречу с одним из тех нацистов, который воевал с Кантуэллом, и с Хемингуэем, и с моим отцом, и с его друзьями – Константином Лесиным, Иваном Кузьменко, Алексеем Великоречным, и которого мы побили, но который еще жив и с которым поэтому надо продолжать драку...

Осенью, когда туристский сезон сходит на убыль и по дорогам Андалусии уже не мчатся, перегоняя друг друга, звереподобные машины, а уютно дребезжат старенькие, причудливо раскрашенные автобусы, набитые крестьянами, Андалусия красива особой, первозданной красно-зеленой, протяжной красотой. Выгоревшая земля, которая прекрасна своим глубинным, могучим красным цветом: темно-голубое небо; бело-зеленые, вспененные реки и – тишина. Она особенно ощутима, когда поют птицы. Их не видно, но все время слышен их диковинный, то близкий, то далекий, доверчивый и нежный посвист. Будет пустая дорога и безлюдье, но вдруг, когда бурая дорога поднимется на бугор, а потом рухнет вниз, вы можете увидеть окруженное пальмами мавританское поместье, или хижину пастуха, или коттедж-модерн, окруженный голубыми бассейнами, или разваливающийся крестьянский дом, или охотничью виллу, сложенную нарочито грубо.

Я ехал по такой прекрасной, осенней, тихой и странной Андалусии, ехал под вечер, «заголосовав» грузовик возле харчевни. Солнце уже садилось, и небо из темно-голубого сделалось сиреневым. Мы поднялись на один из бесчисленных холмов, и шофер, показав рукой на красивые башни замка, построенного в мавританском стиле, сказал:

– Финка «Мертинка».

Я сразу не поверил, переспросил:

– А кто хозяин? Сеньор Рейна?

– Да, – ответил шофер, – сеньор Рейна. Очень хороший человек, простой и веселый сеньор...

Я долго охотился за этим человеком. Кто же такой этот добрый и простой сеньор? Кто же такой этот Леон Хосе де Рамирес Рейна?

Его подлинная фамилия Дегрель, должность – гаулейтер Бельгии, звание – командир «валлонского легиона СС», который огнем и мечом прошел по Советскому Союзу. Он – кавалер железного и рыцарского креста с дубовыми листьями.

О себе он писал так: «Не многие немцы пользовались таким уважением и вниманием фюрера, как я, командир иностранной дивизии СС». Он писал об этом не в те дни, когда Гитлер кликушествовал в Берлине. Он писал об этом в1969 году в газете фалангистских профсоюзов «Пуэбло» – в своих мемуарах, названных «простенько, но со вкусом», что называется, без затей: «Воспоминания фашиста».

Когда бельгийским правительством был заявлен протест против опубликования этих возмутительных мемуаров, Дегрель в интервью другой мадридском газете заявил: «Я еще напишу тридцать книг, и все они будут посвящены Гитлеру».

В последний день войны Дегрель бежал в Норвегию на минном тральщике. На военном аэродроме в Осло стоял немецкий двухмоторный «хейнкель». Дегрель приказал пилоту запускать моторы. Пилот колебался: уже был заключен мир, а на фюзеляже его машины была свастика. Дегрель закричал, вытаскивая из кобуры парабеллум:

– Немедленно заводите мотор, курс – Испания!

Горючее в самолете кончилось в ту минуту, когда показался испанский берег. Самолет упал в воду неподалеку от Сан-Себастьяна. Солдаты испанской береговой охраны подобрали двух тонувших людей.

В Мадриде Дегрель занялся бизнесом – он купил строительную компанию и получил подряд на сооружение стратегической базы американской авиации в Торрехоне. Он тогда не афишировал себя. Но когда легализовался Скорцени, а фон Тадден стал набирать силу в Мюнхене, когда в Бельгии бывший соратник Дегреля, эсэсовец Дебро, выступил с на-

цистским манифестом, когда новоявленный итальянский дуче Альмиранте воссоздал «Итальянское социальное движение», продолжающее заветы Муссолини, Дегрель, обнаглев, созвал журналистов и предстал перед кинокамерами. Он начал выступать с воспоминаниями, давать интервью, утверждая, что лишь случайно Гитлер не победил во второй мировой войне. Он заявлял, что если бы Гитлер высадил десант во Владивостоке, тогда ударные германские клинья могли бы пробить коридор через Сибирь и великий рейх утвердил бы себя от Ла-Манша до берегов Тихого океана.

У Дегреля было несколько особняков, разбросанных по всей Испании, сказочной красоты финка «Мертинка», великолепное поместье в Мадриде, на Лассо де лос Хесуитас; он устроил нацистский шабаш во время бракосочетания своей дочери Марии Христины с испанским бизнесменом, когда рядом с ним, окруженный телохранителями, стоял Отто Скорцени, а почетными гостями были зять Франко, бывший министр Серано Суньер, мэр Мадрида Карлос Ариас и председатель верховной судебной палаты Франциско Руис Прадо.

Однако новая ситуация – в первую голову экономическая – вынудила официальный Мадрид принять меры против Дегреля, когда тот «доигрался». Это случилось, по мнению моих испанских друзей, лишь потому, что бельгийский министр иностранных дел Армель в беседах со своим тогдашним испанским коллегой Лопесом Браво довольно часто возвращался к теме Дегреля. Армель стал председателем Совета министров Европейского экономического сообщества. Лишь когда экономическая конъюнктура Испании зашаталась, а бельгийцы в этой организации «общего рынка» играют весьма заметную роль, лишь тогда Дегрель вынужден был скрыться. Считают, что он скрывается в Испании, и убеждены, что власти знают, где он находится, защищая его от досужих газетчиков.

...Я попросил шофера подъехать к воротам «Мертинки». Старый служитель, внимательно оглядев меня, на мой вопрос ответил:

– Я не понимаю по-английски.

Тогда я спросил его по-немецки:

– Сеньор Рейна дома?

Служитель чуть усмехнулся:

– Если вы так хорошо говорите по-немецки, вам лучше знать, где сейчас следует искать сеньора Рамиреса Рейна.

С этим он повернулся, вошел во двор и осторожно закрыл за собой тяжелые ворота.

Сегодня, как всегда, встретился с друзьями в «Хихоне», поужинали в маленьком ресторанчике, который все шепотом называют «Эль коммуниста», потом были у актеров в театре, а в полночь кто-то предложил:

– Ребята, поехали на каток «Реаль Мадрид»? Он ведь работает до двух часов ночи...

Приехали на каток, и я очень много смеялся, когда наблюдал за тем, как испанцы катаются на коньках. В Испаний льда не бывает. Новый крытый стадион – гордость Мадрида. Мужчины катаются очень плохо, но падают как истинные идальго, – вроде бы и не он упал, а если и упал, то что случилось?! Девушки падают лениво, как дуэньи, так же весело и кокетливо.

Ходят по трибунам среди наблюдающих (наблюдающих здесь значительно больше, чем катающихся) юноши, высматривают подружек, девушки высматривают женихов, и все пьют «Куба либре» – глоток рома со льдом, один из самых популярных здесь коктейлей.

«Куба либре» («Свободная Куба») произносится намеренно громко, с некоторой долей вызова, поскольку Фидель Кастро очень здесь уважаем; громкое «Куба либре» – некое определение своей гражданской позиции, некое, – впрочем, весьма закамуфлированное, – выражение неприятия фалангизма, ненависть к Франко – душителю Республики; в этом – если хотите – проявление признательности Фиделю и его друзьям, которые сделали Кубу поистине свободной.

...Я вспомнил об этом в Гаване, четырнадцать лет спустя, весною восемьдесят четвертого, когда сидел в номере отеля «Гавана либре», на четырнадцатом этаже, и писал корреспонденцию для «Известий»:

«В январе пятьдесят пятого года в полицию диктатора Батисты на грузовиках были доставлены тома «Географии Кубы», написанные двадцатидевятилетним учителем Антонио Нунье-

сом Хименесом; из подвала принесли канистры с бензином; книги были свалены в маленьком тюремном дворе и сожжены в присутствии чиновника «министерства просвещения», который и подписал, вместе с костоломами из батистовского гестапо, акт о тотальном уничтожении «зловредного» произведения.

В чем же была заключена «зловредность» книги Антонио Нуньеса Хименеса?

Во-первых, в том, что он — впервые в истории Кубы — открыто сказал, что большинство земель в стране принадлежит полутора процентам населения, то есть крупнейшим латифундистам, как кубинским, так и североамериканским.

Во-вторых, в том, что он опубликовал портреты голодных, больных детей, которые были вынуждены работать начиная с пяти лет; в том, что он напечатал фотографии «бурро» — так здесь называли бурлаков, тянувших свою лямку (вторая половина двадцатого века!), совсем неподалеку от роскошных отелей, куда приезжали на «уик-энд» соседи с севера, чтобы поиграть в казино и поохотиться на крокодилов.

В-третьих, потому, что Нуньес Хименес впервые в истории Кубы открыто и с симпатией сказал об СССР, что в ту пору приравнивалось к государственной измене.

В-четвертых, в его книге были главы о полуколониальном характере экономики страны, о засилье иностранного капитала, о том, что из семи миллионов населения страны полтора миллиона лишены права на работу, о том, что даже робкие поползновения начать индустриализацию натыкались на немедленный запрет со стороны Уолл-стрита. Именно в этой книге Нуньес Хименес смог опубликовать главу о необходимости защиты национального достоинства, и в этой-то именно главе молодой ученый сформулировал тринадцать пунктов, которые вошли в программу Коммунистической партии Кубы.

Неудивительно поэтому, что, когда Фидель и его боевые друзья высадились с «Гранмы» на берег своей многострадальной и прекрасной родины, Антонио Нуньес Хименес ушел в горы, примкнув к борцам за свободу; неудивительно, что он стал боевым соратником Эрнеста Че Гевары, а после того как «барбудос» вошли в Гавану, — помощником Фиделя Кастро; неудивительно и то, что Фидель Кастро, прочитав единственный экземпляр «Географии», спасенный от сожжения, — в

вертолете, вскоре после победы революции, когда он летел на полуостров Сапата, – сказал капитану Нуньесу Хименесу:

– Что ж, Антонио, кому, как не тебе, стать генеральным директором ИНРА, Национального института аграрной реформы?!

А президентом ИНРА стал он, Фидель Кастро. И Нуньес Хименес был сподвижником вождя кубинской революции, на какой бы пост его ни направляли: проводить аграрную реформу, создавать первую в истории страны Академию наук, возглавлять посольство Кубы в Перу, когда там к власти пришло правительство Веласко Альварадо, провозгласившее антиимпериалистическую программу...

...Иду вдоль бесчисленного ряда шкафов, в которых хранятся бесценные документы – практически вся история кубинской революции; это – детище Нуньеса Хименеса, академика и писателя, кандидата в члены ЦК Компартии Кубы, члена парламента, одного из ближайших сподвижников Фиделя Кастро.

– Мне исполнилось шестьдесят, – говорит он, – я перенес три инфаркта, поэтому время рассчитано не по дням даже, а по часам; планов у меня множество, но из всего этого множества я обязан выполнить два – написать многотомную книгу по истории и географии Кубы и закончить начатую мною работу «В походе с Фиделем». Остальное будут делать молодые товарищи: уже принято решение, что мне придают пятьдесят студентов последнего курса университета; они будут работать у меня дома и писать те книги, на которые у меня, видимо, не осталось уже времени.

Он достает с полки книгу «В походе с Фиделем» – том, посвященный событиям первого года революции, пятьдесят девятому году. Книга эта только что издана в Советском Союзе, в Политиздате, издана великолепно, и читается взахлеб, хотя написана как несколько суховатый дневник, посвященный кардинальным проблемам, ставшим перед революцией в первый год ее триумфа.

...Это очень трудная работа – научить думать людей, которых сознательно и повседневно оглупляли, лишали информации и пичкали тлетворной ложью. Именно поэтому Фидель Кастро был постоянно в пути, именно поэтому он чуть не каждый день садился в вертолет и отправлялся вместе с Че Геварой, Камило Сьенфуэгосом, Армандо Хартом, Нуньесом Хименесом в самые отдаленные уголки страны.

Империалисты начали бешеную кампанию против кубинской революции, против аграрной реформы, которая впервые в истории страны передавала землю крестьянам, против работы трибуналов, судивших кровавых садистов из батистовской охранки, замучивших в застенках десятки тысяч лучших сыновей и дочерей Кубы, против реформы народного образования, против проекта строительства новых жилых массивов для тех, кто ранее ютился в чудовищных бидонвилях, кто ранее попросту не знал, что такое водопровод, электричество, плита, холодильник, радиоприемник...

...Драматизм ситуации, описываемой Нуньесом Хименесом, прочитывается не в обилии восклицательных знаков; наоборот, он всячески избегает «первого плана», он верит силе документа; меня совершенно поразил эпизод, когда в его доме, накануне вылета в США, раздался звонок – это был Фидель, который произнес на хорошей латыни: «Alea jacta est» (жребий брошен). Только три слова. И – положил трубку.

Это означало, что назавтра, 17 июля 1959 года, в газете «Революсьон» должно появиться заявление о его отставке. Надо только представить себе, как честно и смело поступили Фидель и его друзья, которые не хотели применять насилие против временного президента Уррутии, ставшего барьером на пути революционных преобразований страны; надо отчетливо понимать, сколь рискованна была такого рода мера в стране, где более половины населения в ту пору было неграмотно; надо помнить о размахе антиреволюционной пропаганды из США.

Да, жребий был брошен, и Фидель подал в отставку, показав «истинный пример демократизма и бескорыстия». Ведь, в конце концов, продолжает Нуньес Хименес, он сам всегда говорил, что никогда не сражался за должности и почести.

Наверное, он даже не ожидал той реакции, которую вызвал этот шаг в народных массах. Положение Уррутии казалось еще довольно прочным. Один майор повстанческой армии просит вождя революции разрешить ему взять отделение солдат и все решить «с маху». Фидель категорически возражает, замечая при этом, что подобные действия будут в духе антидемократических, военных режимов Латинской Америки:

– Кризис должен быть решен самим народом.

И кризис был решен народом: люди сказали свое определенное и безусловное «да» реформам Фиделя Кастро, народ сказал «да» идеям коммунизма, ибо эти идеи означали знание, культуру, равенство, означали передачу земли крестьянам, продолжение борьбы против тех, кому неугоден прогресс.

Но контрреволюция не останавливалась ни перед чем: враги начали бомбить Гавану с самолетов США – только бы остановить революционный процесс, только бы вернуть Кубе ее прежний полуколониальный статут. И снова Фидель обращается к кубинцам:

– Что свершили народ Кубы и его революционное правительство, кроме выступления в защиту своих интересов? Мы ввели революционные законы, ущемляющие иностранные привилегии. Именно поэтому на нас нападают. Разве не кубинским является закон об аграрной реформе? Разве это не наши национальные интересы – снижение платы за жилье и за электричество? Может быть, чуждо кубинцам создание собственного торгового флота, выращивание риса, хлопчатника, производство масла на нашей собственной земле? Разве не нужно кубинцам строительство домов для рабочих, крестьян, населения в целом? В таком случаев в чем же нас обвиняют? В чем нас можно обвинить, лицемеры и циники? В чем нас обвиняют преступники и предатели, если не в осуществлении подлинно кубинских мер и на благо Кубы?

Когда читаешь книгу Нуньеса Хименеса об этих драматических месяцах первого года кубинской революции, поражаешься тому, как штампованно и повторяемо действует враг. В первые недели после Великого Октября в чем только не обвиняли великого Ленина и его партию! Сколько клеветы было рождено в «мозговых центрах» отечественной и зарубежной контрреволюции! «Немецкие шпионы» – о восстании русских рабочих и крестьян; «рука Москвы» – о борьбе кубинского народа против засилья империализма; «интриги Москвы и Гаваны» – о блистательной победе сандинистов в Никарагуа. Поражает полнейшее пренебрежение к здравому смыслу, к реальности, к людям, которых считают «стадом», бездумным «быдлом», что ни скажи – все примут. Нет, не принимали и не примут, потому что истина конкретна и объективна; революция происходит там, где гнет капитала делается вопиющим, где

продажность власть имущих, думающих лишь о самообогащении, не позволяет народу более терпеть нищету, ложь и гнет.

...А на страницах заокеанской прессы по-прежнему появляются очередные небылицы про то, что борьба народа Сальвадора против доморощенных фашистов и их покровителей из Белого дома объясняется не ужасом жизни в стране, но «поставками советского оружия с помощью кубинцев и никарагуанцев», печатают пространные комментарии о том, что-де, мол, это социалистические страны «подталкивают» прогрессивные режимы Латинской Америки к тому, чтобы национализировать собственность североамериканских монополий, высасывающих кровь народа, грабящих континент, думающих лишь о сиюминутной корысти...

...Когда читаешь книгу Антонио Нуньеса Хименеса «В походе с Фиделем, 1959» – первую из задуманного им многотомного цикла, понимаешь, что за океаном, на прекрасном острове, похожем, по словам Гильена, на зеленую ящерицу, живет десять миллионов прекрасных людей, наших братьев по идее, по работе, по классу. А что есть в мире крепче такого братства?»

С утра уехал в Толедо. Весь день бродил по этому поразительному городу, который одни считают античной столицей Кастилии, другие – самым красивым городом Европы, третьи – самым трагичным городом мира – хотя бы потому, что здесь жил великий изгнанник Эль Греко, потерявший родину, и нашедший ее в Толедо, и снова потерявший. В нем, в Доменико Теотокопули, принявшем имя Эль Греко, рожденном на Крите, прошедшем через Грецию, Италию и Францию в Испанию, в нем – величие и трагизм художника, посвятившего себя служению правде. Он знал правду, и он служил только ей, святой правде, но, чтобы делать это, он был обязан стать другом и «приписным живописцем» инквизиции. От него отшатнулись друзья, о нем брезгливо говорили те, которые дерзали – на словах, да и то шепотом, – не соглашаться с инквизиторами; а он, сжав зубы, молча и сосредоточенно работал. Неосторожное слово, сказанное в сердцах, могло принести гибель не ему – гений не боится смерти, – могло пострадать его искусство.

Маленький домик Эль Греко стоит в центре еврейского квартала, неподалеку от улицы Леви, на узенькой – если раздвинуть руки, то упрешься в стены домов – улочке.

...Я шел мимо храма Сан-Себастьяна на Пласа де Сан-Киприано. Мощеные узенькие улицы, типичные для Ла-Манчи, ведут тебя к дворцу Хуэнсалида, убежищу Карла V.

Вокруг меня была история. Она жила в красно-желтых стенах храма Мадре де Диос, где сейчас доминиканцы воспитывают детей. В каждом камне «Сан-Педро Мартир», в «Сан-Роман» – во всем этом были те живые, осязаемые «средние века», которые мы в школе изучали с такой ненавистью. Мы, в общем, не очень-то и горевали, когда нам ставили двойки. Что такое средние века? Пипин Короткий, Алая Роза, Лютер, Испанская армада. Что это? Рисунки в учебниках скучны и невыразительны, а тонким новеллам Мериме теперь противостоит сверхсовременный Станислав Лем. И лишь в Толедо все замерло, время здесь остановилось. В городе ни одного нового здания. Здесь везде и во всем средние века. Впрочем, нет. Когда вы подходите к крепости Алькасар, в памяти возникают образы иные, близкие нам...

«По всему Толедо идет пальба, – писал Михаил Кольцов, – неизвестно, кто и откуда стреляет, – не могут же пули осажденных залетать во все переулки! Вооруженные и возбужденные люди бродят толпами по улицам.

В Санта-Крус стоят несколько отрядов – местные анархисты, немножко республиканской гвардии и коммунисты из Пятого полка. В четырехугольной галерее главного двора сидят и лежат, закусывают, смотрят друг у друга оружие. Здесь же и перевязка раненых; даже не отгорожено, напоказ всем. Здесь же лежат на носилках мертвецы, и люди кругом долго, иногда по получасу и больше, не отрываясь, не мигая, смотрят на этих мертвецов. Молодые парни просто гипнотизируют себя. Они, видимо, хотят понять, что чувствует мертвец, впитать его, мертвецкие, ощущения в себя. Если будут и дальше так разглядывать покойников, воевать невозможно будет.

С корреспондентами для «Правды» отсюда, из Толедо, с эстрамадурского фронта, у меня большая возня...

Под вечер я бродил, заходя в старинные пасио (дворы) мрачных палаццо. В одном вдруг увидел плакат с русскими

буквами. Здоровенный крестьянин с бородой держит за рожки рыжую телку. И текст «Преступник тот, кто режет молодняк!» Издание Наркомзема РСФСР 1928 года. Как он сюда попал?! С большим трудом выяснил, что здесь помещается толедское Общество друзей Советского Союза. Из правления никого не оказалось, крохотная чернявая девочка сказала, что падре (отец) и все тиос (дяди) взяли ружья и ушли в Санта-Крус».

Я верю в чудеса (и – да простится мне – верю в сны и приметы). Я нашел то здание, в котором помещалось толедское Общество друзей Советского Союза. Оно было на улице Кристо де ля Лютц, неподалеку от Санта-Крус, громадного госпиталя, где умирали интербригадовцы, коммунисты, католики, социалисты, анархисты, защищая Испанию.

Я верю в чудеса (потому что много раз убеждался в их существовании). Я убедился в этом лишний раз и в Толедо. В том дворике, где помещалось толедское общество друзей моей родины, на каменной стене детской рукой, красным мелком, было написано: «Да здравствуют коммунисты !»

– Нет, к ней подходить не надо, во всяком случае здесь.

– Что, герцогиню повсюду «водит» секретная служба?

– Наверняка.

Я смотрю на женщину, скромно одетую – в джинсах и сером джемпере. Это Луиса Исабель Альварес де Толедо и Маура, маркиза Лос Велес, Виллафранко Бьерсо, герцогиня Мединa Сеговия.

– Когда я с ней могу увидаться?

– Позже. И не здесь. Мы не можем подводить ни ее, ни тебя. Постараемся устроить встречу перед самым твоим отъездом.

Мединy Сеговию знают во всем мире. Она заслуживает того, чтобы друзья о ней говорили с почтением, враги – с ненавистью. Про нее было написано много в Америке, во Франции, в Федеративной Республике Германии, в Италии. Писали журналисты разных направлений, но никто из них не писал о ней плохо. Могли не принимать ее позицию, но ее позицию все, кто о ней писал, уважали. О встрече с «красной герцогиней» я писать не буду – предоставлю слово моим французским коллегам.

« – Да, я знаю, в Испании мои враги называют меня «красной герцогиней». Я человек либеральных взглядов. Но до коммунистов мне очень далеко. Я никогда не поддерживала никакую партию.

Женщине, произносящей эти слова, тридцать два года. У нее продолговатое лицо, темная матовая кожа испанки с юга. Большой нос с горбинкой, черные насмешливые глаза, тонкие губы.

– Поверьте, я никогда ничего не делала из сострадания. Милостыня оскорбительна. Все мои поступки были продиктованы элементарной порядочностью.

В устах этой испанки слово «порядочность» означает очень многое. Это и честь, и мужество, и обостренное чувство протеста.

– В Испании сегодняшнего дня за честность приходится дорого расплачиваться. Это обременительная добродетель. Для деятелей режима Франко службы нет, есть синекура. Но чтобы получить синекуру, надо плясать под дудку властей. Трудящимся безработица постоянно напоминает о реальностях жизни. Для недовольных и протестующих есть тюрьма, в лучшем случае – изгнание.

Я сидела в тюрьме. Это многому научило меня. В тюрьме я поняла, как боятся заключенного те, кто упрятал его за решетку. Они знают, что рано или поздно произойдет взрыв, а тогда двери застенков откроются...

Герцогиня открывает новую пачку крепких французских сигарет. Спрашиваю: с каких пор она начала интересоваться политикой? Она смотрит на меня удивленно:

– Но я не занимаюсь политикой! Когда живешь в стране, где царит беззаконие, поневоле становишься на сторону справедливости... Несправедливость всегда казалась мне опасной».

Провел день с еще одной «красной герцогиней». Ее зовут Мария Кармен. Она порвала с семьей, ушла из дома. Ее отец, герцог-баск, не согласен с революционными устремлениями дочери. Она носит чиненые ботинки и штопаную юбку, но горда и счастлива, утверждает собственную независимость.

Таких здесь много – честных молодых людей, которые рвут со своим классом, ибо думают они о будущем.

Поехал к Домингину на последнюю корриду. Тореро уезжают в Латинскую Америку, потому что в Испании наступает настоящая осень. Последняя коррида была грустной. Какой-то подвыпивший старик на солнечной стороне Пласа де торос во время перерывов между боями танцевал на полупустой трибуне. Продавцы вина протягивали ему стаканы с тинто, оркестр аккомпанировал, подстраиваясь под жеманные па старика.

...А солнце жарит вовсю, небо – раскалено жарой, ласточки орут по-летнему...

Неважно. Календарь гласит – осень. Адиос, коррида! До весны. Адиос, Домингин! До мая...

Антонио Альварес рассказал про самое веселое и интересное соревнование басков – «эль конкурсо де перос пасторес». Конкурс пастушеских собак. Проводят его в августе в Бильбао. Собаки должны прогнать отары сквозь горное ущелье. Побеждает тот пес, который – ни в коем случае не кусая овец – быстрее других псов прогоняет свою отару через горное ущелье. Пастух не вправе помогать собаке советом – он недвижим, стоит, опершись на посох.

– Я любил смотреть на это соревнование сверху, – говорит «Антоша». – Льется «река» овец – бурная, пенная, быстрая. Пес мечется то сзади, то по бокам, чтобы ни одна овца не вышла из отары. А когда он пригонит «своих» овец через ущелье – ложится, словно человек после тяжелой работы... Лежит, дышит загнанно и смотрит на пастуха – своего хозяина и бога: «Ну как?»

...Режиссер Ниньо Кеведо кончил снимать фильм о Гойе и пригласил меня на студию – посмотреть, как работает великий испанский актер Пако Раваль, озвучивая Гойю.

Пако Раваля, которого мы полюбили в замечательном фильме Бардема «Смерть велосипедиста», знает вся Испания. Он много снимается во Франции и Италии. Начал он с того, что был осветителем. Сейчас во время съемок он перешучивается со своими прежними товарищами по искусству:

– Давай свет левей, плохо будет виден глаз. Ты остался таким же лентяем, что и в ту пору, когда был моим шефом, сукин сын!

...Мальчику было четыре года, когда в их маленький городок приехали фламенко. Он слышал музыку бродячих артистов, и он помнит эту музыку.

– Знаешь, – вспоминает Пако Раваль, – я обижен на родителей до сих пор за то, что они не взяли меня на представление. Но я стоял у забора и слышал песни, и плакал от счастья. В двенадцать лет я впервые посмотрел бродячий театр, который пришел в деревню. Когда представление кончилось (играли пьесу Лопе де Вега, сокращенную донельзя), я ушел в горы и упал в траву и шептал слова драмы, подражая интонациям бродячих актеров. Во время гражданской войны я жил под Мадридом. В маленький домик набилось одиннадцать семей. Во время бомбежек нас загоняли в подвал, а в подвале один из профессоров спрятал от бомб свою библиотеку. Он позволял мне брать любую книгу и читать во время бомбежек. Бомбежки были для меня часами радости. Я не слышал грохота, плача, я не чувствовал ужаса. Я читал... Мои родители не могли мне дать образование. Отец — железнодорожник, мать всю жизнь кухарила. Но я начитался книг, голова у меня распухла, и я, естественно, решил, что мое место в искусстве.

А как подступиться к искусству? Я нанялся в осветители. Однажды актер Франсиско Орей ушел со съемочной площадки в бар – был перерыв, он имел право уйти. Но перерыв кончился, свет поставили, а его все не было. Меня послали за Ореем в бар. Он неторопливо попивал виски. «Поди и скажи, – попросил он, – чтобы на тебе поставили свет, мы с тобой одного роста». Я передал режиссеру просьбу Орея. Режиссер очень долго ругался и махал кулаками у меня перед носом, а потом заставил меня стать на площадку и начал прикидывать вместе с оператором свет на моем лице. А потом, забывши, что я не Франсиско Орей, он сказал: «Ну давайте ваш монолог». И я начал говорить монолог, я знал его. И вдруг режиссер сказал: «Внимание, приготовились! Снимаем!..» Вот с этого все и пошло... Я считаю, что меня не было бы как актера, не будь рядом со мной Чехова, Ремарка, Достоевского, не будь одной из самых моих любимых книг «Хулио Хуренито» Ильи Эренбурга, не будь Веласкеса, Пикассо, Рембрандта. Я полюбил и Сальвадора Дали, но теперь мы разругались – я не терплю шатаний в человеке... Я отношу себя к тем идиотам,

которые не отделяют художника от гражданина... Ты спрашиваешь, кто мой любимый режиссер? Бунюэль. Он заражает всех вокруг своей гениальностью. Очень люблю Бардема... Советские фильмы? Я видел один советский фильм. Это было в Риме. Показывали «Балладу о солдате», я сидел и плакал, в меня тыкали пальцами, а потом прибежали кинорепортеры и стали снимать меня. А я ничего не мог с собой поделать. Закрыл лицо руками и плакал.

– Сеньор Раваль! В павильон!

В зале, где идет перезапись фильма (тут синхронно не снимают), сидели два худеньких старичка, внимательно слушая текст, который записывал Пако. Они слушали текст еще более внимательно, чем режиссер Ниньо Кеведа.

Вдруг один из стариков, поднявшись, хлопнул в ладоши.

– Сеньор Кеведа, я прошу изменить эту реплику. Нельзя говорить дурно о монархе.

Я посмотрел на Ниньо:

– Это что, представители цензуры?

Он шепнул:

– Нет, это мои хозяева. Они финансируют картину. Они продают ковры, у них избыток денег, и они решили вложить их в кинематограф, это сейчас выгодно.

– Я не буду менять реплику! – сказал Пако.

Ниньо взял Раваля под руку, вывел его в коридор. Пако возмущенно грохотал:

– Пошли их к черту, Ниньо! Это ж безобразие! Я не буду перезаписывать эту реплнку! Не буду!

Кеведа, побледневший, враз осунувшийся, шептал:

– Пойми, если мы не перезапишем эту реплику, они придерутся к чему-нибудь еще и закроют фильм. Им выгоднее закрыть картину, чем получить политический скандал...

Пако Раваль поершился, повздыхал, но в зал вернулся.

Старики удовлетворенно и улыбчиво посмотрели на Кеведу.

– Вот видите, сеньор Кеведа, насколько лучше звучит эта редакция, чем та, которая была раньше! Вдумайтесь, сколько серьезного воспитательного смысла сокрыто в тех словах, которые сейчас произнес наш великий актер...

(Я подумал, что лишь в том случае, если талант сможет заявить себя с самого начала, с ним будут считаться. С Феллини

считается папа, его антиклерикальная картина «Сладкая жизнь» была отмечена премией Ватикана. Старики «ковроделы» – умные люди, они понимают, что слова, обращенные против тирана XVIII века, рикошетом ударят по тиранам века XX, а они – верноподданные диктатора, тот гарантирует их прибыли.)

...Вернувшись из киностудии, сел к столу и написал рассказ – под свежим впечатлением о встрече с двумя старцами, которые так вкрадчиво и пристойно убивали режиссера Ниньо Кеведа и актера Пако Раваля!

...Приехал к Бардему. Замечательный он человек – умный, тонкий. Его известность далеко перешагнула границы Испании. Ему сейчас трудно, он уже много лет ничего не может поставить в кинематографе. Он выходил на демонстрации протеста, и не просто выходил, а возглавлял колонны патриотов. Три раза его арестовывала полиция.

– О чем я мечтаю? – переспрашивает Бардем. – Я мечтаю, как и положено идиоту, о невыполнимом. Я мечтаю поставить Лорку во МХАТе. Дико, да?

Близорукие глаза его за толстыми стеклами очков большие, доверчивые, грустные и честные, глаза замечательного художника, который не предает себя ни в чем – ни в творчестве, ни в политике. Он не снял ни одной картины для заработка. А предложения сыплются со всего мира – при мне к нему звонили из Рима и Парижа, предлагали снять музыкальную комедию.

Большой, улыбчивый, добрый Бардем меняется.

– Нет. Нет. Нет. Не буду. Нет.

Ответы его категоричны, лицо жестко, непреклонно.

– Предательство всегда начинается в мелочах, – задумчиво говорит он мне. – Кажется, пустяк, что изменится? А изменится все – солнце, любимая женщина, мир, стихи Лорки. «И должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца».

В огромном госпитале Ла-Пас я поднимался на лифте вместе с моим новым другом, главным врачом родильного дома. На третьем этаже в кабину вошла сестра милосердия в фиолетовом – до того он был чистым, в скрипучем – до того он

был накрахмален – халате, с новорожденным на руках. Ребеночек кряхтел. Сестра, приподняв марлевое покрывало, заглянула в лицо ему, стукнула его по спинке, чуть встряхнула, подняла над головой и сказала: «Кричи, испанец!»

Двери лифта раскрылись. Мы вышли на галерею. Под нами лежал Мадрид в знойном вечернем мареве – огромный город, нежный город, любимый мой город – отныне и навсегда.

Назавтра я выехал в Сан-Себастьян, страну басков, а оттуда, через Биарну, – во Францию.

Париж. Семенов.
Редакция «Литературной газеты»
(передано по телефону):

«Душная жара в Мадриде спадала лишь часам к десяти вечера, когда гуляки начинали занимать столики в открытых кафе на красно-сине-желтой авениде Хосе Антонио. Именно в это же время в Университетском городке и в рабочей Карабанчели – там, где с наступлением вечера все погружается во тьму и лишь горят маленькие, подслеповатые фонарики, кажущиеся декорациями, взятыми напрокат из прошлого века, собирались люди – по двое или по трое. Они быстро перебрасывались несколькими словами и расходились в разные стороны, исчезая в чернильной темноте узеньких переулков. Рабочие и студенты, писатели и режиссеры, люди разных убеждений – коммунисты, католики, социалисты – все они готовились к проведению демонстрации с требованием амнистии политзаключенным.

Положение в те дни было напряженным: только что стало известно о том, что председатель военного трибунала в Бургосе полковник Гонсалес потребует смерти для шестерых и семьсот пятьдесят лет тюрьмы для остальных десятерых патриотов Испании.

В первый же день процесса защитник обвиняемого Иско де ла Хиелесиаса доказал всю шаткость и несостоятельность улик. Обвиняемый Хосе Абрискета сказал: «В течение восьми дней меня пытали так, что я мог подписать любое заявление».

Католический священник из Страны Басков Хуан Мария Аррегуй выступил в Риме и рассказал на пресс-конференции

о пытках, которым подвергались арестованные в Бургосе. Избивая обвиняемого Эдуарда Уриарте, полицейские сломали три дубинки и две палки.

Шестерым патриотам Испании, людям, которые страстно любят свою родину, грозит смерть. Весь мир требует остановить руку тех, кто попирает свободу. Процесс над Анджелой Дэвис, кровавые издевательства в греческих застенках, судилище в Бургосе – все это звенья одной цепи в империалистическом заговоре против гуманности и человеческого достоинства.

...Той ночью в Карабанчели я видел лица испанцев – суровые лица честных людей, которые думают о будущем своей родины и поэтому самоотверженно борются за свободу. Они знают, чем рискуют. Они сознательны и тверды в своих решениях. Они выходят сейчас на улицы Мадрида, Севильи, Бургоса и Барселоны. По всей Испании нарастает широкая волна протестов. Прекратили работу трудящиеся крупнейших предприятий, закрылись магазины, учебные заведения; участники демонстрации в Мадриде несли по улицам города плакаты: «Требуем амнистии!», «"Нет" военному трибуналу Бургоса!». И кто-то из них каждую ночь приносит на могилу Гримау красные гвоздики, – каждую ночь все эти годы. Можно казнить человека – нельзя казнить правду».

1970-1971

СОДЕРЖАНИЕ

Партизанский дневник 1968-1973 7

Очень жаркий август (Западный Берлин) 1968-1973 67

Япония – Сингапур – Борнео –Австралия 89

Красная земля Испании 287

В ранее вышедших томах собрания сочинений Юлиана Семеновича Семенова опубликованы следующие произведения:

Том 1	Бриллианты для диктатуры пролетариата.
	Пароль не нужен.
	Нежность.
Том 2	Альтернатива.
	Третья карта.
Том 3	Майор «Вихрь».
	Семнадцать мгновений весны.
Том 4	Приказано выжить.
	Отчаяние.
Том 5	Петровка, 38.
	Огарева, 6.
	Противостояние.
Том 6	Повести и рассказы.
Том 7	Версии.
Том 8	Пересечения.
	Тайна Кутузовского проспекта.
	Ненаписанные романы.
Том 9	ТАСС уполномочен заявить.
Том 10	Межконтинентальный узел.
	Дипломатический агент.
Том 11	Экспансия I.
Том 12	Экспансия II.
Том 13	Экспансия III.
Том 14	Испанский вариант.
	Бомба для председателя.
Том 15	Пресс-центр.
Том 16	Аукцион.
	Лицом к лицу.
Том 17	При исполнении служебных обязанностей.

CASTELLUM

Castellum Public Limited Company

Castellum Public Limited Company основано в 1992 году.

Castellum Plc. входит в состав **Dunaholding Plc.**, которая является одной из самых крупных частных компаний Венгрии. **Dunaholding Plc.** является корпорацией с капиталом $14144000, ведущей свою деятельность главным образом в следующих областях:

- *инвестиции,*
- *доверительное управление имуществом,*
- *размещение капитала,*
- *деловые консультации,*
- *сделки типа факторинг.*

Castellum Plc. является внешнеторговой компанией с фондом 130000000 форинтов ($600000), которая занимается в первую очередь производством и экспортом овощной, фруктовой, мясной консервации и соков.

Зарегистрированная торговая марка нашей компании – **Hungarien Golden Peacock.** Кроме консервной продукции мы экспортируем также сельскохозяйственные продукты и продукцию мукомольного производства:

- *муку,*
- *пшеницу,*
- *кукурузу,*
- *ячмень,*
- *макаронные изделия,*
- *сладости,*
- *свежемороженые мясо и птицу,*
- *вина,*
- *растительное масло,*
- *молочные продукты и т. д.*

Телефон/факс нашего представительства в России: (7-095)-913-8744, 446-0029.

Приазовское отделение АО "Укрпрофздравница" приглашает посетить курорты на побережье Азовского моря.

Мы предлагаем Вам отдохнуть на живописных курортах Бердянска, расположенных на берегу Азовского моря у основания Бердянской косы, и Приморска - по берегам впадающей в Азовское море степной речки Обиточной.

Санатории и оздоровительный комплекс "Золотой берег" принимают отдыхающих круглогодично.

Продолжительность курса лечения в санаториях составляет 24 дня.

Продолжительность отдыха в "Золотом береге" - 12 дней, возможны варианты - с лечением и без лечения.

В летний период работают базы отдыха, туристические комплексы и детский оздоровительный центр (ДОЦ) "Красная гвоздика".

Продолжительность отдыха:
в ДОЦ "Красная гвоздика" - 20 дней,
на базах отдыха - 15 и 18 дней.

Детям до 7 лет стоимость путевки на базы отдыха - 50%.

Мы работаем и с частными лицами и с организациями.

Телефоны нашего Российского представительства в Москве:
(095)-913-87-44, 446-00-29.

Будем рады всем желающим отдохнуть

Продукция производственно-технического назначения

Фабрика технических бумаг «Октябрь»

предлагает различные типы бумаг:

мелованная высокоглянцевая
бумага гумированная
бумага гидрофильная для изготовления формных пластин для офсетной печати
калька бумажная натуральная под тушь
клеевая лента бумажная
бумага скоростемерная
лента диаграммная алг. 8-842-001

Каменская бумажно-картонная фабрика

предлагает различные типы бумаг:

Бумага для печати
Бумага для множительных аппаратов
Бумага для нитеносителей
Бумага оберточная
Бумага упаковочная для электротоваров
Бумага для гофрирования
Картон для навивки труб
Картон упаковочный по заказу
Картон для полиграфической промышленности
Картон водонепроницаемый
Картон водонепроницаемый с односторонним покрытием по заказу
Картон для радиопромышленности
Картон тарный плоский по заказу
Заготовки картонные
Гофрокартон в листах
Ящик из тарного картона
Гофроящики

По заказу возможно изготовление:
-картона необходимого формата и толщины
-ящиков необходимого размера и исполнения
-комплектующих изделий для ящиков
-деталей из водостойкого картона для автомобильной промышленности.

Обращаться по телефону/факсу
(095)–913–8744, 446–0029

НЕФТЕПРОДУКТЫ
НОВОУФИМСКОГО НПЗ
(вся номенклатура)

Запасные части
к автомобилям КаМАЗ, МАЗ, тракторам
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ

Обращаться по телефону/факсу
(095)-913-8744, 446-0029

ИЗДАТЕЛЬСТВО-ТИПОГРАФИЯ «ЧУВАШИЯ»

428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева, 13
тел.:(8352) 21-00-23, 55-15-39, 21-45-51, 55-13-85
факс: 20-31-13, 55-13-88

ИЗДАТЕЛЬСТВО-ТИПОГРАФИЯ «ЧУВАШИЯ»

Издательские услуги

- графический дизайн на базе компьютерных технологий
- разработка принципиального оригинал-макета
- литературное и техническое редактирование
- съемка, изготовление фото и слайдов
- сканирование оригиналов
- компьютерная обработка текста и иллюстраций

Полиграфические услуги

- газеты и журналы
- книги и брошюры
- плакаты, буклеты, календари, листовки, каталоги, открытки
- этикетки и ярлыки
- визитки, пригласительные билеты,почетные грамоты, дипломы, адресные папки, фирменные конверты, бланки
- сувенирные изделия: блокноты, папки из ПВХ, вымпелы
- упаковки из цветного картона с различной конфигурацией
- отделка печатной продукции: лакирование, припрессовка пленки, тиснение, высечка

Разнообразный ассортимент товаров культурно-бытового назначения и изделия для детей

- ежедневники, еженедельники, записные книжки, блокноты
- бумага писчая, для заметок, хозяйственных нужд
- папки для дипломов и курсовых работ
- тетради ученические, общие, альбомы для рисования, дневники, цветная бумага
- книжки-раскраски

Маркетинг

- доставка своей продукции в любую точку России
- обмен и торговля книжной продукцией
- реализация товаров культурно-бытового назначения
- размещение рекламы на изделиях из бумаги

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЭГСИ

Уважаемые читатели!
Наше издательство сообщает, что в следующих томах планируется опубликовать:

— **Горенис**

и некоторые другие произведения, а также, по многочисленным просьбам читателей, выпустить дополнительными тиражами ряд ранее вышедших томов, начиная с четвертого.

Для оптовых покупателей
телефон/факс: (095)-913-8744, 446-0029

В Москве реализация книг нашего издательства осуществляется в следующих магазинах:

– **ООО «Восход»**
Ярцевская ул., 4, метро «Молодежная», ☎ 140-2294
– **ТОО «Тотем»**
Минская ул., 14, метро «Филевский парк», ☎ 144-5567
– **ТОО «Аскольд»**
Физкультурный пр., 11/25, кор. 6, метро «Багратионовская», ☎ 148-9480
– **ТОО ТД «Библио-Глобус»**
Мясницкая ул., 6, метро «Лубянка», ☎ 928-8621, 928-3567

В других городах России реализация наших книг осуществляется:
г. Армавир - ☎ (86137)-5-35-67, 5-32-65, **г. Ижевск** - ☎ (3412)-32-60-11,
г. Казань - ☎ (8432)-55-22-64, 55-00-91, **г. Краснодар** - ☎ (8612)-57-46-96, 54-53-77,
г. Набережные Челны - ☎ (8552)-58-53-53, **г. Нижний Новгород** - ☎ (8312)-33-65-05,
г. Новокузнецк - ☎ (3843)-44-71-18, **г. Новосибирск** - ☎ (3832) -11-19-08,
г. Омск - ☎ (3812)-65-24-09, **г. Оренбург** - ☎ (3532)-44-88-52,
г. Пермь - ☎ (3422)-48-35-55, **г. Тверь** - ☎ (0822)-33-52-11,
г. Тихорецк - ☎ (86196)-2-27-71, **г. Тольятти** - ☎ (8482)-34-94-57,
г. Туапсе - ☎ (86167)-2-31-12, **г. Чебоксары** - ☎ (8352)-21-00-23,
г. Ярославль - ☎ (0852)-22-48-24.

Наше издательство заинтересовано в установлении прямых контактов с книготорговыми организациями в других регионах, покупающими наши книги в Москве у посредников.

Иногородним покупателям книги высылаются наложенным платежом. Читателям, получавшим ранее наши книги по почте от других организаций и желающим получать их в дальнейшем (напрямую от издательства, без посредников), а также читателям, желающим получать книги по почте, но не приславшим нам ранее заказы, необходимо сделать предварительный заказ. Мы также высылаем ранее вышедшие тома из собрания сочинений **Ю.С. Семенова** и другие книги. Желающим получить полный каталог рассылаемых нами книг необходимо выслать в наш адрес конверт с Вашим адресом.

Заказы на книги и каталог просим высылать по адресу:

121353, г. Москва, п/о 353, Издательство "ЭГСИ"

Семенов Ю.
Собрание сочинений: т. 18.
«Отчеты по командировкам» – М.;
ООО «Фирма ЭГСИ», 1997 г. – 400 стр.

Само название этого тома говорит за себя. География его очень обширна. В книгу включены репортажи и дневники, относящиеся к многочисленным поездкам Ю.Семенова в качестве корреспондента в страны Латинской Америки, Индонезию, Китай, Испанию, Португалию.

Автор видит эти страны не как турист, а как публицист-международник, глубоко анализирующий события.

ББК 84.3Р7

Литературно-художественное издание

Юлиан Семенович Семенов

Собрание сочинений. Том восемнадцатый

Редактор Д О. Грошев
Художники М Н Шестопал, В С Помочилин, В М Беляков
Технический редактор Г В. Жигалова
Корректор Г Н. Грошева

ЛР № 064288 от 14 11 95 г
Подписано в печать с готовых диапозитивов 12 03.97 Формат 84x108 1/32
Бумага типографская № 2 Гарнитура Литературная Печать офсетная
Усл. печ. листов 21,00 Усл кр отт 21,63. Уч -изд листов 19,35.
Тираж 15000, Заказ № **К-947.**
117454, г Москва, пр-т Вернадского, 62 "а" ООО «Фирма ЭГСИ»

Типография издательства «Чувашия»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13.

irtschaftsmini

1687/43

dieses Geschäftszeichen und den weiteren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

Reichsminister für Rüstung
riegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- oVIA -

...матографа
помнят роли, сыгранные ими:
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.

— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала" —
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору, за
которого голосовала. — Брэдли.
После совещания в его штабе
мне ответили: "Если бы мама
просилась в эмиграцию, сюда, к
вам, для воссоединения семьи,
мы бы могли оказать какую-то
помощь. В ином случае бреж-
невская администрация нам от-
кажет: "Давать или не давать
выездной паспорт для поездки
в гости — наше внутреннее
дело..."

...жизни, двенадцать
...земпляров; ныне тираж
...од жизни - это и мало
...ысячи писем, поступ...
...могают нам вы...
...ы наше...
1. В
...ажни
...едоум
2. Бы
..., дел
...ское С
3. ...
...вы!
4. ...
...упники,
...е место
5. ...
...и сможет ...ть все наши эко...
...истративной Системы!"
6. ...Продолжать борьбу
...ции и взяточничества.
7. Выступать против той с е к
...ну и его банде создать камеры
...нки, Катыни, а его ученикам - п
...
...так, "Совершенно Секретно" - эт...
...а этом мы стояли и будем стоять.

...ривет свтвия от Библейского Общест
...ктеров, художников, режиссеров, ...

...ернуть "журнальный вариант"!

...откуда курсив?

...Ernsprecher: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Ferndienst Nr. 16 41 21

...schaftsminister

...7/43

...s Geschäftszeichen und den
...eren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

...ister für Rüstung
... Rüstungsamt -
...S. v. Henrici

...дивенчества:
...в квартиру, накор...
...и пьяница, приходящий
...юги, так и вполне прис-
...ния пропагандистской ше-
... Поэтому следует отве-
...перед самим собою, ...
...б"ективно.
...арант. Оно обязано ...
...амовыявление,- это
...розить рост заработной
...ляции (при том,
...ны на рынке - рыноч-
...ому, сколько труда
...елем в продукт) буд...
...сы,- ... могут
...ктом.
...положения?
...ос трудно ответить,
..., которые облегча...
...нивающей") стра-